



В. БЫКОВ Волчья яма



Василь
Быков

Волчья
яма

*Книга издана при поддержке
благотворительной организации
Институт «Открытое общество»
(Фонд Сороса)— Россия
в рамках программы
«Горячие точки»*



*Василь
Быков*

*Волчья
яма*

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Перевод с белорусского

*Предисловие
Лазаря Лазарева*



«ТЕКСТ»
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
МОСКВА 2001

УДК 821.161.3
ББК 84(4Бен)
Б95

Художник Татьяна Иващенко

*В оформлении серии
использован фрагмент картины
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0264-1

© Василь Быков

© «Текст», 2001

© Журнал «Дружба народов», 2001

ПОЖАР ЕЩЕ НЕ ПОГАШЕН...

Ему, наскоро обученному в разгар войны младшему лейтенанту, принявшему под свою команду взвод автоматчиков, еще не было двадцати, до этой круглой даты он мог и не добраться, шансов было не очень много. Как-то Василь Быков рассказал о своем первом дне на передовой, о первом бое: командир роты «подвел меня к коротенькому строю моего стрелкового взвода. Он представил взвод мне, а меня представил бойцам — хмурым, невыспавшимся, озябшим, ждущим запаздывавший завтрак. Я хотел о чем-то расспросить бойцов, но он нетерпеливо бросил: «Ладно, познакомишься. Командуй. Через двадцать минут атака!»

Через двадцать минут была атака, бешено стегали вражеские пулеметы, а минные разрывы черными пятнами за десять минут испещрили все поле. Вскоре мы залегли, казалось, не в состоянии больше подняться. Чтобы определить плотность огня, командир роты на несколько секунд вскинул над собой лопатку, и в металле ее сразу же появились две рваные дырки. И все-таки мы встали, подняли бойцов и атаковали село, на краю которого в братской могиле осталась треть нашей роты».

Потом он служил взводным в «иптапе» (истребительной противотанковой артиллерии), где бойцы невесело шутили: «Ствол длинный — жизнь короткая». Дважды был ранен, один раз тяжело, чудом остался жив, однополчане же посчитали его погибшим, матери отправили «похоронку», и на обелиске одной из братских могил под Кировоградом в длинном списке погибших и его фамилия.

Словно предугадывая будущую литературную судьбу Василя Быкова и некоторых других писателей фронтowego поколения, Илья Эренбург писал в ту пору: «Замечательные книги о войне напишут не согладатаи, а участники, у которых теперь подчас нет возможности написать письмо родным...» В литературу Быкова привело увиденное и пережитое на фронте. О той трети роты, что после первого боя, в котором участвовал лейтенант Быков, похоронили в братской могиле (а ведь после того первого были еще многие дру-

гие бои, не менее кровопролитные, со столь же горьким счетом потерь), он уже забыть не мог. «Угли пожара по сей день жгут наши сердца», — сказал он через много лет после войны. Этим объясняется, что и в новой книге Быкова, которую сейчас держит в руках читатель, в новых его вещах многое о войне, многое восходит к тем свинцовым, пороховым годам.

Есть еще одна причина, почему я начал эти заметки с фронтовой юности писателя: удивительным образом она «рифмуется» с его литературной судьбой. Очень быстро книги Быкова оказались на переднем крае литературно-идеологических сражений, под прицельным огнем надзирающих за литературой партийно-государственных служб. Это было не случайно. То, что писал Быков, что утверждал своими книгами, явно не соответствовало установившейся идеологической погоде. Многие официально возвеличиваемые произведения о войне, вспоминал он позднее, выводили его из себя своей «красивостью», своей «литературщиной». «А мне хотелось правды». Правда же тогда была не в чести, всяческими способами она вытравлялась, за правду писателей преследовали, шельмовали, травили.

На родине Быкова эта война властей против правды продолжается по сей день. И главный объект проработочных кампаний там — Быков, он для белорусских правителей как бельмо на глазу...

В 1897 году врачи предписали Чехову — у него началось тогда кровохарканье — провести осень и зиму на юге. Он поехал в Ниццу. Там он чувствовал себя лучше — солнечно, тепло, чистый воздух. Он даже подумывал, не поселиться ли вообще в Ницце, впрочем, потом предпочел Ялту. Но в письме из солнечной Ниццы жаловался сестре: «Работаю, к великой своей досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чужой стороне за чужим столом неудобно; чувствуешь себя так, точно повешен за одну ногу вниз головой». Через три недели о том же:

«Много сюжетов, которые киснут в мозгу, хочется писать, но писать не дома — сушая каторга, точно на чужой швейной машине шьешь».

Я вспомнил об этих жалобах Чехова, думая о сегодняшнем положении Василя Быкова: вот уже почти три года он вынужден жить на чужой стороне — то в Финляндии, то в Германии, кочевать из одного города в другой, селиться в чужих квартирах, работать за чужими столами. И можно только удивляться, лучше сказать — восхищаться тем, что в этих условиях, несмотря ни на что, он напряженно и плодотворно работал; львиную долю вещей, составивших эту новую книгу, Быков написал на чужбине. А ведь он человек не

богатырского здоровья, и нынче ему вдвое больше лет, чем было Чехову, когда врачи отправили его в Ниццу.

Самого талантливого, самого крупного — всеевропейского масштаба — белорусского писателя, автора «Круглянского моста» и «Сотникова», «Мертвым не больно» и «Знака беды», несомненную национальную гордость — вытолкнули на чужбину, с глаз долой. «Я буду поддерживать только тех, кто поддерживает меня» — так с замечательной откровенностью сформулировал свою «культурную» программу белорусский «батька». И поскольку Быков не собирался поддерживать оазис светлого советского прошлого, и вряд ли на этот счет могли быть какие-либо сомнения, на писателя была спущена свора хорошо выдрессированной официозной печати — клеветали, шельмовали, каких только гадостей о нем не писали! Книжки Быкова в Белоруссии перестали издавать, почти не осталось журналов и газет, готовых, вернее, осмеливающихся его печатать. Быков снова, как и три десятилетия назад, оказался «под колпаком» у закаленных борцов с крамолой, неутомимых исследователей изящной словесности в штатском. Они со свойственной им энергией занялись и возглавляемым Быковым белорусским ПЭН-центром. Какая уж тут работа — жизнь у него стала невыносимой. Я уже не говорю о том, что в Минске время от времени среди белого дня пропадали известные в стране люди, чем-то не угодившие режиму личной власти...

Кто не знает, что самые тяжелые пожары бывают в торфяниках. Когда загорается лежащий на глубине торф, пожар этот может продолжаться бесконечно — даже если пламя какое-то время не выбивается на поверхность. Но рано или поздно этот затаившийся огонь снова полыхнет, испепеляя все вокруг. Белорусская действительность, отраженная в последних вещах Быкова, напоминает такой непрекращающийся губительный пожар.

Новая его книга открывается рассказом «На Черных Лядах», посвященным трагическому финалу антибольшевистского Слуцкого восстания в 1920 году. Тогда, в революцию и Гражданскую войну, и запылало на глубине народной жизни. А дальше пошло, покатило огненное, кровавое колесо истории: убийства, расстрелы, зверства — все это предстает в произведениях Быкова как порождение, следствие, продолжение развязанной, вспыхнувшей Гражданской войны. И насильственная коллективизация, раскулачивание с последующей высылкой в необжитые, гиблые края (рассказ «Политрук Коломиец»). И расстрельный тридцать седьмой год, который и начался много раньше и кончился много позже этой надолго врезавшейся в народную память страшной календарной даты («Желтый песочек»). И Отечественная война с ее бесчисленными — и часто

совершенно неоправданными — жертвами, крайним ожесточением и бесчеловечностью («Полюби меня, солдатик», «Катюша», «Зенитчица», «Довжик»). Даже окончание войны не принесло успокоения и благополучия. Порядки, утвердившиеся в двадцатых и тридцатых, не изменились, не смягчились. Бесправие, рабский, из-под палки — за «галочки» — труд в колхозах, жизнь впроголодь («Пасхальное яичко»). Власть КГБ, проникшего во все поры жизни, сеющего страх, подозрительность, доноительство («Очная ставка», «Народные мстители», «Бедные люди»). Беспробудное, самоистребительное пьянство, порожденное окаянной действительностью, бесцельным, бездуховным существованием («Труба», «Катастрофа»).

И наконец Чернобыль, принесший ужасную — ничего подобного человечество не знало — экологическую катастрофу («Волчья яма»). Но только ли экологическую? Речь в повести Быкова идет и о всепроникающей духовной радиации, выжигающей в человеке человеческое. Три десятилетия назад Юрий Трифонов, говоря о перспективах нашей военной литературы, заметил, что писателям следует «идти дальше, в сегодняшний день, находить в военной теме болевые точки, которые болят до сих пор». — и в качестве примера привел Василя Быкова: ему это удастся. Я бы только сделал здесь одну, но существенную оговорку — не поправляя Ю. Трифонова, а развивая его мысль: сквозь истории, рассказываемые Быковым, проступают не только наши сегодняшние боли и беды, но и фундаментальные проблемы человеческого бытия.

Именно это определило жанровое и стилевое своеобразие прозы Быкова — и, пожалуй, самое подходящее, наиболее точное определение для его повестей и рассказов — нравственно-философские. Среди записей, которые делал для себя незадолго до смерти Алесь Адамович, есть одна, посвященная новаторскому характеру творчества Быкова, его главному литературному достижению: «Существует понятие «быковская повесть» — это уже не одному Быкову принадлежащая особенность и не одной лишь белорусской литературе...»

«Быковскую повесть» отличает сосредоточенный интерес к общечеловеческим проблемам, максимализм в постановке и решении нравственных вопросов, сильная и уверенная мысль, способная проникнуть в моральную и социальную суть экстремальной, предельной жизненной ситуации. Из произведений Быкова мы многое узнавали о войне, о других тяжелых испытаниях нашей трагической истории, но еще больше открывали они в человеке: в тех невообразимых обстоятельствах в людях обнаруживались такие высоты и бездны, которые в не столь катастрофических условиях закрыты, проявляются редко, добраться до них художнику трудно.

На героев Быкова обрушиваются не только непосильные тяготы и невзгоды, бесчисленные опасности — им еще уготованы мучительные нравственные испытания на душевную прочность, они должны совершить выбор, цена которому, как правило, жизнь, на свой страх и риск, следуя лишь велению собственной совести.

Перед очень трудными вопросами ставит своих героев Быков: как сохранить человечность в бесчеловечных обстоятельствах, что человек может в этих условиях, где та граница, переступив которую он утрачивает себя, только ли для себя живет человек? Автор ничего не подсказывает героям, никак не подталкивает их, они сами мучительно ищут ответа на вопросы, от которых зависит их — и часто не только их — жизнь, они головой отвечают — в самом точном смысле этих слов — за выбранную стезю, за принятые решения.

В свое время Александр Твардовский, прочитав «Круглянский мост», сказал автору: «Вы подметили и уловили главное в своем произведении — человечность и меру этой человечности, что волнует литературу с давних пор и, может быть, особенно остро со времен Достоевского: чего стоит счастье и что это за счастье, если оно достигается смертью мальчика, ребенка. Знаменитый вопрос Мити Карамазова...» Наблюдение Твардовского верно, оно подтверждается и произведениями новой книги Быкова.

Связь Быкова с художественной традицией Достоевского очевидна. «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), — писал Достоевский, стараясь объяснить, в чем отличительное свойство его метода художественного исследования жизни, — и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, и даже напротив. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительны, потому что они факты». И другая запись — для себя: «Меня зовут психологом; неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Между этими мыслями прямая связь, они объясняют и дополняют друг друга: «почти фантастические и исключительные» происшествия и события потому привлекают такое внимание Достоевского, что в них подчас и раскрываются по-настоящему «все глубины души человеческой», «самая сущность действительного».

Быков, чтобы проникнуть в глубины души человеческой, объяснить ее возможности и ресурсы, тоже ставит своих героев в положения, которые Достоевский называл «почти фантастическими и исключительными», вызывающими либо их высочайший взлет, либо глубочайшее нравственное падение. А подобные положения во

время того социального пожара, который пылал в нашей стране на протяжении почти всего XX века, были «ежеминутны и ежедневны», что запечатлено и в последних произведениях Быкова.

Быков не только верен традиции Достоевского, высоким традициям русской литературы, он обогатил их жизненным и художественным опытом трагического XX века. Много было в оставшихся за нашими плечами десятилетиях невыносимо тяжкого, но, кажется, самой большой бедой нашей был дефицит человечности. Сейчас мы это осознаем с особой остротой и болью, осознаем, что без нравственного суда над собой, без нравственного самоочищения не может жить ни человек, ни общество.

Василь Быков — беспощадный художник, он не боится говорить самую жестокую правду о том зле, которое творят люди, о подлости, шкурничестве, предательстве. И он всегда при этом на стороне тех, кто обездолен, гоним, унижен, — там он видит свое место. Быков настойчиво ищет в изображаемой им действительности то, что несет в себе уроки последовательной, неотступной, ничем не замутненной человечности. Непреходящие уроки — необходимые не только настоящему, но и будущему, — тот давно возникший пожар еще не погашен. «От умения жить достойно, — говорил недавно Быков, — очень многое зависит в наше сложное, тревожное время. В конечном итоге именно наукой жить достойно определяется сохранение жизни на земле. Жить по совести нелегко. Но человек может быть человеком и род человеческий может выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте...»

Именно в этом пафос его книги «Волчья яма»...

Лазарь ЛАЗАРЕВ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Под этой обложкой собраны рассказы и повести последнего десятилетия — время нашей смуты, надежд и разочарований.

Без разочарований, больших и малых, по всей видимости, не могло обойтись ни в политике, ни в жизни, ни в литературе. Наша вожденная и неожиданно свалившаяся свобода разрушала тягостную, обременительную, но за семьдесят лет ставшую привычной гармонию человеческих отношений с еще большим успехом, чем это делала коммунистическая несвобода. Общество готово было впасть в перманентный духовный хаос неверия и разброда. Испытанные в веках традиционные ценности на глазах девальвировались, литература как классический искатель и хранитель истины быстро утрачивала свои исконные свойства, превращаясь в экономический фактор, средство производства — не столько хлеба, сколько пустых, массовых развлечений.

Наверно, в таких условиях явилось вполне естественным обращение ее к прошлому, которое в силу своей отжившей актуальности обрело необходимую устойчивость, относительную определенность. Хотя и в прошлом существовало немало эфемерных надежд и роковых заблуждений, одна основательно выстраданная идея оставалась неизменной, это — идея неприятия зла, идея отрицания. Человечество, всегда изнемогавшее в поисках позитивного КАК НАДО, не находило ничего достоверного, что и дало философам зыбкое основание считать сам процесс жизни сокровенной целью человеческого существования. В то же время ответ на вопрос КАК НЕ НАДО явственно вставал из всего опыта нашей многовековой истории. И не только из нее. Опыт такого рода у человечества богатейший.

Возможно, малая частица этого опыта (в том числе и в литературном отношении) с определенным результатом отразилась в этой книжке, которую автор с известной отвагой предлагает современному читателю. Как и с учтивым извинением за маловеселое чтение.

Автор

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

НА ЧЕРНЫХ ЛЯДАХ

Рассказ

Называется — довоевались...*

О том, что они довоевались до ручки, до последней возможности, командир понял не сегодня и не вчера, когда, прижатых к реке, их поливали пулеметным огнем, а они лишь огрызались редкими винтовочными выстрелами. И даже не неделю назад, когда, измученные и голодные, небольшой группой из всего, что осталось от батальона, они металась по лесу, не зная, куда податься, как вырваться из западни. Безысходность их положения стала очевидной уже в начале весны, когда выяснилось, что обширный район Слутчины обложен красноармейцами, которые принялись за повстанцев неспешно, основательно и планомерно. На днях им пришлось оставить их последнее убежище — удобный островок на болоте, чтобы прорваться за речку в соседний район, где они с трудом оторвались от настигшего их авангарда китайцев из Омской дивизии красных. Весь день вчера бухало и громыхало в той стороне леса, куда прорывалась группа Улашика. Под вечер там все постепенно затихло — значит, было покончено и с Улашиком. По-видимому, и там не было спасения, как не было его здесь, в приречных лесах и болотах разлившейся Морочи. Зимой, отсиживаясь в заснеженной лесной глухомани, они еще питали надежду перетерпеть холода и дожидаться весны, которая, казалось, что-то должна изменить в обстановке и принести удачу. Но и весной ничего не изменилось, большевистская власть укреплялась — похоже, лучшие времена для них канули безвозвратно. По теплу и зеленой траве большевикам тоже стало сподручнее, — обложив огромный район,

* В основу рассказа положен финальный фрагмент антибольшевистского Слуцкого восстания 1920 года в Белоруссии. (*Примеч. авт.*)

большевистские дивизии начали облаву по всем правилам охотничьей науки — как на волков. И тогда стало ясно, что дни их сочтены...

Всю минувшую ночь и утро они обессиленно тащились по лесу. Каждый в этой короткой цепочке старался не отрываться от впереди идущего, а все вместе — от командира, который то шатко брел между сосен, то останавливался, осматривался по сторонам, поворачиваясь всем телом, избегая шевельнуть обвязанной полотенцем шей. Полученная в конце зимы рана продолжала гноиться, липкая жижица из нее текла по груди на живот, повязка все время оставалась мокрой. В лесу пока было тихо, слабый шум сосен стлался поверху, мерно раскачивались в небе хвойные вершины, изредка потрескивали сухие ветки под ногами людей. Догнав остановившегося командира, они так же по одному останавливались, прислушивались, вертя головами. Все устало молчали, разговаривать никому не хотелось — обо всем уже было переговорено. Пищи у них никакой давно не было, курева тоже. Из боеприпасов осталось по нескольку патронов на винтовку да шесть штук в командирском нагане. В случае надобности отбиваться им было нечем.

Хорошо, если перебьют всех сразу, думал командир, а если кто останется раненым, без сознания и попадет в руки большевиков? Что последует дальше, он знал по опыту — повезут в город, в ЧК, начнется дознание: кто, откуда родом, где семья, родственники? Нет, он давно понял, что погибнуть — не самое худшее из всего, что может с ними случиться в их горькой повстанческой судьбе. Хуже, если они, погибая, обрекут на не меньшие страдания других, ради которых, по существу, все и начали. Даже убитыми им не уйти от большевиков, способных достать их и на том свете. Как это случилось с Аксеновичем и Курбыкой, убитыми на большаке. Тела обоих большевики привезли в город и на три дня оставили возле здания штаба, куда толпами пригоняли горожан — на опознание. И, конечно, опознали — на горе родне и близким... Поэтому они и решились. Без долгих обсуждений — командир сказал, и все согласились: выбора у них не было. Оружие — винтовки и наган — оставили при себе, а документы, кое-какие бумаги, собрав все вместе, сожгли в можжевельнике. И остались без имен и фамилий, без роду-племени — восемь обреченных, голодных лесных бродяг, принявших решение сегодня кончать.

Сделать это следовало не мешкая, пока вокруг было тихо. Ночью они все же оторвались от погони, запутали на болоте

следы и вышли в глухой край леса. Хотя командир понимал, что эта тишина могла оказаться обманчивой, они и здесь могли напороться на засаду. Где-то поблизости находилась местность под названием Черные Ляды, за которыми кончался лес и начинались поля, туда уж точно путь им заказан. Только бы подобрать подходящее место — сухой песчаный пригорок, Правда, в этом равнинно-заболоченном крае сухие пригорки попадались нечасто, вокруг тянулась дремучая хвойная чаща — березы да сосны с редким можжевельным подлеском внизу. И они брели по ней с самого утра, пока впереди не показалась прогалина; рядом чернело нагромождение пней и коряг, по-видимому, собранных с недалекой вырубки. Идти дальше, похоже, не имело смысла.

Командир задумчиво огляделся по сторонам, ему надлежало принять, может быть, последнее в его жизни решение. Рядом остановился молодежавый человек с обросшими светлой щетиной скулами, в такой же, как на командире, замызганной солдатской шинели с подоткнутыми под ремень полами.

— Что — здесь?

— Здесь, Метельский.

Метельский повернулся, поглядел в стороны.

— А дальше нельзя? Место какое-то... нелюдимое.

— Нет, дальше не пойдем. Можем не управиться. С одной лопатой...

Тоскливая тень промелькнула в озабоченном взгляде Метельского, который был у них за помощника командира и теперь все понял без слов.

— Казак, давай! — обернувшись, сдержанно окликнул он шедшего следующим в их растянувшейся по лесу цепочке. Это был небольшого роста, неказистый с виду мужичок в серой суконной поддевке, с винтовкой на ремне и засунутой за пояс лопатой. На ходу доставая ее из-за спины, он подошел ближе.

— Здесь, что ли?

— Здесь. Начинай...

Без дальнейших расспросов Казак усердно принялся снимать с грунта мягкий и влажный слой мха, под которым оказался светлый, почти белый боровой песок.

Казак был человек послушный, никогда не перечил начальству — что скажут, то и сделает. К тому же он больше молчал, слушал других, и никто не догадывался, что его заботит. Со стороны казалось, что и забот у него никаких не было, но это не так. Может, большие заботы его и обходили, но те, что поменьше, донимали изрядно. Вот и теперь — ему хотелось курить.

Есть он тоже хотел, но ощущение голода было для него делом привычным, а вот чтобы не покурить — такое случалось с ним редко. Без табака он долго не мог, и на его дряблом, со скудной растительностью лице то и дело проступало выражение явственной муки.

Неторопливо, по одному подходили к командиру остальные, молча, с опаской вглядывались в уже обозначившиеся под лопатой контуры раскопа. Все всё понимали, никому ничего не надобно было объяснять. Мягкий белый песок, прошитый тонкими корешками мха, летел с лопаты им под ноги — на старые истоптанные сапоги, раскисшие от влаги австрийские гамашаи, на лапты с оборами, как у Деда, чернобородого, дремучего вида крестьянина. Не страшивая песка с лаптей, тот отошел в сторону и опустил на мох. Голова его как-то сама по себе упала на грудь, потупился взор, губы зашевелились в молитве. А может, и не в молитве вовсе, может, он просто говорил что-то, обращаясь к себе или к людям. Разбираться в том теперь было некому, в эти минуты каждый был занят собой. Разве кроме Кожухаря. Это прозвище, конечно, пришло к человеку от кожухов, которые он шил когда-то и в один из которых был нынче одет. За пазухой Кожухарь бережно держал толсто обмотанную тряпкой руку, на днях простреленную большевистской пулей. С искаженным болью, давно не бритым лицом он походил в сторонке от остальных и, подойдя, сел рядом с Дедом.

— Ну вот, братка, как все обернулось...

Его тянуло поговорить — может, излить перед концом душу, а может, заглушить боль в руке. Но Дед не отозвался, занятый своими мыслями.

«Обернулось» — как эхо отдалось услышанное в душе Игоря Забелло, словно в оцепенении стоявшего рядом и мучительно боровшегося с собой — со своей неожиданной слабостью. Губы его предательски кривились, и больше всего другого он боялся не выдержать, заплакать, что было весьма возможно. Но он продолжал крепиться, чуть отвернулся от остальных, поглядывая в низкое, затянутое тучами небо. Может, в последний раз. Игорь всегда любил смотреть в небо...

Возле командира уже собрались все, все продолжали молчать. Кто — не смотря на склонившегося над лопатой Казака, кто — неподвижным взглядом уставившись себе под ноги. Австрияк недолго постоял возле ямы и, описывая дугу, медленно побрел по лесу. Он тоже старался унять нелепое теперь волнение. Надо было волноваться раньше. Но волнений ему хватало,

волнения, пожалуй, и привели к этой яме. Спокойной жизни он лишился давно, может, в самый первый день войны, когда стал в строй и надел через голову солдатскую скатку. И пошло-поехало... Три года загибался под огнем в крысиных окопах под Проскуровом, голодал в бараках австрийского плена, потом бежал из плена, пробираясь ночами по чужим полям и перелескам. Бежал на родину, к своей земле, к простому человеческому праву жить дома. И вот чем оно кончилось, это его такое естественное для каждого человека право, — противобожеским грехом самоубийства.

Стоя с сосредоточенным видом в трех шагах от ямы, командир продолжал размышлять о том, как все получится, не помешают ли те. Правда, пока было тихо, но долго ли продлится эта неурочная тишина? Конечно, если разобраться, так все ими задуманное было чудовищным, противным законам божеским и человеческим. Но что им оставалось делать? Весь этот ужас совершался не по их злой воле — дьявол или судьба вели их именно к такому финалу. Видно, много не было дано изначально. Иное было бы ужаснее, из двух зол они выбирали наименьшее. Только бы довести все до конца, а там... А там — живи, Беларусь! Без них.

Перед концом очень хотелось свалить вину на других, тех, кого теперь с ними не было. Но командир чувствовал: обвинять вообще никого не надо — ни зачинщиков, ни руководителей. Каждый поступал как умел, хотя умения как раз и не хватало — и организаторам съезда, и комиссару Живриду. Но все шло от чистого сердца, для блага Беларуси. А что до командиров полков, так те, за исключением разве одного предателя, вели себя героически, стояли до конца. И все зря, вот что больнее всего. Массы остались в стороне, не поддержала их Беларусь. А против не замедлила выступить сила, которую они, похоже, недооценили. Главное, потеряли самое дорогое — время, ушедшее на болтовню, ненужные переговоры, увязки и согласования. На демократию. А те не болтали — те били. Вот им и приходится платить за все. И как всегда на войне, главная плата — жизнь и кровь, и платит тот, кто виноват всех меньше. Как вот он, недавний командир роты, да эти рядовые — вчерашние мужики. Да еще Володька... Сколько командир ни думал, никак не мог примириться с тем, что предстоит мальчишке. И не знал, что придумать, как обхитрить судьбу и сберечь ему жизнь. Только ему одному. Ведь решено твердо: если уж конец, то всем вместе. Без исключения. Ибо исключение опасно, оно оставляет сле-

ды. Вроде и правильно, и морально, да вот этот подросток пу-тал всё, одним своим присутствием отвергая смерть. Или, воз-можно, это в нем самом бунтовало его учительское прошлое, не до конца стертое войной?

Откуда-то издали послышалось тревожное стрекотание со-рок, к ним присоединилась еще одна — ближе. Командир с до-садой оглянулся на высокие верхушки сосен. Но первым сорок заметил Володька, те тревожно суетились в голых ветвях берез. Подняв валежину, парень запустил ею в ветви, но сороки лишь перелетели поодаль, не прекращая своей трескотни.

— Раскричались на весь лес...

— Пусть кричат, — безразлично ответил командир.

Может, и правда, пусть кричат, только бы не появились те. Володька пошарил взглядом под дальними соснами — пока вро-де нигде никого не было, значит, сороки кричали на них.

Между тем Казак уже накопил немалые кучи песка, по коле-но углубясь в широкую яму. Кажется, неплохо согрелся, даже взмокшел лоб под сползшей на затылок ушанкой. Когда он в очередной раз выпрямился, чтобы перевести дыхание, в яму спрыгнул Володька.

— Дай я.

Без особой охоты Казак отдал лопату, которую парень реши-тельно вогнал в мягкий песок.

Как только Казак начал копать эту яму, Володя Сулашик ощутил в себе непонятную дрожь, словно от холода. Хотя в тот день холодно не было, да и к холодам он привык. Чтобы как-то совладать с собой, наверно, следовало чем-то заняться, отвлечь себя от гнетущих мыслей. Все эти дни он, как и остальные, был до крайности измотан, голоден, последние две ночи нисколько не спал. Но теперь, в яме, невесть откуда у него взялись силы, он работал как заведенный — швырял и швырял с лопаты пе-сок, не поднимая головы и стараясь ни о чем не думать.

Мысли, однако, не покидали его, сами лезли в голову, отде-латься от них, видно, невозможно было и за работой. Все дело в том, что не хотелось Володьке умирать — очень хотелось жить. Да вот не придется. Как не пришлось жить его отцу, многим во-якам их Слуцкой бригады. Некоторые, возможно, и спасутся, особенно по ту сторону польской границы, куда перешла брига-да. Но не все. Уже стало известно, что руководителей восстания поляки выдали большевикам. Некоторых расстреляли в Слуцке, других с семьями вывезли неизвестно куда. Вероятно, вывезли и его сестру Сашу с маленькой дочкой. Конечно, за такого отца,

брата, подпоручика-мужа, ушедшего за Лань, по головке большевики не погладят. Было тревожно за себя, за других — родных и близких, помочь которым Володя ничем не мог. Разве что своей смертью...

В этой небольшой, горестно примолкшей группе людей нервная лихорадка была не одного Володю Сулашика, — наверное, все были на пределе напряжения. Но, пожалуй, самое большое нетерпение испытывал Австрияк. Ему все казалось, что они неоправданно медленно роют могилу, умышленно тянут, рискуя не успеть и дожидаться большевиков. Он пытался уговаривать себя: ну что ты понапрасну дергаешься, потерпи, скоро все и навсегда кончится. Но выдержки оттого не прибавлялось, нетерпение завладевало им целиком. Казалось бы, ну чего горячиться, чего жалеть? Жизни? Так какая это жизнь, если ни один день ее не принес человеку радости! Дома, в недалекой отсюда деревне, осталась у него нелюбимая чужая жена с четырьмя чужими детишками. Вряд ли она заплачет о нем, — имея хороший надел земли, скоро обзаведется и новым мужем. Родной его брат останется полноправным владельцем их четырех десятин неурожайной земли; разве что обронит слезу, да и родная сестрица успокоится в привычных семейных заботах. Все как-нибудь проживут без него, как жили до сих пор, если только он ненароком не слишком навредит им. А может и навредить, если большевики дознаются, как лихо он бил их под Мозырем в армии Булак-Балаховича. Удалой был генерал, не то что эти, командиры-теоретики, больше занятые политикой, чем повстанческим войском. Генерал знал толк в политике, умел повоевать и не запрещал повеселиться. Правда, Австрияку не очень повезло и там, скоро схлопотал большевистскую пулю в бедро. Да разве к тому он стремился? Он стремился к земле, своему хозяйству и миру. Но вот не вышло. Вернулся с войны на свой отцовский надел, где уже хозяйствовал старший брат Казимир, — младший вроде оказался лишним. Хотели поделить землю, четыре хороших десятины, да что бы из этого вышло? Скорее всего — ничего путного. И Австрияк отступился. Очень не хотелось ему, но вынужден был пойти в примаки ко вдовой Авдохе, жившей на отшибе у большака. Земли у нее было побольше, чем у Казимира, мужик не вернулся с войны — где-то умер в Сибири от тифа. В хате на земляном полу копошилось четверо ребятишек, а главное — очень уж непривлекательная была эта Авдохе, плохо лежало к ней солдатское сердце молодого Австрияка. Да что поделаешь? Перебрался в хату у дороги и стал привыкать к но-

вой, нехолостяцкой жизни. Впервые почувствовав себя хозяином, посеял озимые, привел в порядок гумно, запасся лесом на доски для пола. Осенью все обмолотили, наняв помощника из деревни, засыпали все лари в амбаре. Вроде жить стало можно. Но вот как-то на исходе осеннего дня в хату наведались двое. Хозяин не удивился: усадьба при дороге, на подворье нередко забегали люди — то напиться воды, то погреться, перекурить. Эти, однако, пришли не курить, недолго потоптавшись в хате, вручили ему обязательство на продрозверстку — в течение пяти дней сдать двадцать пудов хлеба — для нужд Красной армии. Он зло поругался с ними, сказал: вот, выкусите! У меня дети, их кормить надо, а ваша Красная армия пусть то пожнет, что посеяла, не грабит крестьян. Неделью спустя в воскресенье, когда они с Авдотьей собрались на базар покупать поросят, с большака во двор завернул отряд красноармейцев. Без лишних слов и разговоров они за десять минут выгребли из сусеков все, дали ему расписаться и уехали. И он, не распрягая коня, сел на завалянку да так и просидел до полудня. Стоило столько страдать на войне, в плену, идти в эти примачи, свать кишки на запущенном хозяйстве, чтобы в итоге остаться нищим. И что это за власть такая, которая не дает жить мужику? Он так рвался домой, на свою Беларусь, а тут оказалось хуже, чем на войне, чем в австрийском плену. Там ходил под смертью, там заставляли работать, вокруг были враги. Но там кормили. А тут чем он накормит детишек?

После шумного митинга в Семежеве, злой и раздраженный, он прибежал домой, из-под стрехи в гумне вытащил польский карабин и записался в повстанческий полк. Что-что, а воевать он научился и думал, что только с оружием и можно теперь чего-либо добиться.

В угрюмой задумчивости Австрияк далеко отошел от остальных, потом поспешно вернулся. Яма все еще не была готова. Горбя широкую спину, в ней размашисто работал лопатой Метельский. Стоя над ним, терпеливо ждал командир.

- Ну ты скоро там? — раздраженно вырвалось у Австрияка.
- Успеешь, — буркнул из ямы Метельский.

Австрияк снова отошел подальше. Им надо, чтоб глубже! Как будто это так важно — лежать глубоко зарытым в земле или валяться в кустах? Мертвому, поди, один черт. Но эта затянувшаяся возня с могилой выматывала нервы. Австрияк еле сдерживался. Еще, чего доброго, устроят отпевание самих себя, осуждающе думал он. Дед или Кожухарь всегда не прочь помо-

литься, а командир, может, произнесет речь-проповедь про батьковщину. Не любил Австрияк тягомотины, не тот был характер. А в конце концов, какого черта ему сейчас дожидаться? Кого слушаться? Теперь уж он сам себе хозяин, тем более что в карабине у него есть три патрона — ему же хватит одного.

Подумав так, он откинул полы своей сизой, с двумя рядами пуговиц австрийской шинели, сев наземь, стащил с ноги сапог. Грязная, сопревшая портянка сама размоталась на грязной ступне. Дослав в патронник патрон, большим пальцем босой ноги нащупал спусковую скобу и, не взглянув в сторону ямы, решительно нажал на спуск.

Неожиданный выстрел вынудил людей вздрогнуть, все повернулись в сторону Австрияка, не сразу поняв, что случилось. Но скоро и смекнули, что ничего необычного не произошло, просто один из них поторопился. Лишь на лице командира промелькнуло легкое сожаление, и он кивнул Казаку:

— Ты и Забелло, давайте его сюда...

Не слишком, однако, решительно те подошли к лежавшему на боку телу самоубийцы. Из его развороченной выстрелом челюсти еще лилась кровь — на темный, замусоленный воротник шинели, плечо, густо капала в мох. Как-то боязно и неумело они подняли тело под мышки и поволокли его к яме. Казак хотел было взять его карабин, но Забелло нетерпеливо бросил: «Зачем?» — и тот швырнул карабин в заросли.

Яму следовало еще немного углубить. После недолгого перебива, вызванного неурочным выстрелом Австрияка, Метельский снова налег на лопату. Его тоже подгоняло нетерпение, доставало сил ждать, хотелось покончить со всем скорее. То, что Австрияк опередил остальных, Метельскому не понравилось — ишь, отыскался умник! Не выдержал. Хорошо, если этот выстрел не услышали большевики. А если услышали? Тогда очень просто они могут очутиться в новой западне, похуже предыдущих.

Метельский знал твердо, что живыми большевикам сдаваться нельзя, однажды он уже побывал в большевистских руках. И хотя тогда у эсеров с ними был тесный контакт, его обвинили в оскорблении комиссаров. Он и впрямь выступал на митингах против разгона большевиками Всебелорусского конгресса, на который недавно еще выбирали делегатов. Метельский считал удачей, что от их роты в депутаты прошел его друг прапорщик Ковшович, за которого он месяц драл глотку на митингах. Потом всем полком провожали прапорщика на станцию Молодеч-

но, жали руку, давали наказания. Потом стали ждать. Но прежде дождались известий о том, что Конгресс разогнан большевиками. Неделью спустя появился и Ковшович — без фуражки, документов и без мандата, — все отобрали большевики. Такого старший унтер-офицер Метельский стерпеть не мог и с двумя приятелями записался в партию эсеров. И снова вместе с Ковшовичем они изо дня в день выступали на солдатских митингах. Прапорщик говорил складно, по-интеллигентски, Метельский же привычным солдатским матом крыл и своих полковых большевиков, и их главного начальника Мясникова, которого называл не иначе как «кровавый мясник». Наверно, поэтому он не очень удивился, когда зимой очутился в вонючем подвале «чрезвычайки», где первым делом хорошенько выпался, и думал, что провинку допустил небольшую и его скоро выпустят. Однако не выпустили, а дня через два повели наверх к какому-то белесому тщедушному комиссару в очках, который минут пять при нем изучал бумаги, по-видимому, с его высказываниями относительно «кровавого мясника». Потом он спросил, говорил ли так о комиссаре Метельский, на что последний ответил: «А разве не правда?» Комиссарик вскочил из-за стола и замахнулся на него сапогом, норовя попасть между ног, Метельский легко перехватил сапог и дернул его на себя, отчего комиссар грохнулся головой о залитый чернилами стол. Тотчас же в комнату ворвалась их целая орава, и они отметели его так, что он три дня не мог подняться с соломы. А когда на четвертый его подняли на очередной допрос, в комнате наверху уже сидел другой комиссар — крупный, грузноватый, в военной гимнастерке. Этот неожиданно улыбочиво поздоровался, спросил фамилию и, аккуратно обмахнув ручку в чернильницу, четким почерком вывел на уголке его сопроводилки: «Расстрелять».

Почему-то, однако, в тот день его не расстреляли, а потом в Минск вошли немцы. Охрана «чрезвычайки» сразу же разбежалась, двери подвала распахнулись, и Метельский, держась за стены, вышел на улицу. Нет, сказал он себе, с этими людьми жизни не будет. Полгода потом он просидел в нахлебниках у горожанки-сестры, недолго поработал на спиртзаводе, походил в учениках у еврея-сапожника, пилил с татаринном дрова минчанам. Когда же вспыхнуло восстание за независимость, подался в Семежево и вступил в Грозовский полк. Жаль, не было им удачи в декабре, не повезло отдельному батальону и в партизанке после восстания. Силы были очень неравные, большевики

разбили их раз и второй; весной военное счастье окончательно изменило восставшим, лишив их возможности жить.

Кожухарь с Дедом между тем сидели в сторонке под соснами и тихо, с сокрушенным видом роняли слова. У Кожухаря сильно болела рука. Сразу после ранения перевязать ее было нечем, нашлась какая-то грязная тряпка, которая тут же пропиталась кровью, а потом и присохла к ране, и Кожухарь не решался ее оторвать. Наверно, оттого и болела. Но и отдирать тоже не имело смысла, ждать оставалось недолго. Нянча теперь эту тряпичную куклу за пазухой, раненый мерно раскачивался от боли и горестно жаловался Деду:

— Ну за что такая доля, скажи? Разве я когда против Бога? Или супроть людей? Почему они не дают жить?

— Ишь, чего захотел? Жить! — скупое отвечал Дед.

— Ну. Жить, только и всего...

— Было. Отжили. А теперь ляжем.

Похоже, однако, Кожухарь не очень сознавал грозный смысл предстоящего. Доведенный до отчаяния болью, он только жаждал хоть какого-нибудь конца своим мучениям, видя в этом конце избавление. Теперь уже все равно, думал он, жизнь окончена. Когда-то мечтал обзавестись землею, как проклятый гнул спину над кожухами, которыми обшил, казалось, весь Слуцк. И что заработал? Мешок пустых керенок — на полпуда соли. Хорошо еще, сын Владя, даром что молод, оказался башковитее отца, не прельстился его ремеслом, а пошел служить власти. Глядишь, до чего-нибудь и дослужится, особенно если выбьется в начальство и поладит с большевиками. Отец вот не поладил, за что и расплачивается.

Кожухарь тихо постанывал, глаза его набухали от слез, которых он уже не стеснялся и не вытирал. Слезы вроде бы приносили какое-то облегчение, так необходимое теперь человеку. Ничего другого у него не оставалось.

Рядом сидевший Дед как будто перестал замечать соседа, неподвижным взглядом уставясь в землю. Он переживал свое недавнее прошлое, как незадолго до восстания был дома и не поладил с женой. Некрасиво получилось, хотя не сказать, что без причины. Была причина. Эта сердобольная баба, его жена, всегда кого-либо жалела — то детей, то соседок, то кого-нибудь из родни. Особенно тех, кто победнее. А беднее всех был ее младший брат Семка, многодетный бесхозяйственный мужик, по обыкновению от Пасхи сидевший без куска хлеба. У Деда в амбарчике было припасено полмешка гречки, собирался по весне

засеять клочок над прудом — не весь же год давиться бульбой, хотелось иногда поесть гречневой каши. И вот жена, когда его не было дома, отсыпала из того мешка брату для голодных детей. Голодные дети, конечно, плохо, но надо же и работать, а не валяться полгода на теплой печи. Деда этот поступок возмутил до крайности, и он не сдержался. Жена упала, он выскочил на двор, все в нем дрожало. А тут как раз надо было собираться в полк, начиналось восстание. Прихватив кое-что из харчей, он ехал в Слуцк и очень жалел о своей несдержанности. Думал, неприятный случай со временем забудется, но вот не забылся — стал еще явственнее и напоследок причинял душевную боль, с которой неизвестно как совладать. Если бы не такой их конец, может, все и обошлось бы, жена была баба отходчивая, она бы простила. Но теперь все поздно. И непоправимо. Кожухарь тихо молился:

— Боже милостивый, Царица Небесная, помилуй нас...

— Теперь молись не молись — один конец, — сказал Дед. Он понимал, что Кожухарь ищет сочувствия, но Дед не любил ни сочувствовать кому бы то ни было, ни принимать чужие сочувствия. Потому что сочувствие — не помощь, а если не можешь помочь — молчи.

Метельский копал иступленно, но, должно быть, глубина все еще была недостаточной, хотя осыпающиеся края ямы доходили ему до подмышек. К тому же он стал уставать, и командир, замечавший все, бросил поникшему рядом Забелле:

— Подмени...

Игорь Забелло с явной неохотой спустился в яму, принял из рук Метельского теплый черенок лопаты. Как-то так получилось, что он довольно скоро справился со своим возбуждением, — выстрел, а затем вид окровавленной головы Австрияка вернули его к горькой реальности, сулившей скоро поставить большую точку на всем. Конечно, Игорь ощущал интуитивный протест — как это добровольно ложиться в землю в свои неполные девятнадцать лет? Но неумолимая сила обстоятельств, все годы правившая людскими судьбами, гнула его волю в дугу. Редко эти обстоятельства давали поблажку, позволяли поступать так, как хотелось бы. Странно, но в решающий для него вечер, когда он вполне мог поступить иначе, он не сделал того. Подавив голос рассудка, чувство тревоги, он поступил по велению долга товарищества, общепринятой порядочности. Утречком, когда мать еще спала, наскоро собрал свои небогатые пожитки — белье, башлык, пачку папирос, Лелькино фото — и

побежал на сборный бригадный пункт в гимназию. В прокуренной людской толчее разыскал своего старшего друга Блажевича, который, пожимая его руку, сказал с редкой для него теплотой: «Молодечек, умеешь держать слово чести!» И записал в свое отделение. Тогда, может, в первый и единственный раз Игорь испытал тихую гордость оттого, что поступил благородно, хотя и не без колебаний, что, впрочем, было известно лишь ему одному. Он шел защищать независимость Народной республики, о которой слышал столько красивых и возвышенных слов. Думал ли он тогда, чем все кончится? Что несколько недель спустя ему придется тащить безжизненное тело Блажевича по заснеженному полю под Семежевом — тяжело раненный утром, тот до вечера истекал кровью под большевистским огнем, весь день к нему невозможно было подобраться. Игорю в тех боях повезло, как везло и позже, ни одна пуля его не задела. Только что было за этим везением? Может, предпочтительнее было бы самому лечь рядом с Блажевичем, не испытал бы того, что пришлось испытать потом. И чего не дай бог испытать никому. И дело не только в их злосчастной судьбе — для Игоря к ней приложилось еще не менее драматическое личное. Еще до того, как сжечь в кустах все документы, он сжег Лелькино фото, дознавшись, что его светлая любовь Лелька стала женой большевистского комиссара в Слуцке. Он возненавидел ее за предательство, за измену идеалам любви и благородства. Со временем, однако, его выросшая из любви ненависть выветрилась, Лелька становилась все более ему безразличной, он все чаще стал вспоминать о маме, которой причинил столько боли. Ко всему прибавилась жаль к самому себе за такую свою неудачную жизнь. Но и такая жизнь была мила ему, потому что она была единственным счастьем матери, уже потерявшей на минувшей войне его отчима штабс-капитана Левандовского и теперь безвозвратно терявшей его.

Забелло копал устало, у него действительно не осталось силы. Бросать песок старался повыше, но он то и дело сыпался обратно. Подменить парня, по-видимому, было некому, все отбыли свой черед, кроме раненых Кожухаря и командира. Ему придется заканчивать...

Командир не мог пошевелить шеей, повернуть голову, но он привык все делать по совести и всякое дело доводить до конца. Это пошло еще со студенческой молодости, с семинарии, оставалось и позже, когда он преподавал в гимназии, в войну в чине прапорщика служил в Ингерманландском полку. И если у

него что-нибудь не получалось, не находило завершения, то чаще не по его вине — из-за вмешательства других людей или осложнившихся обстоятельств. Как с этим их партизанством. Будь он на месте командира батальона, многое, особенно поначалу, делал бы иначе, безрассудно не лез бы на рожон и, возможно, они не дошли бы до этой ямы — некой мистической расплаты за все предыдущее. Или до последней точки в тупике, куда загнула их безжалостная повстанческая судьба.

Терпеливо дожидаясь, когда будет готова яма-могила, командир невольно в который раз перебирал в памяти события последних недель, чтоб хотя бы перед концом постичь некий таинственный смысл их трагического финала. Но, должно быть, память ничего больше не могла подсказать. Конечно, командир понимал, что жестокий приговор им был вынесен давно, исход был очевиден, как только они бросили вызов силе и взялись за оружие. Вызов был дерзкий, а собственных сил мало, это все и предreshило. Да и как могло быть иначе? Народ выжидал, а руководители, расталкивая друг друга локтями, рвались к трибунам. Верные рыцари звонкой фразы, они сперва опьянили тех, кто их слушал на митингах. А потом постепенно и сами уверовали в свои красивые слова. Когда же и сами превратились в заложников собственных заблуждений, уже ничего изменить не могли. Они должны были начать, за ними пошли другие, в первую очередь те, кто мало понимал, но свято верил. Иные шли из чувства долга, вдруг обретенной национальной гордости, ясно сознавая одно: если не теперь, то когда же? Скорее всего — никогда. Но никогда — это было страшно, для некоторых страшнее гибели, ибо стало банкротством всей многолетней святой мечты. Да, он тоже сомневался в скором успехе, еще менее верил в успех партизанской борьбы в условиях мира. Но шел, ибо очевидно: хоть когда-нибудь это должно было сделать. Без этого, без их безоглядной отваги, жертв и крови все их национальное дело, словно чахоточный больной, обречено на вялое, затянувшееся умирание. Теперь будет иначе. Зерно брошено в окровавленную ими почву, придет весна, засветит солнце, прорежутся всходы. Свой долг перед историей они выполнили.

Так утешал себя командир, а горечь неудачи душила его, сдавливала болезненное горло, затрудняла дыхание — и при ходьбе, и тут, когда он стоял над могилой. И вдруг перед его взором предстало лицо другого обреченного, стоявшего когда-то под веревочной виселицей, и его вещие слова, обращенные к

любимой Мариське*... Прошло столько лет, а злободневность тех слов очевидна. И наверно, останется очевидной надолго. По крайней мере пока в этом мире будет всем править сила...

Сорок на деревьях прибавилось, они стрекотали все громче и настырнее, словно протестуя против того, что здесь скоро свершится. Их никто не отгонял, не пугал, и они, обсев березовые ветки, рьяно справляли свою птичью тризну. Поодаль от сорок появилось несколько ворон. Эти вели себя спокойнее, недоуменно поглядывая вниз, вроде стараясь понять, чем занимаются люди? Людям было уже не до птиц...

Пожалуй, самым внешне спокойным среди этих людей был Казак, рядовой стрелок батальона, потомственный батрак случских фольварков. Главным его принципом в жизни едва ли не с детства стало — быть как все. Как все остальные батраки, вел он себя, когда работал у пана Песецкого. Работать так работать, есть так есть, спать так спать — как все. И на восстание пошел потому, что пошли другие, батраки из соседних фольварков, к которым присоединилось их шестеро. Пойди они к большевикам, наверно, с ними пошел бы и Казак. Все решал случай или, точнее, некий батрак, появившийся по весне в их имении. Он не рассказывал, где работал до этого, у них же был приставлен помощником к плотнику, ремонтировал инвентарь. Это был очень общительный, неопределенного возраста человек. Поначалу хлопцы не очень ему доверяли, думали, треплется. Но со временем вслушались и смекнули, что треплется не так себе, что-то все-таки знает. А он и в самом деле знал многое и во многих городах побывал за свою не такую и долгую жизнь, включая Ригу и Питер. Говорил, что он социалист-революционер и что только тогда заживет по-человечески трудовой люд, когда разделит панскую землю. Но прежде чем делить землю, надо было отобрать ее у господ — поляков и русских, Беларусь должна стать независимой, такой, как Польша или Германия, иметь свое правительство и свой парламент. Сначала это показалось забавным — белорусский парламент! Но позже, когда в Минске созвали Конгресс, хлопцы и правда поверили эсеру: происходило что-то похожее на то, о чем он говорил летом. Когда заварилась эта каша в Слуцке, он и сагитировал всех податься туда. Казак долго не колебался, поняв, что воевать за Бела-

* Имеется в виду момент казни руководителя восстания 1862 г. в Литве и Беларуси Кастуся Калиновского. (*Примеч. авт.*)

русь будет, поди, не труднее, чем изо дня в день вкалывать в панском имени. Опять же отговаривать его было некому, жалеть тоже. Утром они запрягли панскую фуру и все вместе покатили по шоссе в Слуцк. Начальники и кое-кто из более умных горожан говорили: к зиме победим и заживем своей белорусской семьей, без москалей и поляков. Известно, жить своею семьей было весьма соблазнительно, тем более если надеялись на земли. Казак был не против. Только бы удалось так, как обещали. К сожалению, не удалось. Не то что своею семьей, но и вообще жить. Да что горевать... Он, Казак, не лучше других и, само собой, не счастливее. Если даже командир, бывший офицер и учитель, говорит, что иначе нельзя, значит, и впрямь нельзя. Значит, придется помирать. Как все, так и он. Вот только бы закурить перед концом...

Курева, однако, не было ни у кого. Казак потоптался возле кучи песка и стал дожидаться своего часа.

Прикинув наконец, что яма готова, Забелло слегка подровнял дно, измерил яму шагами. Получилось четыре шага в длину и два в ширину. Пожалуй, хватит на всех.

— Финита ля комедия! — нарочито шутовским тоном крикнул он и швырнул вверх лопату.

— Ну хватит, — согласно произнес командир и подозвал остальных: — Все сюда!

Когда они все как-то неуверенно, явно страшась, обступили яму, командир тихо задал свой самый трудный вопрос:

— Итак, кто первым?

— Первый уже есть, — ответил Метельский. — Австрияк.

— Давай его сюда...

Увязая сапогами в куче сыпучего песка, Метельский двумя рывками подтащил огруженное тело Австрияка к яме, головой вниз передал Забелле. Тот, сам едва удержавшись на ногах, принял несчастного, опустил на дно и уложил вдоль стены. Руки Австрияка, наверное, следовало сложить на груди, но они уже не складывались и скрюченными кистями тянулись кверху.

Над ямой стояли Дед с Кожухарем, немного поодаль мялся незаметный Казак. Володька держался возле командира. Парень совсем спал с лица, притих, кажется, боялся вымолвить слово. Метельский высоко стоял на куче песка.

— Так как будем? По одному или все вместе? — спросил он с надрывом в голосе.

— По одному, — тихо сказал командир. — Из нагана.

— В яме?

— В яме. Чтоб не слышно...

Похоже, все поняли всё и только болезненно сжались, вроде перестав дышать. Командир обвел их отсутствующим взглядом, почувствовав, что надобно что-то сказать — на прощание или в утешение. Если в их положении было какое-нибудь утешение. И он сказал:

— Что ж... Нам не удалось — может, удастся другим. Кто по-счастливее. Они нас вспомнят. Все-таки мы не за себя. Мы за нее... Кроме нее, у нас ничего нет. Прими, Господи, жертвы твои...

Все молча и напряженно ждали. Сглотнув тугой комок в болезненной горле, командир после паузы сдавленно спросил:

— Так кто первым?

Выдалась короткая тягостная пауза, после которой к командиру шагнул Метельский.

— А, мать твою... Давай я!

Командир протянул ему револьвер, и Метельский, обрушивая песок, сиганул в яму. Там он вытянулся на дне подле Австрияка.

— Живе Беларусь!

— Живе... — слабым голосом отозвался командир, и глухой револьверный выстрел смял окончание фразы. Несколько сорок с ближней березы испуганно перелетели поодаль. У ямы снова возникла мучительная пауза, все неподвижно стояли, боясь взглянуть вниз.

— Кто дальше? Ты, Зубко? — неуверенно повернулся командир к Деду. Тот ступил шаг-другой, увязая лаптями в песке, и остановился.

— А ружье?

— С ружьем, братка, — мягко произнес командир.

Как-то неуклюже, словно безвольно, Дед свалился в яму, остальные опять замерли в томительном ожидании. Однако долго ждать не пришлось, коротко хлопнул выстрел, и все стихло.

— Ну? — в очередной раз произнес командир и вопросительно взглянул на Кожухаря. — Ты?

— Я? — словно удивился Кожухарь — Если отважусь. Коли нет, пристрели, командир...

Сперва устроившись ногами на краю ямы, он затем спокойно, не торопясь сполз вниз. Опять все притихли. На этот раз почему-то ожидание затянулось, видно, Кожухарю не просто было управиться с револьвером одной рукой. Но вот хлопнул выстрел.

Командир заглянул в яму, недолго постоял, не отводя глаз, и снова обернулся к остальным.

— Так. Забелло!

— Я! — по-военному с готовностью отозвался Игорь и, не раздумывая, соскочил вниз. — Я скоро, только надо тут поправить, — глухо послышалось из ямы.

Оставшиеся не видели, что там надо поправить, — невольно застыв в жутковатом нетерпении, ждали выстрела. В барабанах нагана оставалось два патрона, их же над ямой стояло трое. Это открытие сперва неприятно поразило командира, но потом даже обрадовало. Кажется, это был божеский знак, выход из непростой ситуации, о которой он думал теперь.

Когда в очередной раз они дождались выстрела и взглянули друг на друга, Казак понял, что черед дошел до него. Без лишних слов и напоминаний легко соскользнул в яму, где почти тотчас прозвучал выстрел. Неожиданно, мертвея от страха, по песку к яме шагнул Володька.

— Сулашик! — задержал его командир. — Постой.

Володька остановился, едва удерживаясь на краю ямы. Он даже не успел заглянуть туда, уловив странные нотки в знакомом голосе командира.

— Вернись. Тебе задание: закопать, заровнять. И — живи!

— Я?

— Ты! За всех нас. За отца. Дай я тебя обниму...

Неловко, одной рукой командир легонько приобнял Володьку, чуть-чуть помедлил и тоже, густо обрушив песок, сполз в яму.

Володька остался стоять на растоптанной куче песка, ошеломленный и озадаченный последним наказом — жить. Один? За всех? Но как это — жить? Возможно ли такое? Новая возможность не вмещалась в его голове, он стоял, потрясенный внезапно воскресшей надеждой. Она, эта надежда, заглушила все черное, чем последнее время полнилась его душа, воскресила новые чувства. В душу хлынула радость, которая, однако, и затухла, когда в яме в последний раз хлопнул выстрел. Больше патронов в нагане не было.

Потом он закапывал яму-могилу и плакал. Уже можно было не сдерживать слез, стыдиться было некого. В яму он так и не заглянул ни разу, греб и греб лопатой рыхлый песок с краев и думал, что вот удачная вышла могила, сухая... Если бы такая досталась отцу. Было обидно, что отца пришлось закопать на болотистом приречном лугу, в торфянике. Вырыть глубоко там

было невозможно, подступала вода, да и времени у него был всего какой-нибудь час. Так обошлась судьба с человеком, которого Володька любил больше всех в жизни, но жить с которым ему пришлось до обидного мало. Кажется, сильнее всего отец любил Беларусь и за эту любовь девять лет отбыл на Нарымской каторге, нажил там чахотку... А на родине в это время подрастал Володька, мечтая дожидаться с каторги отца. И правда, дождался. Но отца опять позвала Беларусь. Уходя на формирование полка, тот не захотел взять с собой пятнадцатилетнего сына, сказал: рано, пусть дожидается отца с победой под бело-красно-белым стягом. Володька остался в Слуцке, где второй год квартировал у старой пани Хованской. Но долго там не усидел, особенно когда узнал, что его каторжник-отец стал командиром роты и набирает бойцов. Мать три года тому назад умерла, дома оставалась старшая Володькина сестра Саша. Она сама рвалась в войско, к прапорщику-мужу, но у нее на руках была маленькая Леночка. А Володька решился. Однажды стылím осенним вечером объявился в Грозове, отыскал в штабной хате отца, у которого уже не хватило решимости отправить сына обратно. Над Морочью в начале зимы они прикрывали с группой отход батальона, и отец во время перебежки получил три пули в живот, долго умирал потом в перелеске. Володька едва успел зарыть его на лужайке, большевистские цепи уже шарили в прибрежных кустарниках — искали раненых.

Работал Володька споро, из последних сил греб и греб песок, ровнял, разбросал по сторонам излишки, чтобы меньше было заметно, что тут кто-то копал. За работой мало-помалу стал успокаиваться, кажется, никто их тут не обнаружил, и это обнадеживало. Оружие — наган и винтовки — остались в могиле, а лопату надо было куда-либо забросить. Чтоб не нашли.

Видно, уже под вечер с лопатой в руке он и побрел по лесу. Сзади, перелетая по верхушкам берез, его преследовала все та же стая сорок, и он не знал, как от них отвязаться.

Он шел не зная куда — лишь бы подальше от этих страшных и Черных Лядов...

ЖЕЛТЫЙ ПЕСОЧЕК

Рассказ

Их везли ночью по темным городским улицам куда-то прочь от тюрьмы, но в каком направлении, Автух сообразить не мог. В крытой машине не было окон, нигде не просвечивало ни единой щели, и ни внутри, ни снаружи ничего не было видно. Автух сначала подумал, что попал в «черный ворон», о котором слышался в тюрьме, да и в деревне тоже. Но, поразмыслив, понял, что нет — это не «черный ворон». Как он заметил в ночи, когда их вывели на тюремный двор, машина была вовсе не черная. Скорее серая. И что-то короткое написано на ее боку, только он не успел разобрать что. Осужденных поспешно заталкивали в ее темное нутро, а у Автуха развязалась веревка на лапте. Согнувшись, он попытался ее завязать, но тут же получил злой пинок в зад от молодого конвойного, или как там его — сухощавого военного с усиками, который распорядился посадкой. Автух торопливо вскарабкался в железный кузов машины, где уже сидело человек шесть осужденных, и съезжился у самых дверей, которые с грохотом затворились. Машина поползла-поехала со двора, через ворота, потом по улицам, сворачивая то в одну, то в другую сторону. По левую руку от Автуха сидел незнакомый ему мужчина в кожанке, которого Автух видел однажды в кабинете следователя. Теперь было не понять, почему тот здесь: то ли также арестован, то ли везет их в какую-нибудь другую тюрьму. А может — на волю! После четырех месяцев тюремной отсидки это было бы здорово. Да и за что карать Автуха, какой из него польский шпион? В Польше ни разу не был, мало ли что жил при границе. На хуторе. И одиночно...

Вот в том, что одиночно, наверно, и был самый великий грех Автуха. Из-за своего одиночия он за три года натерпелся столько, что иному хватило бы на всю жизнь.

— Таварыш... А, таварыш, — деликатно потревожил он локтем соседа в кожанке. — Не ведаете, куды гэта нас?

— На Кудыкину гору, — не сразу и злостновато отозвался сосед.

Этот сосед, по фамилии Сурвила, и в темноте с закрытыми глазами мог определить их недлинный маршрут, — от городского центра на окраину и далее мимо пригородной деревни к недалекому лесу, где располагалось наркоматовское стрельбище. Когда-то сам возил туда таких же осужденных, особенно во время его службы в комендатуре. Потом, когда перешел в следственный отдел, раза два выезжал туда для упражнения по стрельбе из личного оружия — пистолета ТТ. Раньше все чекисты управления были вооружены револьверами системы «наган», а в прошлом году следователям в первую очередь выдали новенькие ТТ — удобные такие пистолеты с черными щеками на рукоятках. Из них и стреляли. Он тогда выполнил упражнение на «хорошо». А теперь это упражнение будут выполнять другие. На практике. По их затылкам.

Машину стало бросать из стороны в сторону, и Сурвила понял, что они выезжали из города. В стороне поблизости ютилась небольшая пригородная деревня, а им предстоит поворот влево, от которого... От которого до цели, до последнего их рубежа, считай, ничего. Осталось каких-то полчаса времени, и все. Все навсегда закончится.

То, что все скоро кончится, однако, не очень и беспокоило Сурвилу. К этому готов был месяц назад, даже до суда, он знал: его не помилуют. Стрельнут. То, что ему предъявили в обвинении, вообще-то соответствовало истине: допускал превышение власти, применял недозволённые методы, — бил и пытал, ломал кости. Да разве так поступал он один? Все в их управлении работали так — старались, не спали ночами, выбивали все, что можно было выбить из каждого врага народа. А эти проклятые враги — знай мотали им нервы, ни в какую не хотели признаваться — лгали, выкручивались, на всякой мелочи обманывали следователей. Некоторые, даже подписав показания, отказывались затем на суде. И все твердили свое: ничего не знаем, ни в чем не виноваты. Не вредили, не шпионили, никого не вербовали. Трудная была работа — надлежало в поте лица выбить из них и признания, и фамилии, явки, даты и встречи. Иногда перебирал, это верно. Но ведь для пользы дела, не для себя. Тот же Семух помер у него в кабинете. Что помер — беда невелика, хуже, умерев, все унес с собой. А на него была надежда. Когда

хорошенько дали, начал показывать. Думали через него раскрутить всю их сволочную организацию, к тому шло дело. А он взял да помер.

Купцова он застрелил из того же новенького ТТ. Но Купцов бросился на него с кулаками, а кулаки у двухметрового кузнеца из прессового цеха такие, что двумя ударами мог вогнуть в пол. Хорошо еще, что Сурвила успел применить оружие, спасти себя и своего напарника. Так что, если посмотреть объективно, в чем же его вина? Если же по всей строгости, согласно последнему законоположению, так, может, и правильно: виноват. А если по революционному пролетарскому правосознанию... Впрочем, он не слишком и оправдывался, признал все. Но в глубине души надеялся, что накажут не строго. Все-таки он не какая-нибудь контра, не националист, а свой брат — чекист. Должны же это учитывать. И теперь ему обидно, что не учли, не посмотрели на разницу между ним и явными врагами народа, затолкали в одну машину, а там, гляди, бросят и в одну яму.

В машине царила тишина, слышно было, как шуршат о бумажники колеса да что-то поскрипывает в углу кузова, когда машина попадает в колдобину.

— Во як! На Кудыкину? — не мог чего-то понять Автух и совсем приуныл, снедаемый скверным предчувствием.

Не в состоянии справиться с ним, снова обеспокоенно завозился в темноте, сморкался и кашлял. Где-то здесь, в машине, его земляк, даже односельчанин с той же фамилией — Козел. Был он вдвое моложе Автуха, учился в Минске в педтехникуме и писал стихи, которые печатались в минских газетах. Под стихами подписывался красиво — Феликс Гром. Сам Автух тех стихов не читал, слышал о них от людей да в тюрьме на допросах от следователей. Хотя о стихах на следствии с ним говорили мало, больше о том, как этот Козел-Гром завербовал Автуха в контрреволюционную, антисоветскую, диверсионно-разведывательную банду.

Автух тихонько позвал:

— Фэля! А Фэля...

— Ну, — послышалось издали в машине.

— Куды гэта нас вязуць?

— Для исполнения приговора, — с надрывом в голосе ответил Феликс. Этот явственно прозвучавший надрыв еще больше встревожил Автуха.

— Нявжо на расстрэл?

— А ты думал...

— Дык як жа гэта... Я думаю...

— Помолчи лучше! — оборвал разговор земляк, которому, видать, было не до разговоров.

В самом деле разговаривать Феликсу Грому было трудно; после допросов и избиений сильно болело в груди, невозможно вздохнуть. Он только подивился детской наивности дядьки Автуха: не знает, куда везут, или не хочет понять, что для них все уже кончено. Позавчера был суд — десять минут читки загодя приготовленных бумажек, из которых еще до объявления приговора все становилось ясно. Видно, ничего не понял из того только его земляк, хуторянин Козел Автух, как всегда занятый мыслями о семье да своем единоличном хозяйстве.

Феликс Гром в тюрьме перестал думать и о родной деревне, и о педтехникуме, где учился, и даже о своих стихах, сборник которых подготовил к печати и перед самым арестом отнес в издательство. Впрочем, сборник казнили прежде его автора. Во время следствия, на допросах следователи поперебой цитировали строки из его арестованных стихов — читали, кромсали и подчеркивали, бдительно выискивая хитро замаскированную крамолу. «Блістае раница агністая на хмарах восені маёй...» Что означают эти ваши хмары? А ничего, кроме того, что означают хмары вообще. Э нет. В поэзии хмары — это нечто другое, чем просто облака, возражали литературоведы с наганами на боку. Так что вы подразумеваете под утренними хмарами?

Он ничего не хотел подразумевать, зато что-то подразумевали они, однако ему не говорили. Он должен был сам догадаться об их тайных мыслях и подсказать им от себя. По всей видимости, это было бы признанием, которого так домогались следователи. Но он не догадывался и не признавался. Тогда его били — палкой по ногам, сапогом в грудь, не давали спать трое суток.

А потом начали обвинять в шпионаже для белопанской Польши. И пристегнули к нему дядьку Автуха, который жил за деревней на хуторе, не вступал в колхоз. А он с тем Автухом, по сути, и разговаривал всего однажды, в прошлом году, когда приезжал из Минска навестить больного отца. Ходил одолжить лошадь, чтобы съездить за доктором. Дядька Автух коня не дал, сказал взять в колхозе, а ему надо успеть свезти сено, пока не начался дождь. Разговор продолжался каких-нибудь пять

минут, и вот теперь за те минуты — расплата. Оба — к высшей мере.

— Ну что тебе не сидится? Вертишься, как вьюн на сковородке! — слышалось недовольное ворчание в темноте.

— Да чтоб выглянуть. Тут же моя деревня где-то, — ответил тот, что вертелся.

— Ты же городской, — подал голос от двери Сурвила. — На допросе говорил: с Комаровки.

— Так жил на Комаровке. Как в депо начал работать. А родился в Зеленом Лугу.

— Вот когда выясняется! — после паузы сказал Сурвила. — А то все: рабочий, железнодорожник! Путаешь что-то, Шестаки.

— Ничего не путаю. Родился в деревне, верно. Но ведь рабочий. Это надо брать во внимание. И партийный.

— Был! — коротко заключил Сурвила.

Эта реплика чекиста задела, по-видимому, больную струну в душе Шестака.

— Был и остаюсь! Я не такой, не откажусь. Перед партией я чист.

Машину сильно встряхнуло на какой-то колдобине, поэт Феликс Гром ойкнул от боли в груди. Кто-то во тьме впереди выругался.

— Падлы! И перед концом не могут по-человечески! В бога душу их мать!

— А тише нельзя? — сказал Сурвила.

— А что тише? Тише-тише! Да пошли вы...

— Ты кто? Как фамилия?

— А тебе что? Следовательно?

— Хотя бы и так. Как фамилия, спрашиваю?

— Ну Зайковский. Наверно же, там у вас все записано. Такую вашу мать... Да не наваливайся ты, буржуйский чмур! — вдруг закричал он в темноте на кого-то. — У меня рука сломана!

Здоровой рукой Зайковский оттолкнул в спину соседа, который на поворотах сильно приваливался к нему и тревожил сломанную ключицу. Перелом был внутренний, закрытый, случилось это неделю назад на допросе, когда его обрабатывали двое следователей — молодой, длинный, как глист, и пожилой с усами и орденом на гимнастерке. Добивались признания, что он польский шпион, агент дефензивы по фамилии Млынец. Но Зайковский не был шпионом, тем более Млынцом, потому что был обыкновенный московский домушник. В

Москве за ним числили восемь грабежей, хотя, по правде, их больше было (кажется, тринадцать), но Зайковский как-то выкручивался, не давался в руки ни угрозыску, ни ГПУ, ни милиции. До тех пор, пока в его жизнь не вошла Ванда. Подлая стукачка сначала пригрела, а потом продала. Хорошо, что он такой рискованый и ловкий, сумел вырваться из милиции, правда, замочив при этом дежурного милиционера. Тогда же понял, что в Москве его дела закончены, из престольной пора рвать когти. И он вспомнил жившего в Минске дядьку, с которым не виделся со времен нэпа. Приехав, долго искал нужный ему номер на какой-то захолустной Заславской улице, а как нашел, сообразил, что дал маху: дядька давно куда-то вытряхнулся, в зеленом, с садом домишке жили другие люди, которые о его дядьке, похоже, и не слышали. Где было его искать? И где ночевать? Пошел на вокзал. А ведь знал: вокзалы — погибель для таких залетных гусей, как он. Но устал, находился за день, а тут еще полил дождь, и он думал немного посидеть, обсушиться. На вокзале его и взяли. Запрос-то так, с усмешкой два мильтона попросили пройти. Вот и прошел свой нелепый крученный путь — от вокзальной скамьи до скамьи подсудимых. В итоге — высшая мера.

Если бы не эта ключица, он бы, конечно, рискнул. Были еще силы, не все их выбили на этих костоломных допросах. Но с такой ключицей, считай, однурукий. А с одной рукой — кранты. И Зайковский только кусал губы — от боли и отчаяния, что ничего не мог изменить в своей несуразной судьбе.

Между тем обруганный им буржуйский чмур Валерьянов вежливо отодвинулся от сварливого соседа и не промолвил ни слова. Вообще, он мало обращал внимания на то, что происходило вокруг, привычно оставаясь в собственном мирке, куда не допускал никого. Даже в тюрьме. Ни с плохим, ни с хорошим, которое в это проклятое время запросто превращалось в свою противоположность. Как и обычная человеческая доброта, даже сочувствие. Очутившаяся после войны в Кракове двоюродная сестра Валерьянова, случайно узнав о нелегкой судьбе брата, загнанного судьбой в Минск, тоже посочувствовала. Весной перед католическим Рождеством Валерьянов получил по почте небольшой пакетик с иностранными штемпелями и нашел в нем два детских платица, белые чулочки, безопасную бритву для себя и кулек конфет в блестящих обертках. Для его девочек-дошкольниц это стало огромной радостью, да и он порадовался первой за пятнадцать лет весточке от сестры-гимназистки, кото-

рую, как считал, навсегда потерял в девятнадцатом, когда они расстались в Киеве. Однако недолгой была эта радость. Не прошло и месяца, как на рассвете в дверь постучали. Жена Дуся вскочила с постели и сразу запричитала — она уже предчувствовала, что это значит. Да и он догадался сразу, открыл двери и уже не закрыл их, за ним их закрыли другие. Так же как и за женой, которая в отчаянии бросалась на чекистов, что все вверх дном переворачивали в их комнатенке. Уже на следующий день те платица и чулочки стали на следствии вещественным доказательством его преступной связи с польской разведкой.

Это был его шестой арест после революции. Валерьянов уже утомился оправдываться, опровергать дикий вздор обвинений и на допросах больше молчал, воспринимая унижения и побои как нечто вполне естественное. Между допросами в камере жил подробностями воспоминаний о своем давнем, довоенном прошлом, так не похожем на последующую жизнь. Хотя и там было разное, хорошее и не очень, но была учеба, военная служба и даже два пугешествия туристом — в Баварию и Австрийские Альпы. В Кракове он никогда не был и не думал, что этот незнакомый город так трагически коснется его судьбы.

Ночью в камере, когда немного стихал людской шум, Валерьянов молился — разговаривал с Богом. Просил у него не за себя — за двух своих деток, что остались теперь неизвестно где. Больше ему молиться было не за кого. Просить Бога за жену, вероятно, не имело смысла, зная ее характер, Валерьянов думал, что по-хорошему с ней не обойдуся. А на зло она реагирует со всей необузданной женской страстью, не посмотрит, кто перед ней — следователь, конвоир или сам начальник тюрьмы. По собственному опыту Валерьянов знал, что такие натуры в тюрьме не приживаются: их либо убивают, либо они сами убивают себя. Потеряв в революцию первую жену — дворянку, он женился на дворницкой дочке Дусе, полагая, что теперь пришло время дворников. Однако ошибся. Видно, время настало не подходящее ни для тех, ни для других. Не дали жить с Дусей, не дадут жить и самой Дусе. Но остались девочки-дошкольницы, что с ними будет?

О том, что скоро случится с ним, Антон Аркадьевич не очень задумывался, понимал, что приговор ему вынесен не позавчера, а должно быть, еще в семнадцатом. И то удивительно, что прожил столько лет — теоретически это было невозможно, на практике же вот получилось. Только зачем? Что дали ему эти дополнительные годы жизни? Нескончаемую уйму страха, риска,

тревог — за себя, за жену, за рожденных ими детей. Все же, наверно, плохо он сделал, обзаведясь семьей, пустив по свету гольфьбу и безотцовщину. Кто им теперь поможет? Добрые люди? Но где те добрые люди, вывелись начисто. Осталось святое Провидение, Господь Бог, который только и мог взять под свою божескую опеку младенческие души.

Похоже, выехав за город, машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу. Движение ее замедлилось, огромный кузов стало раскачивать на колдобинах, временами казалось, машина вот-вот остановится, натужно ревя мотором. Партиец-большевик Шестак также хорошо знал эту дорогу и почти безошибочно определял, где они едут. Чем дальше они отъезжали от тюрьмы, тем сильнее снедало его беспокойство. В тюрьме за полгода отсидки он не сказать чтоб слишком и переживал свою участь — там у него были свои, почти служебные обязанности. Уже второй год Шестак был членом ВКП(б), отлично сознавал передовую роль рабочего класса и его авангарда — партии большевиков, и коль уж случилось, что он оказался в тюрьме, то и здесь надлежало вести себя, как подобает большевику: помогать органам разоблачать врагов. Известно, что враги — коварные люди, отлично таятся, хитрят и обманывают, требуются дьявольские усилия, чтобы разоблачить их. Шестак не жалел усилий, прикидывался человеком бесхитростным, заводил разговоры, слушал и запоминал, что говорят другие. Иногда он давал советы. Единоличнику Козлу рассудительно советовал признаться во всем и подписать, что требует следователь: в таком случае, мол, дадут меньше, а то и вовсе отпустят домой. А будешь запираешься — получится хуже, могут и шлепнуть. Кажется, Козел поверил и в конце концов подписал. Следователь Кутасов оставался доволен, единоличника перестали водить на допросы, тот успокоился и начал дожидаться освобождения. Шестак был человек не злой и сам готов был поверить, что Козла выпустят, какой из него враг народа, несознательный просто. Но именно после истории с Козлом что-то сорвалось и у самого Шестака, кажется, его в чем-то заподозрили. Заподозрили, конечно, напрасно, ни в чем он виноват не был, все делал в точности, как ему говорили. И то, что от него потребовали подписать показания о вредительстве на железной дороге, сначала показалось ему совершенной дикостью. Но следователь Кутасов объяснил, что как член ВКП(б) он обязан не перечить органам, а содействовать им в их секретной и почетной работе. И помнить, что органы не ошибаются. Пусть даже кого-то обвинят и несправедливо, как сна-

чала покажется, но так надо для разоблачения особо опасных лазутчиков. Опять же, кто-то должен и жертвовать собой, как это делали пламенные революционеры в прошлом, — ради интересов рабочего класса, во имя великих идей Ленина — Сталина. Придет время, и партия оценит все по справедливости, не забудет ничьих услуг. Такой оборот дела не очень понравился Шестаку. Разумеется, он всегда был готов помочь партии и ее органам и уже немало для того сделал. Но теперь он почувствовал, что тот путь, на который его настойчиво толкал следователь, таит в себе определенную опасность. Единственно, что успокаивало, — это мысль, что партии лучше видать и органы не ошибаются. Скрепя сердце согласился. Подписал бумаги, будто он, Шестак Пантелей Иванович, участник группы вредителей под названием «Вперед за свободу» (ВЗС), которую возглавлял замнаркома путей сообщения Булеш. Сказали, что Шестак мог участвовать в группе как секретный агент органов, и это также его утешало. Главное — согласиться и подписать, а потом, на суде, все откроют назад и его оправдают. Судьи — квалифицированные чекисты и своего человека из органов не дадут в обиду.

До сих пор все у Шестака шло как будто неплохо. На допросах с ним обращались вежливо, случалось, даже угощали чаем. А тут что-то явно изменилось. Неделю вовсе не вызывали к следователю, будто забыли, что он тут сидит. Потом повели на суд. Шестак подумал, что суд для него пустая формальность. Оказалось, не так — не формальность. К нему весьма строго отнеслись конвоиры, сурово встретили судьи. Злой короткий допрос показался ему нелепым: похоже, судьи не знали о его секретном сотрудничестве с органами, возможно, следователь Кутасов что-то не передал им. Каких-либо бумаг или каких указаний. И когда ему объявили: к высшей мере, — он искренне удивился. Но тут же подумал, что, по-видимому, так надо. Все-таки он там был не один — их было много, обвиняемых врагов народа. Значит, его следовало прикрыть, чтобы не заподозрили. Хотя бы тот же Автух Козел, также получивший вышку. А потом Шестака и отпустят, за что же его расстреливать? Его наградить надо за шестимесячное томление в тюрьме и услуги, оказанные органам. Несколько дней он терпеливо ожидал в камере, да напрасно. Потом стал требовать следователя, того же Кутасова. Однажды, когда он, сильно обеспокоенный, стал стучать в дверь, вошли два надзирателя и зверски его избили. Тогда он впервые понял, что дела его плохи. Но все равно не хотел верить в скверное, ждал, что наконец появится Кутасов, и все ста-

нет на место. Может, этого Кутасова нет в тюрьме, может, выехал куда в командировку? В Москву, например. Не мог же он забыть, что в тюрьме его дожидается верный помощник органов, партиец Шестак.

Он высматривал следователя ночью, когда их вывели для посадки в машину, но Кутасова не было и тут. Как сквозь землю провалился. И Шестак ухватился за спасительную мысль, что тот появится перед расстрелом и в последний момент отлучит от остальных. Наверное, главное теперь для него, как и прежде, не потерять выдержку, не раскрыться, до конца выполнить свой секретный долг. Тогда все будет хорошо. Должно быть хорошо.

Машина сильно наклонилась, встряхнула седоков в кузове, мотор, слышно было, отчаянно взревел, но, похоже, они оставались. Сурвила догадался, что застряли в ложбинке, на самом разбитом участке дороги, где и в сухое время стояли лужи. Накануне как раз начались дожди, лужи, наверно, разлились. Сидя возле двери, он слушал, как под машиной плещут погруженные в хлябь колеса, — машина буксовала. Брякнула дверца кабины, откуда-то сбоку послышался рассерженный мужской голос — это вылез на дорогу помкомеданта Костиков, ехавший с ними исполнить приговор.

— Левее, левее бери, охламон! — раздраженно покрикивал он на шофера, старательно газовавшего мотором. Но машина лишь дергалась на месте, тщетно перемешивая колесами потоки грязи.

— Дай я...

Начал газовать Костиков, попеременно — сильно и потише, но, похоже, напрасно — они все глубже увязали в луже.

...Когда-то этого Костикова, тогда молодого парня, только начинавшего службу в органах, перевели из района в управление тюрьмы. Первым его встретил Сурвила, в тот вечер заступивший на дежурство. Худой, стеснительный Костиков молчаливо слушал его рассказ о тюремных порядках, не переменных строгостях с арестантами. Конечно, все тут было для него внове, Сурвила же имел кое-какой опыт чекистской работы, которым не прочь был поделиться с новичком. Тогда же он посоветовал молодому сотруднику, где приискать квартиру, и тот в самом деле нашел симпатичный домик за Кальварийским кладбищем; вскоре пригласил Сурвилу, и они неплохо там выпили. Спустя какое-то время Сурвила перешел в следственный отдел, на повышение, а Костиков остался в комендатуре на прежней должности помощника коменданта. Нынче, когда чекистская

служба Сурвила так трагически обрывалась, как бы тот самый Костиков не занял его место в следственном отделе. Что ж, в общем Сурвила не возражал — Костиков парень толковый, настоящий чекист, несмотря что молод годами.

Наконец помкоманданта, видно, понял, что силой двигателя из болота не вытянуть. Включив малый газ, он выскочил из кабины и зазвякал металлическим засовом машины.

— А ну подтолкнем! Ты, Николай, и ты, Козел, — выходи!

Они сидели близко к дверям и сразу поднялись. Сурвила решительно прыгнул прямо в лужу, Автух помедлил, не видя, куда ступить. Но Костиков снова прикрикнул, и Автух неуклюже плюхнулся в воду лаптями.

— Давай! Как я скажу, — командовал Костиков, стоя на обочине. — Шофер, поддай газу! Ну, раз-два, взяли!

Изо всех сил они начали толкать в зад низко осевшую машину — Сурвила с одной стороны, Автух с другой. Была еще ночь. В стороне от дороги темнел небольшой лесок, с ночного предутреннего неба моросил мелкий дождик. Автомобильные колеса ошалело бросали на них потоки жидкой грязи, кожанка Сурвилы скоро сделалась мокрой, как и суконный армяк Автуха. Они очень старались, упираясь ногами в вязкое дно лужи, но машина не трогалась с места, пожалуй, села как надо. Поняв это, Костиков крикнул шоферу, чтобы перестал газовать — жечь подурному бензин. Тяжело дыша, Сурвила с Автухом распрямились. В тишине из кузова послышался глуховатый просительный голос:

— Так это, пустите и меня... Пособить...

Голос принадлежал Шестаку, помкоманданта минуту медлил в раздумье.

— Давай!

Ступив одной ногой в лужу, Костиков отворил дверь, из которой вывалился в грязь Шестак.

Втроем они снова принялись за машину, но, кажется, все было бесполезно. Натужно завывал мотор, машина дергалась, раскачивалась, но с места не трогалась. В кузове вместе с нею дергался поэт Феликс Гром. Он думал, что, наверно, надо бы вылезть и помочь остальным, неудобно празднично сидеть, когда рядом надрываются люди. Но его не зовут и, пожалуй, не позовут. Он враг, и уж, конечно, более опасный, чем его односельчанин Автух или рабочий-партиец Шестак. Не говоря уже о чекисте Сурвиле. Зачем здесь этот Сурвила, Феликс не мог взять в толк. Дело его рассматривалось отдельно от остальных

и, по правде, мало занимало поэта. Впрочем, как и других, кроме разве Козла Автуха. Было, однако, странно, что дело комсомольца-поэта связали с виной единоличника, с которым он не имел ничего общего. Феликс Гром уже замечен в литературе, а Козел Автух по причине своей малограмотности вряд ли читал даже газеты. Но вот связали обоих. Не сразу и, наверно, только в тюрьме Феликс понял, что попал в западню не из-за стихов вообще, а потому, что стал сочинять их по-белорусски. Русские стихи политически были безопаснее белорусских, редакторы и цензоры на них просто не обращали внимания. И он думал: какой дьявол подбил его заняться белорусской поэзией. Если честно, то ему куда больше нравилась русская — Пушкин, Лермонтов и особенно Фет. Но писать так, как некогда писал Фет, было невозможно, засмеяли бы свои же друзья-комсомольцы. Надлежало брать пример с Маяковского, к которому совсем не лежала душа Феликса Грома. Он примкнул к объединению «Молодняк», куда вступали другие молодые поэты, и начал писать, как было повсеместно принято, — нарочито возвышенно, задиристо, «бурапенно». Старался изжить в себе врожденные, а значит, обывательские вкусы, всю эту залитературенную любовь к бору и лесу, проявлениям будничной жизни, усвоить иную эстетику, наполненную грохотом заводских цехов, дымом фабричных труб, коллективным трудом строителей коммунизма. И вроде что-то у него начало получаться. Газета «Советская Белоруссия» в обзоре поэзии упомянула его имя в числе молодых пролетарских поэтов и напечатала строфу из его лучшего стихотворения под названием «Майскія радзіны»: «Грымяць і стукаюць машыны, турбіны радасна гудуць, — спраўляюць майскія радзіны, калі ударнікі ідуць». Окрыленный официальным признанием своего таланта, Феликс написал еще с дюжину подобных стихов и почувствовал себя заправским певцом пролетариата.

Все у него пошло хорошо, и вдруг этот нелепый арест. Возможно, настучал кто-то, донес за какое-нибудь неосторожно, по пьянке сказанное слово. В тюрьме сначала допрашивали только за стихи, а потом, наверно, поняв, что со стихов навар будет небольшой, связали его с дядькой Автухом: признавайся, что польский шпион. Кажется, того же добивались и от Автуха. И добились. По своей крестьянской малосознательности или, может, не выдержав на допросах, Автух показал, будто Феликс Козел завербовал его в агенты дефензивы, чтобы вместе ходить через границу.

Дерганье машины и пыхтенье толкальщиков снаружи вдруг прекратились, только едва слышно гудел мотор. Упавшим голо- сом помкоманданта бросил:

— Ну что — сели?

— Сели на самый дифер, — устало ответил Шестак.

Феликс Гром осторожно постучал в двери:

— Может, и я помогу? Все-таки вчетвером.

Снаружи не ответили, но двери, звякнув, широко растворились.

— А ну давай все! Все вылазь, мать вашу за ногу! И толкать! Дружно, все вместе! — скомандовал помощник коменданта с нестрашной, явно напускной злостью. Эта его команда прозвучала теперь почти ласково, и Феликс подумал, что этот чекист не такой уж и плохой человек. За два месяца тюрьмы, допросов и унижений он натерпелся разного и уже считал, что среди них ни одного человека, одни звери. А так хотелось хотя бы перед концом встретить просто нормального человека, который бы отнесся к их бедам если не с пониманием, так хоть с маленьким знаком сочувствия. Тогда бы и Феликс ощутил себя человеком, хотя и приговоренным к высшей мере социалистического наказания.

Феликс Гром прыгнул в темноту, почти до колен погрузившись во взбаламученную жижу на дороге. Остальные двое, однако, за ним не поспешили, и помкоманданта опять перешел на угрожающий крик:

— Ну, вы там! Долго ждать, мать вашу растак?!

— А хрена тебе! — послышался из кузова хриплый голос Зайковского. — Я осужденный, мне не положено толкать машину.

— Как — не положено? — опешил Костиков.

— А так. Уголовный кодекс РСФСР, статья сто двадцать семь-прим. Читал?

Озадаченный Костиков на минуту умолк, широко расставив ноги на краю разлившейся до обочины лужи. Тяжело дыша, молчали и другие. Феликс Гром прилаживался, чтобы удобнее было толкать. С его болью в груди это было не просто.

— Да заливает он! Нет об этом никакой статьи, — сказал Сурвила.

— Пускай и нет. Все равно не выйду. Хоть удавитесь. Присудили к расстрелу, так будьте любезны в целостности и сохранности доставить к месту казни. Понятно? — хрипел в машине Зайковский.

— Сейчас я тебе покажу место казни! — вскипел Костиков, вытаскивая из кобуры пистолет. — Будешь у меня в грязи валяться, как дохлый пес, бандитская твоя морда! — Однако к дверям не лез, остерегаясь угодить в самое глубокое место лужи.

— А что тебе начальство скажет? — слышалось из машины. — Вез — не довез...

Похоже, положение осложнялось. Отделенный глубокой лужей Зайковский пока оставался недосягаемым.

— Ну, падла, ты у меня дождешься! Я на тебя обойму не пожалею. Последовательно!

— Давай, дуй! Последовательно...

Последние слова Зайковского Костиков, однако, оставил без внимания — беспокоило другое. Молча окинув взглядом поникшие фигуры осужденных, он словно недосчитался кого-то.

— А там буржуй этот, — подсказал Шестак.

— Белогвардеец, — уточнил Костиков и вскричал: — А ну вылазь, гражданин Валерьянов! Ваше сратое благородие!

Из кузова показалась плешивая, без шапки голова Валерьянова, который сначала сел на порог, поискал, на что опереться ногами, нерешительно перебирал руками.

— Ну, прыгай! Не трусь! — подбодрил его Сурвила.

Белогвардеец, однако, не прыгнул, ухватившись за плечо Автуха, грузно опустился в лужу.

— Ну, взяли! Раз, два — взяли! — командовал Костиков, отойдя в сторону и размахивая пистолетом.

Они снова принялись толкать. Шофер газовал рывками, пытаясь сдвинуть машину из глубоко вырытой колесами ямы. Из кузова слышался приглушенный, словно долетавший издали, голос оставленного в покое Зайковского:

— Толкайте, толкайте, жалкие рабы социализма! Дружнее! Сильнее! Крепче и выше! На свою погибель...

— Ты гляди! — изо всех сил напрягаясь, сопел Шестак. — Тут кишки рвешь, а он там оскорбляет! Сачок проклятый...

— Давай сильнее, пролетарское отродье!..

— Замолчи! Приказываю замолчать! Буду стрелять! — грозил Костиков, бегая по грязной обочине.

Зайковский не унимался и кричал что-то еще — грязное, оскорбительное. Сурвила, наверно не выдержав, посоветовал:

— Да стрельни ты ему в глотку! Сколько можно?..

— Считаю до трех и выпускаю всю обойму!

— Давай! Если казенной машины не жалко, — неслось из кузова.

Однако не успел Костиков начать свой грозный отсчет, как мотор стрельнул выхлопом и заглох. Стало очень тихо, из-под машины потянуло сизым вонючим дымком.

— Что такое? — насторожился Костиков.

— Все. Бензин кончился, товарищ помкоманданта, — отозвался из кабины шофер. Костиков выругался.

Все стояли молча, словно раздосадованные или обманутые чем-то. Действительно, так старались, столько потратили сил, и все напрасно. Опять придется начинать сначала.

— Так! — после непродолжительной паузы решил Костиков. — Шофер, давай дуй в гараж. Пусть присылают бензин.

— Чистякову доложи, — подсказал Сурвила. — Чистяков в курсе.

Молодой красноармеец-шофер устало потрусил по дороге в город. Осужденные нерешительно выбирались из грязи на обочину, где было посуше. Все ждали, что еще скомандует их начальник, который одной рукой расстегивал пуговицы командирской шинели, из другой не выпускал пистолета.

— Так! Думаете теперь шабашить? Черта с два! А ну берись! В конце-то концов, мы ее вытолкнем или нет?

С видимой неохотой все снова полезли в растоптанную, коломутную лужу, уперлись руками в испачканный грязью зад машины, Сурвила и Шестак — по углам, Автух и Феликс рядом. Машина основательно погрузилась в вырытую колесами яму в воде, казалось, вот-вот поплывет по дороге. Но не плыла, даже не хотела стронуться с места. Размахивая пистолетом, Костиков дирижировал с обочины, а они, размешивая ногами грязь, надрываясь, толкали.

Но и на этот раз все было напрасно. Машина осела совсем низко, и, похоже, никакая сила не могла вызволить ее из болота. Спустя какое-то время помкоманданта смолк, и они расслабили руки.

— Так не пойдет! — обиженно заговорил Шестак. — Если толкать, то всем надо толкать. А то как в бригаде — один вкалывает, а другой отлынивает.

— Как это отлынивает? — насторожился Сурвила.

— А то не видите? Вот буржуй этот. Только за борт держится. Валерьянов неловко передернул плечами.

— Я не держусь...

— Ну да! А то я не видел! Еще отпирается.

— Кто еще видел? — насупился Костиков. Остальные, однако, молчали, и помкоманданта начал допрашивать: — Единичник, видал?

— Не-а. Ничога не бачуу.

— Ты, поэт?

Феликс Гром неуклюже переступил в луже, зябко поежился в легкой тужурке.

— Ну, может, он и того... Человек в годах.

— Ах, в годах! Значит, не может? А вредить советской власти может? Я сам прослежу за каждым. Саботажника пристрелю без предупреждений. И — под колеса! Тогда скоро вылезем!

Феликс Гром сам толкал, считай, одной рукой, другую от боли в груди не мог поднять высоко. И он с опаской подумал, как бы его немощь не заметил бдительный Шестак или даже сам помкоманданта Костиков. Что ему помешает исполнить свою угрозу — пристрелит и бросит в эту взбаламученную лужу. От одной такой мысли Феликс зябко поежился, оглянувшись на темную фигуру поблизости.

Они снова толкали. На этот раз по команде, изо всех сил, у Феликса Грома от боли перехватывало дыхание. Рядом старался белогвардеец-буржуй Валерьянов, — наверно, тоже побаивался угроз чекиста. Хотя, если подумать, чего уж было бояться? Но все дело в том, что каждый оказался перед простеньким выбором, где лечь: в сухой желтый песочек или в болотную грязь, от которой еще у живых судорогой сводило ноги. Так можно и простудиться, с печальной иронией подумал Феликс Гром. Свой катафалк они же сами везли к месту похорон, — это было нечто новое в древнем обряде. Или изысканный метод казни? Вот о чем стоило написать стих, балладу или, может быть, сагу, но не распространенным ямбом, а гекзаметром, как Гомер. Наверно, Гомер — самый подходящий поэт для этой проклятой эпохи. А в «Молодняке» сплошь Маяковские...

— Раз, два — взяли! А ну поддали! Еще раз! Еще! — истошным голосом кричал рядом Костиков. — Не отлынивать, сильней! Еще сильней, мать вашу растак!..

Раза два он выстрелил сзади из пистолета, заставив содрогнуться всех — вспотевших, перемокших, кажется, вконец обесилевших.

— Давай, давай! Не то перестреляю всех к чертовой матери, проклятые враги советского народа!.. — неслось в ночи на дороге.

И случилось чудо — машина немного сдвинулась, обрадованные, они поддали еще, напряглись ногами и руками, и та в самом деле на метр прокатилась в грязь. Те, что были посередине — Гром и Валерьянов, влезли в самую глубину, но не отступили, не оторвали от железного борта рук, и наконец все вместе как-то вытолкали перепачканную машину из ямы. Самое гиблое на дороге место осталось позади, осужденные удовлетворенно распрямили спины.

— Ну вот, такую вашу мать! — почти ласково выругался помкоманданта. — Что значит умелое руководство! А то — ослабли, мало силы... Заставить надо! Десять минут перекур, — удовлетворенно объявил он и отошел на более сухое место у канавы. За ним нерешительно, по одному повывезали из грязи осужденные, выжидаяще остановились напротив. Костиков засунул за борт шинели пистолет, вынул из кармана пачку «Беломора».

— Угощайся! — первым делом по-приятельски протянул папиросы Сурвиле. Грязными пальцами тот бережно достал из пачки одну папиросу, уважительно прикурил от подставленной в ладонях спички. Над дорогой поплыл ароматный дымок. Все напряженно молчали.

— За ударный труд по ликвидации чепе при исполнении задания объявляю благодарность, — подобревшим голосом объявил Костиков.

Осужденные будто встрепенулись при тех уже стертых из памяти словах, услышав в них пронзительный отзвук отобранной у них жизни. Они восприняли их как шутку. Но теперь и шутка была для них признаком жизни, утратой которой будто дразнил этот чекист, причиняя каждому еще большую боль.

Один Шестак, казалось, готов был всерьез отнестись к словам помкоманданта.

— Спасибо, товарищ... Гражданин начальник. Вот если бы это зачлось...

— Зачтется, зачтется, — неопределенно пообещал Костиков.

— На том свете, — криво ухмыльнулся Сурвила.

— Почему на том? — не согласился коллега. — И на этом. Я вам обеспечу самую лучшую ямку. Сухую, с желтым песочком.

Было не понять, говорил он серьезно или цинично издевался над ними, — в утреннем сумраке были плохо различимы черты его молодого, подвижного лица. Голос, однако, казался вполне доброжелательным, это невольно располагало к чекисту.

— Но ведь я не виноват, — ступив вперед, произнес Шестак. — Правда. Следовательно Кутасов знает. Я не вредитель.

Костиков смачно затянулся папиросой, раздумно выпустил долгую струю дыма.

— Конечно, не виноват. Если был бы виноват, из тебя бы котлету сделали, все ребра переломали. Жену бы на твоих глазах... Будь ты виноватым. А так спокойно застрелим на сосновом пригорочке, и все. Правда, буржуй? — вдруг обратился он к Валерьянову, стоявшему в некотором отдалении от остальных.

Помкомеданта явно пытался задеть Валерьянова, вызвать его на ответ, но тот не ответил. Да, вероятно, он и не слышал этого молодого чекиста, которых он немало повидал на своем веку, начиная с девятнадцатого года, когда его пытались расстрелять в Алуште. Конечно, если бы тогда расстреляли, то избавили бы от множества испытаний, которые он пережил в свои последующие годы. Но в Алуште только довели до дистрофии и выпустили умирать по собственной воле. Продержав три недели в числе полусотни офицеров Доброармии в сыром винном подвале без пищи и воды, не выпуская даже по собственной надобности. Это последнее вынуждало Валерьянова страдать больше, чем от голода или жажды, он долго не мог ходить «по малому» и «большому» на глазах у незнакомых людей и уже тогда понял нечеловеческую сущность чекистов. Нелюди, так и следовало их воспринимать, если только нормальным умом можно было воспринять. Родной брат Валерьянова, юный поручик Аркадий Аркадьевич, по-видимому, так и не понял, с какими людьми имеет дело, — горячился, протестовал, спорил и в итоге тронулся умом. Пристрелили, словно собаку, и бросили в придорожном бурьяне. Он же вот выжил главным образом благодаря тому, что не протестовал, нигде и ни с кем не спорил, держал себя по возможности тише и незаметнее. В результате чего дождался? Того же, что и брат, только пятнадцатью годами позже. Стоило стараться?

Тем временем стало светать. По сторонам дороги выплыл из сумерек полевой простор с пригорком вдали и придорожным кустарником рядом. Сверху то моросил, то переставал мелкий осенний дождь, с поля дул влажный западный ветер. Полевая дорога с разъезженными колеями, полными мутной воды, вела на пригорок. Горожане тут ездили нечасто, колеи были от машин наркомата внутренних дел, которые и проторили эту дорогу. Ездили больше ночью. Хотя случалось и днем, особенно во время московских инспекций, когда в городе срочно разгружались тюрьмы.

То, что Валерьянов никак не отреагировал на его обращение, не понравилось Костикову.

— Ты, буржуй! К тебе обращаются!

— Я слышу, — тихо, одними губами ответил Валерьянов.

— Благодарю за мою доброту. Хотел пристрелить...

— Спасибо.

— Вот! А то не напомнишь — не поблагодарят. Буржуйская невоспитанность.

— Со своими они очень даже воспитанные, — подхватил Шестак. — Все: благодарю, благодарю...

— Со своими, но не с пролетариями, — заметил Сурвила. — Пролетарии для них враги.

— Наверно, мало стреляли, — сказал Шестак.

— Стреляли немало. Но всех не перестреляешь. Больше вину искали. Доказательства, признания... Сколько бумаг извели! — как о давно наболевшем с горечью заговорил Сурвила.

— А что писать? — удивился Шестак. — Разве сразу не видно: контра! Вот этот: жилет, гамаши, коверкот...

— Может, еще и галстук завязывал? — широко заулыбался Костиков.

— Завязывал, — тихо ответил Валерьянов. — Как любой интеллигентный человек.

— По нему пуля скучает, а он галстук завязывает! Разве что-бы повеситься в тюрьме?

— Уйти от наказания, — уточнил Сурвила. — Такой номер у нас не пройдет. У нас порядок!

Чтоб вы задавились со своими порядками, трясаясь на ветру от стужи, весь мокрый, сердито думал Автух. С разными их порядками уже хорошо познакомился за последние годы в деревне, да и тут, в тюрьме, тоже. Он не был против советской власти, мало интересовался политикой, но он имел землю и хотел есть свой хлеб. А ему говорят: в колхоз! Может, и вступил бы в колхоз, если бы не посмотрелся вдоволь, как в нем хозяйствуют и что с этого имеют. Порядки в колхозе были неслыханные, наверно, нигде в мире не было таких порядков. Картошка гнила в земле до морозов, убранные в непогоду зерновые прели необмолоченными в артельном гумне. Инвентарь за три года развалился до основания, некому было починить телегу, наладить хомут. Вся продукцию сдавали государству, себе не оставалось даже на семена, с апреля ели траву. Он кое-как перебивался на своей десятине под лесом, лучше жить не давали. Весной обрезали землю, оставив поросшую кустарником не-

удобицу, и снова принялись за него: пойдешь в колхоз? Нет, не пойду. Тогда отобрали сенокос, негде стало пасти корову. Затем реквизируют гумно, потому что, видите ли, начали строить колхозный коровник, понадобились материалы. Осеть, пуню и ток перевезли в колхоз, где их за зиму растащили на дрова колхозники. Опять приехало начальство: ну, пойдешь в колхоз? Сказал, не пойду, на своей земле помирать буду. Так они трактором перепахали дорогу от хутора к большаку. А чтоб не протоптал по пахоте стежку, засеяли ниву викой. На большак пришлось ходить за версту через лес, наверно, потому и пошел слух, будто он ходит в Польшу. Чтоб им к своей могиле ходить, сердито думал Автух Козел.

Все обобрали, обрезали, разорили, а потом начали зариться на его молодого коня. Колхозные лошади давно превратились в одров — от бескормицы и непосильной работы, а его коник оставался будто намалеванный. Выращенный из жеребенка от собственной кобылы, он был мил хозяину, может, больше жены, больше, чем взрослевшие дочери. Бывало, возит Автух с поля снопы и к вечеру так уработается, что нет силы залезть за стол. И неудивительно: на каждой горке подставляет под воз плечо, подталкивает, будто в паре помогает везти. Правда, и коник словно понимал хозяина, старался, выжиливался на молодых неокрепших ногах, вез сколько ни наложи. Как было отдать такого на артельное пользование, заездили бы за одно лето, загнали, испортили. Так украли. Вечером отвел на молодую отаву, спутал, да не надел замок — пожалел натруженные за день ноги. И украли. Автух сразу догадался кто, впрочем, о том знали все в деревне, был один такой у них вор, украл он у Автуха не у первого. Кинулся Автух в район, в милицию, к прокурору. И ничего. Все молча слушали, вроде сочувствовали, но искать и не думали. А то, что сам указывал на вора, в расчет не принимали. Говорили, надобны веские доказательства, а доказательств нету. Но какие еще доказательства, когда всем давно известно, что ворует лошадей Болозев и сбывает их цыганам с Полесья. Оказывается, нет: нужны доказательства. Такой порядок.

Там нужны были веские доказательства, а тут можно и без доказательств вообще. Автух никогда и не думал ходить за границу, чего ему надобно в той Польше, а они говорят: ходил. Будто его там поймали. Или там кто его видел. Но вот написали, ходил, и все. Признавайся!

И он, дурак, признался — послушался этого партийца и под-писал что подсунули. Думал, что выгадает. Но вот не выгадал, видно, прогадал окончательно. Стал польским шпионом. Сделал подарочек себе и дочкам. На всю их будущую жизнь.

— Большевистский порядок! — согласно подтвердил Шестак. — Мыша не проскочит.

— А ты помолчи! — неожиданно обрезал его Костилов. — Ты предатель.

— Я? — побледнел Шестак.

— Ты, ты, — ровным голосом повторил помкомеданта и кивнул в сторону Валерьянова. — Вот он не предатель, потому что он враг открытый. Белый офицер и так далее. А ты — и нашим, и вашим.

— Я не вашим... то есть не нашим, — загорячился Шестак. — Я служил партии, я большевик. Меня тут это... По ошибке.

— Ладно, — махнул рукой Костилов. — Разберутся.

Как это разберутся, не мог понять Шестак. Кто разберется? И когда? Что все это значит? Очень неопределенными были слова чекиста, но в этой своей неопределенности несли какой-то спасительный смысл. А вдруг и в самом деле не все потеряно? Что-то еще наладится. И Шестак, подавленный, но несколько обнадеженный, с затаенной обидой в душе отошел в сторону. Ближе к помкомеданту подошел Сурвила.

— Ты это, скажи, — тихо, чтобы не расслышали близко стоявшие, спросил он. — И меня?

— И тебя, — взглянул на него светлыми глазами Костилов. На мясистом лице Сурвилы промелькнуло искреннее удивление.

— С этими вот вместе?

— Ну, это, посмотрим, — не сразу ответил чекист и пустил струю дыма в набрякшее кровью лицо бывшего коллеги.

Эта недоговоренность Костилова и у Сурвилы отозвалась робкой желанной надеждой. Разумеется, он и помыслить не мог, что недавний коллега посмеет не исполнить приговор или даже не так его исполнит. Но все-таки он мог снизить и смягчить его исполнение, по возможности сделать какую-то скидку для своего человека-чекиста. Хотя бы и осужденного. Потому что его тяжкая вина не шла ни в какое сравнение с виной этих врагов народа, он и после расстрела останется верным солдатом армии Дзержинского. Хотя, конечно, и у него случались промахи, большей частью из-за недостатка опыта и образования. Как в случае с молодой студенткой, которую ему пришлось расстре-

ливать. К тому же тогда он был молод, а девчушка с виду оказалась очень уж славной — худенькая такая, гибкая, с огромными глазами на милом личике, взглянув на которое Сурвила не решился выстрелить. Он выстрелил мимо, возле уха. Она все равно свалилась в яму, наверно, с испугу потеряв сознание, да там и осталась, заваленная другими телами. Никто того не заметил и никогда не узнал о его прегрешении, но Сурвила все равно долго чувствовал себя виноватым, поняв, что не устоял против девичьей привлекательности, забыл, что перед ним разоблаченный, коварный враг. На всю жизнь запомнил он ту свою промашку и, может, именно потому всегда очень старался. Его усердие дало свой результат. Несколько позже, в следственном отделе добился за полугодие самого высокого показателя — 127 человек, подведенных под высшую меру. Его портрет до конца года висел на Красной доске управления.

А теперь вот его самого...

Не успели они передохнуть и отдышаться, как вдали на дороге из города появилась машина — опять огромная с крытым кузовом, переваливаясь на колдобинах, подъехала ближе и остановилась. Из нее выскочили трое стрелков в шинелях; с винтовками в руках бросились к группе осужденных.

— Отставить! — спокойно скомандовал Костиков. — Все в порядке.

Шоферы принялись переливать из жестянки бензин, а осужденных Костиков снова загнал в кузов, где их встретил недовольный, заспанный с виду Зайковский.

— Не дали и отдохнуть, шестерки...

— Выспишься, — сказал Сурвила. — В сырой земле.

— А хрен с ней! Чем такая жизнь, — выругался уголовник и беззаботно вытянулся поперек кузова своим длинным телом.

Они снова небыстро ехали по грязной, разбитой дороге, за ними, прерывисто урча, ползла вторая машина. Все чувствовали, однако, что их затянувшееся путешествие скоро кончится. Каждый старался не очень думать о самом ужасном в конце, и тем не менее думалось. Феликс Гром с самого суда пытался представить, как его будут расстреливать. Точной процедуры расстрела он, конечно, не знал, но помнил из кинофильма, как расстреливали парижских коммунаров. Ровная шеренга стрелков, штыки винтовок, направленные в сторону жертв у кирпичной стены. А те в белых сорочках, каждый с гордо выпяченной грудью. И залп. Легкий синий дымок от винтовочных стволов, проклятье тьеровским палачам. Красиво. Ну а где тут для них

шеренга стрелков? Три винтовки тех, из задней машины, да пистолет помкоманданта — наверно, жидковато для эффектного залпа? И кто крикнет проклятие? Уж он, Феликс, кричать не станет, пусть они пропадут все вместе — и палачи, и жертвы. Там, в тюрьме и на следствии, он сильно нарекал на Автуха за мужицкую глупость. Но, как выяснилось, были там типы и похлеще его земляка. Хотя бы тот же Шестак, с которым Феликс не один раз разговаривал в камере, что-то рассказывал о литературе. Да разве Шестак был там один? Хорошо, что с ними не сидел Сурвила, наверно, того содержали в особой камере. У чекистов и камеры особые, как и все остальное в жизни. Только он, поэт, вместе с простым народом, с его печалью без радостей. В который раз Феликс Гром горько пожалел, что увлекся литературой, учился, хотел стать поэтом. Лучше бы остался неграмотным. Его младший брат окончил всего четыре класса и работал в колхозе. Как-то обойдется без книг и стихов, зато будет жить.

Но ведь и дядька Автух не писал стихов и вряд ли когда-нибудь их читал. А теперь они будут, пожалуй, лежать в одной яме рядом. Вот и пойми, как в этой жизни лучше.

Мысли Автуха в это время были далеко от машины, разбитой дороги и даже от того неотвратимого, что их ждало вскоре в пригородном лесочке. Автух привычно думал о своем самом важном, что его занимало всегда — на воле, в тюрьме и даже по дороге к смерти. Жаль, бесполезные были это мысли, потому что относились к прошлому, к которому уже не вернуться, ничего не одолеть и не изменить. Под лесом возле речушки осталась полоска невыбранной картошки, как бы ее не залили осенние дожди, как тогда туда влезешь? Как жене управиться без лошади, с одной лопатой? Запоздает, прихватят морозцы, пропадет картошка. А что есть зимой? Хотя теперь едоков поубавилось, но поубавилось и работников. А главное, не стало хозяйна, которого не заменят и пятеро работников.

Машина круго наклонилась кузовом, потом задралась кабиной, тяжело перевалила через какой-то бугор и остановилась. Зайковский недовольно поднялся в полумраке возле стены и сел. По-видимому, почувствовал что-то новое и не ругался. Да и остальные недобро притихли, съежились — ждали. Двери пока не растворялись, их не выпускали. Там, снаружи, о чем-то глухо переговаривалась охрана, кто-то побежал куда-то. Судя по всему, готовились.

И вот наконец двери с грохотом и стуком широко растворились. Заметно наклонясь в одну сторону, машина стояла в молодом хвойном леске.

— Выходи! По одному!

Никто, однако, не тронулся с места, на минуту все, словно онемев, ждали неизвестно чего. Скоро, однако, в дверях появилось живое, улыбочливое лицо Костикова, который прежде всего грозно выругался.

— Что, особое приглашение надо? Ну, ты! — вперил он сокрушающий взгляд в первого, кого увидел в кузове, это был Автух. — Выходи!

Горькая обида охватила Автуха — почему он первый? Что он тут, самый главный враг? Наверно же, есть поглавнее?.. Но делать было нечего, помкоманданта ждал, и он неуклюже вывалился из машины.

Напротив в утреннем туманце тихо дремали молодые сосенки, между ними, полные внимания, застыли молодые красноармейцы. Немного в сторонке и ниже желтел свежий песчаный холмик. Все было ясно...

— Ну? Вперед!

С непонятым ожесточением Костиков толкнул Автуха в плечо, тот, зацепившись лаптем за мокрую траву, упал. Сердце его сильно стучало в груди, было очень обидно и неловко за свой неказистый, нищенский вид — особенно перед этими молодыми, аккуратными парнями в военном, которые с пристальным вниманием смотрели на него. Неловко поднявшись, он обессиленно потащился к яме, душа внезапно вспыхнувшую обиду.

— Ну, крестись, — негромко, совсем вроде дружески сказал Костиков.

Автух, боясь не успеть, торопливо перекрестился — по-православному, справа налево.

— На колени!

На краю ямы он послушно опустился на колени. Задетый лаптями рыхлый песок, шурша, посыпался в яму, и он испугался, что свалится туда прежде времени. В голове предательски закружилось, он прижмурил глаза и ждал. Хотя бы скорее...

— Это не страшно, — прежним, дружеским тоном сказал чекист. Кладнув затвором пистолета, дослал первый патрон. Только успел Автух глянуть в свежую глубину ямы, как сзади над головой грохнул громовой выстрел. Яма сама бросилась ему навстречу, тут же охватив своей пугающей бездной.

— Так! Один есть, — бодро сказал помкомendanта, поворачиваясь к машине. Его чекистская работа началась. Он делал ее сноровисто и добросовестно. Как и каждый день.

Снова в машине все замерли, словно затаились, ожидая, кого вызовут следующим. И он рассмотрел или, может, вспомнил Зайковского, который молчаливо жался к задней стенке машины.

— А ну ты, бандюга!

Чуть выждав, Зайковский поднялся и, решительно шагнув к дверям, спрыгнул с машины.

— Руки назад! Назад руки!!

— Куда назад? Вот сломана, не видишь?

— Я тебе сейчас и другую сломаю! — дернул его за рукав Костиков. Зайковский, однако, уклонился.

— Не трожь! Поручено — стреляй! Но без рук.

— Ах, ты, бандюга!

— Я не бандюга. Я больше политический, чем вы, вместе взятые.

— Вот как?

— Вот так!

— Ну, пошли! — спокойнее сказал Костиков, указывая пистолетом в сторону ямы. Бойцы, стоявшие поблизости, подняли штыки. Наверное, такое они слышали тут не каждый день.

— Ты это, вот что, — вдруг остановился Зайковский. Остановился и Костиков. — Будут расстреливать тебя самого, чтоб не в этой яме. Чтоб нам не вонял.

— Ах ты, говно!! — вскипел помощник коменданта и выстрелил Зайковскому в грудь — раз, второй, третий. Тот неуклюже повалился, не дойдя до ямы, на рассыпанный возле песок. Под его телом стала быстро расплываться темная кровавая лужа.

— Будет еще мне угрожать! Угрожать мне! — не мог успокоиться Костиков.

Видно, язвительный выпад расстрелянного задел чекиста, который недолго постоял с пистолетом, наблюдая, как содрогается в последних конвульсиях большое тело уголовника. Отброшенная в сторону здоровая рука его сгребла жмут мокрой травы, но выдернуть уже не смогла. Пальцы бессильно расслабились.

Спокойное вначале, вполне деловое настроение Костикова начало заметно портиться. Обычный процесс приведения в исполнение приговоров явно нарушился, и причиной тому — этот

московский бандит. Со своими, белорусскими врагами народа у Костикова не было больших проблем, белорусы всегда были послушны, перед ямой вели себя вполне лояльно и дисциплинированно. Тюрьма, долгие месяцы следствия, суд ломали их окончательно, и расстреливать таких одно удовольствие. Некоторые, правда (особенно из числа партийцев), перед смертью выкрикивали свои привычные лозунги — да здравствует Сталин или коммунизм, а то и мировая революция. Костиков к таким выкрикам относился спокойно — пусть здравствуют, кому это хочется, и загонял очередную пулю в очередной склоненный затылок. Уж он нагляделся этих затылков — черных и русских, гладких и курчавых, с сединой и совершенно голых. И не было случая, чтобы кто-либо оскорбил его, обругал, — что значит политически сознательный материал! И вот этот уголовный приبلуда...

— Выходи по два сразу! — заметно раздражаясь, скомандовал Костиков возле машины. — Ты, белогвардеец, и ты, сратый поэт! Живо!

Феликс Гром послушно соскочил с машины и застыл, дожидаясь напарника. Валерьянов ослабело и неуклюже выбирался из кузова — повернулся на живот, потянулся ногами к земле. Потом нервными движениями пальцев принялся застегивать пуговицы бобрикового пальто. А может, Дуся все-таки выживет, вдруг подумал он. Что-то все-таки должно значить ее пролетарское происхождение. Да и ребята... Хотя и без родителей — все-таки лучше, чем никак. Жизнь есть жизнь, какая бы она ни была...

Красноармейцы уже сволокли в яму успокоенное тело Зайковского. Рыхлый песчаный холмик был сильно растоптан их сапогами, узкий краешек возле ямы стал оттого удобнее. Валерьянов без напоминания опустился на колени, трижды перекрестился и замер. Он был готов принять свой ужасный, долгожданный конец. Хотел помолиться, но подумал, что не успеет. Феликс Гром растерянно устраивался рядом, что-то ему мешало. Только Валерьянов взглянул вниз, заметив, что тут неглубоко, как два подряд выстрела сзади свалили обоих в яму.

В машине остались последние — Шестак и Сурвила! Костиков звучно крикнул:

— Предатель, выходи!

В дверях кузова показалось бледное, в многодневной щетине лицо Шестака.

— Я, что ли?

— Ты, ты! Выходи...

— Я не предатель. Я уже объяснял. Это ошибка.

— Какая тебе ошибка! — выверился Костиков. — Все написано и подписано. Шагом марш!

Бледный, растерянный Шестак соскочил с машины и стал судорожно, нелепо зевать, широко раскрывая рот, обнажая гнилые, обломанные зубы.

— А ведь... А ведь... Меня нельзя стрелять! Я член партии.

Эти и похожие на них слова возле ямы Костикову уже приходилось слышать, особенно когда прибывала группа партийцев. На такой случай у него был заготовлен испытанный аргумент, всегда действовавший безотказно.

— Если ты член партии, — закричал он во все горло, — то какого же хрена оказываешь сопротивление органам?

— Я? Я не оказываю...

— Ну так марш! Марш к яме! Или помочь?

Пошатываясь, словно пьяный, Шестак побрел к яме. На растоптанном песке, однако, снова остановился:

— Неправильно вы...

— Все правильно! — сказал помкоманданта и выстрелил ему в затылок. Костлявое тело Шестака торчмя обрушилось в яму — к тем, которые туда свалились прежде.

Когда Костиков вернулся к машине, там уже ждал его готовый ко всему Сурвила. Обрюзгшее лицо осужденного обрело совершенно бурачный цвет — от переживаний, чрезмерного внутреннего напряжения.

— Что, и меня туда? — спросил он, напряженным взглядом остановившись на песчаном холмике.

— А куда же? Отдельной ямы у меня нету.

— Выкопай.

— Еще чего не хватало!

— Давай я сам.

— Копай! — подумав, согласился Костиков. — Все равно опоздали. Шофер, неси лопату!

Молодой шофер с передней машины принес лопату. Сурвила двумя руками взялся за черенок, огляделся вокруг.

— Где? Тут?

— Хотя бы и тут. Давай. Живо! — сказал Костиков, однако не пряча пистолета.

Сурвила начал копать — торопливо, неровно, широко разбрасывая в стороны рыхлый, с травой песок. Его мало заботила аккуратность, и вместо прямоугольника могилы получилась

почти круглая ямка. В сосняке было не холодно, утром моросивший дождь перестал. Сурвила скоро согрелся, обрюзгшее лицо его вспотело, стало еще больше багровым. На минуту перестав копать, стянул с плеч коричневую ободранную кожанку, бросил под ноги Костикову.

— На, возьми. Зачем пропадать.

Испачканным в грязи хромовым сапогом помкомеданта брезгливо отбросил кожанку из-под ног. Сурвила не стал упрашивать — не хочет, не надо. Ему также ничего не нужно. Кроме вот этой отдельной могилы. Тут ему будет сподручнее, чем в общей, среди разоблаченных органами врагов. И все-таки его не переставала расpirать обида, справиться с которой он не имел силы.

— И за что? Честного работника органов! Что я нарушил? Безвинного врага уничтожил? Да их тысячами убивать надо! Меня четырежды премировали за ударную работу. И все напрасно! Пожалели врагов, а не своего, преданного человека. И это правильно? Нет, в органы тоже пробрались враги, вот что! Они среди нас!

— Ну, хватит! — с надрывом выкрикнул Костиков. — Лучше молчи!

— Я молчал. Всю жизнь молчал. Как и ты, как и сотни чекистов. И вот мне за это...

— Молчи и копай!

— Нет уж, скажу! Вот и ты... Думаешь, уцелеешь? Службой откупишься? Нет! Придет и твоя очередь!

— Молчать!!

— Нет уж, скажу! Мы — пауки в одной банке. Узнает товарищ Сталин...

Пожалуй, это было слишком. Невдалеке с винтовками наготове стояли красноармейцы охраны, полный тревожного внимания, застыл возле машины молчаливый шофер. Все с удивлением уставились на знакомого чекиста, который копал себе могилу и говорил такое... Костиков вскинул пистолет и, не целясь, выстрелил дважды. Выронив лопату, Сурвила подломился в коленях и боком осел на раскопанную землю.

— Добей же, — вытиснул он из себя едва слышно.

В такой просьбе Костиков отказать не мог. Ступив на шаг ближе, он выстрелил Сурвиле в голову. На траву и песок брызнули серые крупички мозга.

— Возьмите и туда, к остальным, — приказал он красноармейцам.

Закинув за спины длинные винтовки, те взяли бывшего чекиста за руки, поволокли к яме. Костиков отошел в сторону от машин. В сосняке было тихо и спокойно. Небо вверху прояснялось, между вершинами сосен плыли и плыли куда-то кудлатые тучи.

Эта проклятая ночь вымотала у Костикова все силы. Заметно стала изменять его всегдашняя выдержка: как он ни старался держать себя безучастно и ровно, это ему плохо удавалось. Кажись, несложная работа, но каждый день одно и то же. Везут и везут, как баранов, когда же этому настанет конец? Вон сколько накопили ям за весну и лето. И будет накопано еще. Костиков окинул взглядом поляну между сосенок на склоне, — пожалуй, за осень заселят и ее. И очень просто где-нибудь окажется и его ямка...

В этой жизни все очень просто.

ПОЛИТРУК КОЛОМИЕЦ

Рассказ

К вечеру бой затих.

На изуродованную землю постепенно осела поднятая бомбежкой пыль, в чистой небесной выси зажглись первые звезды. Комполка Пахомов и политрук Коломиец выбрались из бомбовой воронки и, встав на ее краю, оглянулись на то, что осталось от занятого ими вчера железнодорожного разъезда. В общем, разъезда не было. Глинобитная казарма для рабочих и пакгауз рядом напоминали о себе лишь темными горбами на окраине такого же черного неба; поодаль вонюче дымились разбросанные взрывами штабеля шпал. От ряда стройных тополей возле дороги остались обгрызенные взрывами обломки с обвисшими прутьями сучьев. Хорошо, однако, что остались эти тополя, а то бы и не узнать, где находился разъезд, думал политрук. Час назад во время жестокой бомбежки невозможно было и предположить, что тут что-то уцелеет — от этого разъезда или полка, в спешке окопавшегося рядом в сухой окаменевшей земле.

К ночи донимавший людей дневной зной стал опадать, хотя горячий суховей из степи еще приносил мало прохлады, разгоряченное тело горело под пропотевшим обмундированием, очень донимала жажда. К несчастью, колодец возле казармы с утра был разворочен, засыпан взрывами, бойцы из саперного взвода как-то пытались добраться до воды, но пока без результата. Политрук Коломиец между тем долго и старательно стряхивал с себя пыль и землю, рядом, уронив голову, присел командир полка. Недостаток воды вызывал у него новую заботу, на время вытеснив из сознания все остальные. Вода была нужна бойцам, нужна для кухни; еще более нуждались в ней пулеметчики, три «максима» которых совершенно обезводились и не стреляли; в два последних собрали остатки воды из фляг. Сегодня полк выдержал шесть жесточайших бомбежек — сначала

трех «хейнкелей», потом девяти и пятнадцати, а потом уже никто и не считал их. Правда, людские потери были умеренными, все-таки бойцы успели кое-как окопаться с утра поодаль от железнодорожных путей в поле. К несчастью, убило последних двух лошадей, таскавших полковую кухню, и теперь ни воды, ни провианта привезти было не на чем. Наверно, действительно придется погибать на этом проклятом разъезде, думал командир полка. Отсюда уже не отступишь, как отступали от самого Воронежа. Вчера, только они успели занять этот разъезд, прискакал порученец комдива и вручил под расписку приказ Верховного номер 227 под девизом «Ни шагу назад!». Умри, но не отступи. Это касалось всех — от командарма до последнего бойца, что бы он ни оборонял — город, станицу или такой вот разбитый, почти сровненный с землей разъезд. Порученец сообщил также, что уже есть и результаты неисполнения приказа: в соседнем полку отдали под трибунал одного комбата и расстреляли на месте ПНШ по разведке. Было от чего опечалиться.

— Так что делать будем, комиссар? — нарочито бодро спрашивал в темноте приунывший командир полка.

— Будем стоять, — просто отвечал политрук Коломиец. — Что же остается...

— Другого не остается, — скупно соглашался комполка. Обсуждать приказ не полагалось, тем более приказ Верховного.

— А где та станица? Далеко? — с новой озабоченностью спросил политрук, припомнив другой приказ порученца — устный из штаба дивизии: ночью получить пополнение. Сколько было того пополнения, он не знал, но прежде всего полагалось провести с ним политработу, особенно теперь, когда прибыл такой важный приказ. Это уже была обязанность политрука, и Коломиец обеспокоился.

— У Артюха спросите. Который из санвзвода, — сказал комполка. — Он раненых водил, знает.

Коломиец пошел в темноту, тихо окликаая Артюха, и вскоре перед ним замаячила приземистая фигура в пилотке, со скаткой через плечо.

— Пойдем в станицу. Дорогу помните?

— Дорогу? Да вон напрямки, через степь, — глухо ответил боец, поправляя на плече винтовку.

Возле поваленного через дорогу тополя они свернули в степь. После долгого дневного грохота бомбежек приятно впечатляла почти мирная ночная тишина, деликатно нарушаемая лишь приглушенным стрекотом цикад. Запыленные сапоги от-

чаянно шуршали в столь же пропыленном сухом бурьяне. Боев поблизости не было слышно, лишь где-то на западе, над мрачным горизонтом время от времени вспыхивали дальние артиллерийские отсветы и едва доносилась артканонада. А так вокруг все притихло, затаилось. Надолго ли, озабоченно думал политрук. Разве что до утра...

— Откуда родом, Артюх? — спросил он бойца, который молча брел следом.

— Я? Да из курских.

— Курский соловей?

— Ну.

— Из города, из села?

— Да с колхоза, — вздохнул Артюх. — Колхозник.

Он сказал это так просто, будто все остальное само собой подразумевалось без слов и ни о чем не было нужды спрашивать. Политрук и не спрашивал. Родом он также был из села, хотя и не из курского — из смоленского, два года перед войной работал директором школы. Перед тем как партиец активно загонял крестьян в колхозы, раскулачивал, ссылая в Заполярье, подписывал на займы, взыскивал налоги. Занимался всем, чем тогда занимались партийцы-активисты в городе и в деревне, чем занималась страна. Колхозная жизнь ему была хорошо знакома, и ныне не возникало желания что-либо из нее обсуждать или вспоминать даже. Куда больше занимала их невеселая действительность на разъезде да этот устрашающий сталинский приказ. Знал, чувствовал, что завтра придется куда как горячо, а выхода не предвиделось. Выход на войне всегда находился в тылу, куда отступали, иногда давали драпа, бежали и тем спасались. А теперь вот за отступление без разрешения — трибунал. Опасность наваливалась на них с двух сторон: привычная — со стороны немцев и новая — с тыла от своих. Если уж такой приказ товарища Сталина, то пощады от начальства не будет — ни бойцам, ни командирам. Хорошо, если повезет с пополнением, дадут обстрелянных бойцов. А если новобранцев, запасников? А еще хуже — черноголовых из Средней Азии, которые — ни бельмеса по-русски. Вот тут и выполняй приказ Верховного.

Полынь жестко шуршала под кирзачами, политрук прибавил шаг, все-таки за короткую ночь надо было успеть туда и назад. Как бы не опоздать до рассвета. И ему показалось, что Артюх отстает, он оглянулся раз и другой, слегка замедлил шаг. А может, тот и вовсе хочет отстать? — подумал политрук. Такие молчуны способны на все, кто знает, что этот в себе носит. Мало

ли их, молчаливых и разговорчивых, исчезало за короткие ночи их отступления, и никто не заметил куда. Но известно куда — домой. «Быстрее нельзя?» — обернувшись, с упреком сказал политрук. Артюх невнятно пробурчал что-то в ответ, но не прибавил шага. Конечно, бойцу что — бойца за отступление под трибунал, может, и не отдадут, отдадут командиров, да его, политрука, тоже. Но больше, чем от командиров, исполнение того приказа все-таки зависело от бойцов: побегут в горький час или выстоят? Если побегут, не стерпев, тогда, считай, все пропало, — попробуй удержи их среди этой голой, прогорклой от полыни степи, невесело рассуждал политрук.

Все-таки они добрались в ночной темноте до окраины станицы и за полем подсолнечника в садике слышали тихое шепуршание множества людей. То и дело спрашивая ночных встречаемых, политрук отыскивал в кривококой мазанке командира этой маршевой роты — разбитного младшего лейтенанта, который сообщил, что имеет приказ всю роту передать в его стрелковый полк. Коломиец поинтересовался, что за народ в роте, и младший лейтенант охотно рассказал, что все из запасного полка, сформированного на Саратовщине, недавние запасники районных военкоматов. Молодых мало, больше людей среднего и пожилого возраста, в запасном поучились месяц-другой, получили винтовки и — на фронт. Благо — теперь недалеко, фронт приблизился к саратовским селам, так что...

Так что с этими вот дядьками, обсевшими садок и подворье и с затаенным вниманием покуривавшими свои самокрутки, и надо идти в полк, оборонять разъезд. Завтра он будет побеждать или умирать — воевать без права отойти хотя бы на сотню метров, как сказал вчера порученец комдива и как требует сталинский приказ. Хорошо, если немцы не пустят танки. Хотя и вечерашней бомбежки, наверно, хватит с избытком для этих необстрелянных деревенских дядек. Вчера под вечер, когда полтора десятка «хейнкелей» со включенными сиренами почти колесами утюжили разъезд, сам политрук боялся сойти с ума от нестерпимой пытки. А как им? Пожилым? Да впервые?

Он получил пятьдесят шесть человек, кое-как построил их — каждого с ладным «сидором» за спиной, с шинельной скаткой через плечо — и повел в степь. Немного отойдя от станичной околицы, остановил возле черной в ночи стены подсолнухов. До рассвета оставалось около полутора часов, разъезд был недалеко. Пожалуй, самый раз было провести политбеседу относительно приказа — разъяснить, воодушевить, призвать — без чего не

обходилась ни одна приемка пополнения на фронте. В этом на войне заключалась первейшая обязанность политработника, и Коломиец стремился исполнить ее добросовестно.

Другое дело, как все объяснить, какие употребить слова, чтобы успешнее дойти до солдатского сердца, особенно когда враг рядом, времени в обрез, а оружие... Докопались ли там до воды, с тревогой подумал политрук. А то завтра останутся без пулеметов, и тогда никакой приказ не поможет. Даже сталинский.

— Садись все, — сказал политрук. — И ближе ко мне, Слышали про новый приказ товарища Сталина?

— Слышали... Говорили, — глуховато отозвалось несколько голосов спереди. Бойцы старательно и не спеша усаживались в пересохшем степном бурьяне. Политрук несколько выждал, пока вокруг утих шорох, и начал беседу — притихшим голосом, по возможности сердечнее, чтобы лучше воздействовать на возбужденные души людей, внимательно ловивших каждое его слово. Все-таки они впервые прибыли на фронт, где уже завтра многим из них придется умереть.

— Товарищи, коварный враг уже в сердце нашей родины, и товарищ Сталин издал приказ: ни шагу назад! Мы должны этот приказ выполнить, назад пути для нас нет...

Он говорил, стараясь как можно проще и доходчивее, но что-то у него получалось не так, как хотелось. И он был недоволен своими словами, казавшимися не теми и не такими. А умолкнув, немного выждал, прежде чем начать снова, и тогда услышал хриловатый, какой-то очень далекий от его забот голос кого-то из задних в этой группе людей:

— А завтрак будет, товарищ политрук?

— Завтрак будет, будет завтрак, товарищи. У нас, знаете, вышла неуправка с водой, завалило колодец...

— Завалило, — произнес кто-то поблизости: с недоверием или, возможно, с сочувствием, — так и не понял политрук.

— Знаете, на фронте бои, все случается. Двух лошадей разорвало бомбой, так вот, знаете... Но мы, бойцы Красной армии, исполняя присягу, должны стойко переносить все тяготы и лишения и победить. Мы и победим! Мы выстоим, товарищи, и выполним приказ товарища Сталина, скрутим рога Гитлеру и добьемся счастливой жизни. Хорошая жизнь настанет, — почти вдохновенно произнес он. Но его слушатели почти не отреагировали на них и угрюмо молчали, словно были не здесь, а где-то совсем в другом месте. И он почувствовал это.

— Знаете, и колхозов не будет. Распустят колхозы, чтобы жили, как прежде. Как жили при Ленине, — вдруг неожиданно для себя окончил политрук, внутренне содрогнувшись от собственной нежданной решимости. Люди как-то странно и вовсе притихли в темени, никто не кашлянул, даже не шевельнулся в бурьяне, и это его взбодрило.

— Не будет колхозов, я вам говорю, будет иная жизнь, только бы нам выстоять нынче, как требует товарищ Сталин. Ни шагу назад!

Призвав, как и следовало в конце выступления, политрук почувствовал, что сказал все. Выложил все свои пропагандистские козыри. Несколько, правда, фальшивые козыри, сам понимал это, но и самые эффективные. Других козырей у него не было. И он сам готов был поверить в сказанное. Наверно, должно быть так. Потому как же иначе? Остальное уже зависело не от него — зависело от противника, фронтовых обстоятельств, этих вот измотанных саратовских мужиков, недавно еще, перед войной, переживших такое, чего не дай бог никому. В госпитале один командир потихоньку рассказывал, как в тридцатые на Саратовщине вымирали колхозные села. Случалось, люди питались человечинной, такой лютовал голод. Имея это в памяти, вряд ли возможно выстоять и выполнить приказ. Даже самого Господа Бога.

Час спустя политрук Коломиец привел маршевую роту на разбомбленный разъезд, в предутренней темени остановил возле воронки командира полка. Посвежевший к утру ветерок тихо шумел остатками листвы на ободранных тополях, удушливым нефтяным дымом воняли недогоревшие шпалы. Воды все не было, еще не докопались. Из земных недр сочилась липкая грязь, которую бойцы осторожно сцеживали в круглые котелки. Заливать в походную кухню было нечего. Завтрак задерживался. Многие из бойцов в то утро так и не успели позавтракать, другие не позавтракают уже никогда. Как только из-за покрасневшего горизонта выкатилось жгучее с утра солнце, снова налетели «хейнкели». Минут двадцать они долбили бомбами и без того разбитый разъезд, затем — пути по обе его стороны. Возле обгоревших остатков штабелей разбили походную кухню. Только самолеты улетели на запад, как из степи появилась пехота в бронетранспортерах. Транспортеры остановились поодаль, в просяном поле, а пехота неровною цепью двинулась к дымящим руинам разъезда. И тогда с флангов ударили заправленные грязью «максимы», за ними стали дружно бахать винтовки — саратов-

цы, едва успев окопаться в неглубоких окопчиках-норках, не прекращая, били и били по просу. И, о чудо! Сначала по одному, а потом и дружнее немцы начали пятиться к своим транспортерам, которые уже включили задний ход. «Главное — выстоять! Главное — выстоять!» — мысленно повторял оглушенный бомбежкой политрук Коломиец. Вместе с командиром полка он весь бой просидел все в той же огромной воронке. На ее дне, до пояса засыпанный землей, горбился над своим аппаратом боец-телефонист. Связи, кажется, не было. Политрук и комполка чувствовали это, хотя ни о чем не спрашивали, сообразив, что так, может, и лучше. В таком неопределенном положении им сподручнее без связи — ее отсутствие избавляло их от трудных докладов, гнева и ругани.

А потом были и еще две суматошные атаки. Немцы разбили на правом фланге «максим» и зацепились за дымный от догорающих шпал конец разъезда за стрелками. Тогда тот самый Артюх с группой своих и саратовцев подобрался под огнем к стрелкам и гранатами выбил немцев с разъезда.

К вечеру как-то все помалу затихло, немцы из проса убрались. Севернее в небе вертелась самолетная карусель — «хейнкели» бомбили соседнюю станцию. Комполка с запыленным, обросшим светлой щетиной лицом обернулся к политруку с почти детской радостью в темных глазах.

— Выстояли, ага?

— Ну, — коротко отозвался политрук, почему-то, однако, не разделяя его простодушной радости.

— А ты сомневался. И это... Напрасно ты — о колхозах...

— Может, и напрасно, — ответил политрук и выбрался из воронки. С той самой минуты, как из просяной нивы исчезли немцы и умолкла беспорядочная стрельба на разъезде, в душе у него зашевелилось сомнение. Вчера он был почти уверен, что не переживет этого дня (да еще с таким строгим приказом), и заботился лишь о том, как выстоять. Не дать бойцам побежать, оставить разъезд. И вот не побежали и не оставили. Неожиданно для себя и он уцелел, даже не ранен. И цел-невредим командир полка. Но все же...

Действительно, зачем ему было говорить о колхозах? Уже в глухой темноте на разъезд прискакал конный посыльный из штаба дивизии и передал устный приказ генерала отойти к станции. Памятуя другой приказ, комполка ему не поверил — потребовал письменное приказание. Тем временем, пока посланец ездил по степи, из штаба протянули провод, и комполка услы-

шал знакомый голос комдива. Генерал действительно приказал занять новый рубеж. Получилось так, что, хотя полк и выстоял, не выстояли соседи, и немцы охватывали дивизию в клещи. Надо было спешить, потому что и без того они потеряли время на выяснение сути приказа и его правомочности. Бойцы торопливо забросали землей шестерых убитых, взяли на руки два десятка раненых. В непроглядном мраке летней ночи колонна двинулась через степь к станице. Саратовцы уже перемешались со старыми стрелками и молча тащились все вместе, жуя на ходу сухари. Впереди колонны шел комполка и рядом — грустный, опечаленный политрук.

Он правильно предугадывал свою судьбу, радоваться было нечему. Как только полк вошел в станицу, возле садка, где вчера собиралось пополнение, их остановила группа командиров. Начальник штаба дивизии и еще какие-то чины. Комполка коротко доложил о дневном бое, и начштаба похвалил полк. Но один или два командира из его штабной группы подошли ближе к притихшей колонне, и тот, что был впереди — кряжистый мужчина в форменной фуражке, — задержался возле политрука.

— Коломиец? — негромко спросил он, взглядываясь в лицо политрука.

— Я.

— Пройдемте со мной.

Коломиец все понял: это был начальник особого отдела дивизии. Он отделил политрука от полковой колонны и повел куда-то во двор скособоченной мазанки, стена которой тускло белела за цветником.

Больше политрука Коломийца в полку не видели.

ПОЛКОВОДЕЦ

Рассказ

Как известно, плохая новость не ходит одна, за ней бежит следующая. Эта следующая настигла Полководца по дороге в хозяйство Мельникова, у которого не заладилось с самого начала: полки не смогли оторваться от днепровского берега. Соседи здорово вырвались вперед, на правом фланге взяли город, за который вчера Полководца поздравил главнокомандующий. Но стоило Полководцу выехать из села, как с КП по рации передали: на правом фланге неустойка — немцы контратаковали крупными силами, отбросили пехоту за речку. Полководец развернул карту и приказал поворачивать на рокадную дорогу — ехать на правый фланг. Услышав новый приказ, два его адъютанта, молодые подтянутые полковники, передали сигналами приказ остальным машинам — бронетранспортеру с охраной и крытой бортовой с трибуналом, которые по обыкновению сопровождали Полководца в поездках. Вся небольшая колонна начала торопливо разворачиваться на разбитом, тесном и грязном проселке. В «виллисе» все молчали. Молчал, сжав квадратные челюсти, Полководец, уважительно молчали адъютанты, наверно, уже предчувствуя, что их ожидает. Не исключено, что Полководец с ходу вскочит в самое пекло и железной рукой... В силе его железной руки они уже имели возможность убедиться...

Покачиваясь на выбоинах, слегка разгоняясь на ровных местах и выскакивая на невысокие, заросшие мелкоколесьем пригорки, «виллис», транспортер и бортовая катились навстречу недалекой разрозненной канонаде, которую уже не могло заглушить натужное завывание их моторов. Скоро стало слышать, что бой гремел рядом, за леском, где, как свидетельствовала карта в руках Полководца, по широкой заболоченной пойме протекала небольшая речушка. Кто мог предположить, что немецкие тан-

ки именно тут и ударят, думал Полководец. Не хватало им ровняди, что ли? Или уже научились у нас нашей азиатской смекалке? Так или иначе, но факт оставался фактом — ударили именно тут, в этом мало пригодном для того месте. И, как на беду, фронт на этом участке оказался ослабленным: вчера бригаду Черемисина перебросили в центр, на усиление передового отряда, тут же оставался один противотанковый полк и тот, помнится, располагался немного севернее. Пехоте без подкрепления, конечно, пришлось не сладко, вот она и не выдержала. Но обязана была выдержать, на то она и пехота, чтобы всегда выдерживать. Таково ее предназначение во всякой войне и во всякой армии, думал Полководец.

«Виллис» выскочил на песчаный пригорок, поросший редким молодым сосняком, и сразу резко метнулся в сторону, ведущими мостами с хрустом ломая низкие сосенки. Полководец от неожиданности выругался хорошим солдатским матом, едва успев ухватиться рукой в перчатке за металлическую скобу перед собой. Но тут же понял, что ругался напрасно, все правильно. По сосняку уже стегали пулеметные очереди, надо было мотать назад или выскакивать и ложиться наземь. Полководец и выскочил. Немного выждал, а потом, пригибаясь, перебежал выше и упал на сухие вересковые поросли. Перед ним впереди разворачивалась широкая панорама приречной поймы и на ней — позорное зрелище беспорядочного драпа.

Сколько раз за войну приходилось Полководцу наблюдать этот драп, но привыкнуть к нему Полководец не мог и обычно без колебания пользовался испытанным средством. На ошеломленных, обуянных страхом людей следовало воздействовать еще большим страхом изо всех, которые могла предложить война. Рассыпавшаяся по всей ширине поймы пехота бежала к речке, карабкалась на ее берега; некоторые из беглецов уже были на этой стороне и приближались к пригорку. На речном берегу в лозняке дымно полыхал скособоченный «студебекер», возле заполошно суетились люди. Другая машина, однако, выбралась из болота и с пушкой на прицепе медленно ползла к пригорку. На ее подножке стоял человек в гимнастерке, без шинели, с обвязанной бинтами головой. «Не командир ли противотанковой батареи?» — подумал Полководец, глядя, как тот что-то кричит или командует, наверно, указывая шоферу маршрут. Сзади из-за речки в различных направлениях неслись трассирующие очереди, на рикошетах огненными пчелами разлетаясь в стороны.

Полководец, не оглянувшись, через плечо приказал охране: «Задержать!», и несколько бойцов со старшим сержантом бросились через сосняк с пригорка.

Пока они сорванными голосами останавливали пехоту, Полководец впился взглядом в пойму и дальше — по ту сторону речки, где из леса выползали светло-желтые танки. Полководец уже встречался с ними и знал, что это он решительными действиями своих войск вынудил немецкое командование перебросить их из ливийской пустыни, ради которой они и были окрашены в соответствующий пустыне колер. Но тут не пустыня, тут чаще болота. Теперь они то и дело били из орудий по берегам речки и по беглецам на этой ее стороне. От взрывов танковых снарядов содрогался пригорок.

Рядом и особенно сзади за Полководцем с настороженными лицами лежали человек десять охраны, немного ниже прибежал и вытянулся под сосенкой председатель военного трибунала — франтоватый майор, по всей форме перепоясанный португезами и ремнями, в форменной фуражке на голове. За ним уже расстегивал толстую сумку его секретарь, молодой человек в плащ-накидке. Тот не сводил опасливого взгляда с Полководца, будто от него в этом соснячке исходила наибольшая угроза. Секретарь долго расстегивал сумку, пальцы его дрожали, и сумка почему-то все не расстегивалась. Они выжидали. Не первый раз они выезжали с Полководцем в войска и слишком хорошо знали свое дело. Тем более, что это была их профессия, которую они исполняли, рискуя собственной жизнью. Близкие два разрыва в сосняке вынудили их ткнуться лицами вниз. Никак не отреагировав на разрывы, Полководец продолжал наблюдать за тем, что происходило на пойме.

Кажется, бойцы охраны все-таки задержали передних, самых удачливых беглецов и вскоре вывели из зарослей двух перепуганных пехотинцев с длинными трехлинейками и примкнутыми к ним штыками. Чудом вырвавшись из-под огня, спасшись от немецких танков, те, судя по всему, мало понимали, что здесь происходит, зачем они понадобились этому командиру с суровым, озлобленным взглядом. «Почему бежали? — строго бросил им Полководец, вперив вопрошающий взгляд куда-то под ноги обоим — высокого и низкого, почти мизерного солдатика в облепленных грязью обмотках. — Почему бежали?» Еще не отойдя от ошалелого бега, пехотинцы молчали. Немного выждав, Полководец махнул рукой — не так им, как кому-то из охраны: «Сдать оружие!»

Наверно, это был определенный сигнал, двое в бушлатах из охраны вырвали у бойцов винтовки и злобно толкнули обоих. Меньшой сразу упал, что-то запричитав непонятное, а высокий стал бессмысленно в испуге проговаривать: «Что, что?..» С этим его «что?» их и затолкали в сосняк, подальше от глаз Полководца, откуда они уже не вышли.

Тем временем старший сержант из охраны привел к Полководцу и офицера со «студебекера». Раненный, с небрежно перевязанной головой, спасая орудие, он на свою беду перебрался через речку, как ему, по-видимому, казалось, на спасительный пригорочек. Это был старший лейтенант с орденом Отечественной войны на груди и ремнем со сбившейся набок пряжкой, возле которой болталась, видно, пустая уже кобура. Увидев Полководца, он попытался отрапортовать:

— Товарищ командующий-Полководец перебил его тоном, лишившим голоса не только комбатов:

— Где батарея?

— Батарея погибла, товарищ ко...

— Ах, погибла! — прорычал Полководец. — А почему ты, говнюк, не погиб?

— Так я...

— Документы!

Грязными перепачканными в болоте руками старший лейтенант расстегнул пуговку гимнастерки и вынул из кармашка несколько книжечек — офицерское удостоверение, партбилет, вещевую книжку. Их туг же выхватил у него старший сержант, передал трибуналам.

— Расстрелять! — холодно приказал Полководец.

— Товарищ командующий! — хрипло выкрикнул офицер и осекся:

Полководец уже озирает пойму.

Старший сержант вскинул к груди новенький вороненый автомат системы ППС, эти автоматы только что поступили на фронт и ими вчера в первую очередь вооружили охрану Полководца. Старший сержант отвел комбата в соснячок, где вскоре щелкнул негромкий одиночный выстрел.

Между тем председатель трибунала и секретарь лихорадочно оформляли документы. Шапка бланка судебного разбирательства была у них предусмотрительно заготовлена загодя, оставалось вписать конкретные фамилии и что-то согласовать между собой. Лежа, майор ближе наклонился к секретарю, который зачитывал: «Военный трибунал воинской части такой-то, рассмотрев в

открытом заседании дело номер такой-то по обвинению...» — Как его там?

— Старшего лейтенанта Безуглого, — подсказал майор, развернув удостоверение. — А также рядовых Андреева и Тевелька...

— Андреева и Тевелька, — заполняя бланк, повторял секретарь. — И приговорил указанных к...

— Высшей мере социалистического наказания, — подсказал майор.

— Приговор?.. — вопросительно произнес секретарь.

— Приведен в исполнение, — тревожно оглянувшись, подсказал майор. Судя по всему, он начал торопиться: дело их на этом месте, пожалуй, заканчивалось. Тем более, что немецкие танки, кажется, уже подошли к речке — что-то стало сильно дрожать внизу у основания пригорка. В то время и действительно оглушающе громыхнуло поблизости, — на вереск и сосенки сыпануло песком и пылью, густо обсыпав фуражку и плечи Полководца, бумаги трибунальцев, которые секретарь не успел прикрыть руками. Энергичным движением Полководец стряхнул с себя песок и поднялся на ноги.

— Ну, вы готовы там?

— Так точно! — вскочил и майор.

— Всем к машинам! — бросил Полководец, торопливым шагом сходя с пригорка к своему «виллису». За ним повскакивали и бойцы охраны, все дружно сыпанули из сосняка к дороге.

На том месте, где они только что располагались, остался измятый, обсыпанный свежим песком вереск да две брошенные, с примкнутыми штыками винтовки. Издали сквозь ветви молодых сосенок виднелось что-то белое — может, бинт на окровавленной голове несчастного комбата. С поймы доносилась густая стрельба, наверно, там ладилась какая-никакая оборона.

Командующий навел порядок — немецкие танки тут не прошли.

«КАТЮША»

Рассказ

Обстрел длился всю ночь — то ослабевая, вроде даже прекращаясь на несколько минут, то вдруг разгораясь с новой силой. Били преимущественно минометы. Их мины с пронзительным визгом разрезали воздух в самом зените неба, визжание набирало предельную силу и обрывалось резким оглушительным взрывом вдали. Били большей частью в тыл, по ближнему селу, именно туда в небе устремлялся визг мин, и там то и дело вспыхивали отблески разрывов. Тут же, на травянистом пригорке, где с вечера окопались автоматчики, было немного тише. Но это, наверно, потому, думал помкомвзвода Матюхин, что автоматчики заняли этот бугор, считай, в сумерки и немцы их тут еще не обнаружили. Однако обнаружат, глаза у них зоркие, оптика тоже. До полуночи Матюхин ходил от одного автоматчика к другому — заставлял окапываться. Автоматчики, однако, не очень налегали на лопатки — набегались за день и теперь, наставив воротники шинелей, готовились кемарнуть. Но, кажется, уже отбегались. Наступление вроде выдыхалось, за вчерашний день взяли только до основания разбитое, сожженное село и на этом бугре засели. Начальство тоже перестало подгонять: в ночь к ним никто не наведался — ни из штаба, ни из политотдела, — за неделю наступления также, наверно, все вымотались. Но главное — умолкла артиллерия: или куда-нибудь перебросили, или кончились боеприпасы. Вечера постреляли недолго полковые минометы и смолкли. В осеннем поле и затянутом плотными облаками небе лишь визжали на все голоса, с треском ахая, немецкие мины, издали, от леска, стреляли их пулеметы. С участка соседнего батальона им иногда отвечали наши «максимы». Автоматчики больше молчали. Во-первых, было далекоовато, а во-вторых, берегли патроны, которых также осталось не бог знает сколько. У самых горячих — по одному диску на автомат.

Помкомвзвода рассчитывал, что подвезут ночью, но не подвезли, наверно, отстали, заблудились или перепились тылы, так что теперь вся надежда на самих себя. И что будет завтра — одному Богу известно. Вдруг попрет немец — что тогда делать? По-суворовски отбиваться штыком да прикладом? Но где тот штык у автоматчиков, да и приклад чересчур короткий.

Превозмогая осеннюю стужу, под утро кемарнул в своей ямке-окопчике и помкомвзвода Матюхин. Не хотел, но вот не удержался. После того как лейтенанта Климовского отвезли в тыл, он командовал взводом. Лейтенанту здорово не повезло в последнем бою: осколок немецкой мины здорово-таки кромснул его поперек живота; выпали кишки, неизвестно, спасут ли лейтенанта в госпитале. Прошлым летом Матюхин тоже был ранен в живот, но не осколком — пулей. Также натерпелся боли и страха, но кое-как увернулся от кошаковой. В общем, тогда ему повезло, потому что ранило рядом с дорогой, по которой шли пустые машины, его ввалили в кузов, и спустя час он уже был в санбате. А если вот так, с выпавшими кишками, тащить через поле, то и дело падая под разрывами... Бедняга лейтенант не прожил еще и двадцати лет.

Именно потому Матюхину так беспокожно, все надо досмотреть самому, командовать взводом и бегать по вызовам к начальству, докладывать и оправдываться, выслушивать его похабную матерщину. И тем не менее усталость пересилила беспокойство и все заботы, старший сержант задремал под визг и разрывы мин. Хорошо, что рядом успел окопаться молодой энергичный автоматчик Козыра, которому помкомвзвода приказал наблюдать и слушать, спать — ни в каком случае, иначе — беда. Немцы тоже шустрят не только днем, но и ночью. За два года войны Матюхин насмотрелся всякого.

Незаметно уснув, Матюхин увидел себя как будто дома, словно он задремал на завалинке от какой-то странной усталости и соседская свинья своим холодным рылом тычет в его плечо — не намеревается ли ухватить зубами? От неприятного ощущения помкомвзвода проснулся и сразу почувствовал, что за плечо его в самом деле кто-то сильно трясет, наверно, будит.

— Что такое?

— Гляньте, товарищ помкомвзвода!

В сером рассветном небе над окопчиком склонился узкоплечий силуэт Козыры. Автоматчик поглядывал, однако, не в сторону немцев, а в тыл, явно чем-то там заинтересованный. Привычно стряхнув с себя утренний сонный озноб, Матюхин

привстал на коленях. На пригорке рядом темнел громоздкий силуэт автомобиля с косо наставленным верхом, возле которого молча суетились люди.

— «Катюша»?

Матюхин все понял и молча про себя выругался: это готовилась к залпу «катюша». И откуда ее принесло сюда? К его автоматчикам?

— От теперь зададут немчуре! От зададут! — по-детски радовался Козыра.

Другие бойцы из ближних ямок-окопчиков, также, видать, заинтересованные неожиданным соседством, повылезали на поверхность. Все с интересом наблюдали, как возле автомобиля суетились артиллеристы, похоже, настраивая свой знаменитый залп. «Черт бы их взял, с их залпом!» — нервничал помкомвзвода, уже хорошо знавший цену этих залпов. Польза кто знает какая, за полем в лесу много не увидишь, а тревоги, гляди, наделяют... Между тем над полем и лесом, что темнел впереди, стало помалу светать. Прояснилось хмарное небо вверху, дул свежаватый осенний ветер, по всей видимости, пойдет дождь. Помкомвзвода знал, что, если поработают «катюши», обязательно полет дождь. Наконец там, возле машины, суета как будто притихла, все словно замерли; несколько человек отбежало подальше, за машину, донеслись глуховатые слова артиллерийской команды. И вдруг в воздухе над головой резко взвизгнуло, загудело, хряпнуло, огненные хвосты с треском ударили за машиной в землю, через головы автоматчиков пыркнули и исчезли вдали ракеты. Клубы пыли и дыма, закрутившись в тугом белом вихре, окутали «катюшу», часть ближних окопчиков и стали расползаться по склону пригорка. Еще не притихнул гул в ушах, как там уже закомандовали — на этот раз звучно, не таясь, со злой военной решимостью. К машине кинулись люди, звякнул металл, некоторые вскочили на подножки, и сквозь остаток еще не осевшей пыли «катюша» поползла с пригорка вниз, в сторону села. В то же время впереди за полем и леском угрожающе грохнуло — череда раскатистого протяжного эха с минуту сотрясала пространство. В небо над лесом медленно поднимались клубы черного дыма.

— Во дает, во дает немчуре проклятой! — сиял молодым курносым лицом автоматчик Козыра. Другие так же, повылазив на поверхность или привстав в окопчиках, с восхищением наблюдали невиданное зрелище за полем. Один лишь помкомвзвода Матюхин, словно окаменев, стоял на коленях в неглубоком

окопчике и, как только рокот за полем оборвался, закричал во всю силу:

— В укрытие! В укрытие, вашу мать! Козыра, ты что... — Он даже вскочил на ноги, чтобы выбраться из окопчика, но не успел. Слышно было, как где-то за лесом шелкнул одиночный взрыв или выстрел, и в небе разногласо взвыло, затрещало... Почуввав опасность, автоматчики, будто горох со стола, сыпанули в свои окопчики. В небе взвыло, затряслось, загрохотало. Первый залп немецких шестиствольных минометов лег с перелетом, ближе к селу, другой — ближе к пригорку. А потом все вокруг перемешалось в сплошной пыльной мешанине разрывов. Одни из мин рвались ближе, другие дальше, впереди, сзади и между окопчиков. Весь пригорок превратился в огненно-дымный вулкан, который старательно толкли, копали, перелопачивали немецкие мины. Оглушенный, засыпанный землей, Матюхин корчился в своем окопчике, со страхом ожидая... Когда же, когда? А это когда все не наступало, взрывы долбали, сотрясали землю, которая, казалось, вот-вот расколется на всю глубину, разрушаясь сама и увлекая за собой все остальное.

Но вот как-то все постепенно затихло...

Матюхин с опаской выглянул — прежде вперед, в поле — не идут ли? Нет, оттуда, кажется, еще не шли. Затем он посмотрел в сторону, на недавнюю цепочку своего взвода автоматчиков, и не увидел его. Весь пригорок зиял ямами-воронками между нагромождением глинистых глыб, комьев земли; песок и земля засыпали вокруг траву, будто ее никогда и не было здесь. Невдалеке распласталось длинное тело Козыры, который, судя по всему, не успел добежать до спасительного окопчика. Голова и верхняя часть его туловища были засыпаны землей, ноги также, лишь на каблуках не истоптанных еще ботинок блестели отполированные металлические косячки...

— Ну вот, помогла, называется, — сказал Матюхин и не услышал своего голоса. Из правого уха по грязной щеке стекала струйка крови.

ЗЕНИТЧИЦА

Рассказ

Ночной путь по полям и перелескам без остатка вымотал их силы, под утро оба они едва не падали с усталости, особенно Нина. Девушка уже не разбирала, где шла, — лишь бы не потерять, не отстать от своего спутника комбата Колесника, который то шевелился впереди во мраке, то совсем исчезал — пригибался, что ли? Она также останавливалась, пригибалась, стараясь на крайке светловатого неба заметить его силуэт и направиться следом. Темная безмесячная ночь с рассыпанной пылью Млечного Пути в небе вообще-то скрывала их от немцев, но тут, в прифронтной полосе, легко было наткнуться на часового, огневую позицию, на бодрствующих немцев возле кухни или какого-либо полевого укрытия. Хорошо еще, что в стороне за лесом то и дело ухали неблизкие орудийные выстрелы, светловатые вспышки от которых на миг обдавали полевое пространство, перерываемое траншеями, истоптанное колесами тягачей, танковыми гусеницами, и тем давали возможность кое-что увидеть поблизости.

Под утро они набрели на голый полевой пригорок, изуродованный множеством глубоких воронок — следами недавней бомбежки. Нина заметила, как в одну из них впереди, тихо ругнувшись от неожиданности, провалился Колесник, следом ухнула в воронку сама. Выбравшись из ее пыльной, вонючей глубины, наткнулась на комбата, в нерешительности стоявшего на краю следующей. Впереди наискось по небу промчались огненные пунктиры трасс, и тотчас донесся рыкающе-скрипучий звук — это выпустил очередь немецкий «МГ». Издали ему ответил характерный перестук нашего «максима», очереди которого оказались без трассиров, и их не видно было в ночи.

— Поняла? — шепотом спросил Колесник, когда она подошла ближе. — Кажись, добрели.

Он не сказал ничего больше, но и без того она все поняла сразу. Если добрели, значит — до передовой, до своих, значит, там фронт, там свои; теперь только бы перейти этот самый опасный рубеж, и они спасены.

Только вот как перейти?

Прежде всего следовало, наверно, очень спешить, чтобы успеть до рассвета. Но как было торопиться, если впереди кроме близких своих еще ближе где-то затаились немцы? Только где? Чтобы увидеть, надо, чтоб рассвело, но ведь тогда и немцы могут обнаружить их. И комбат Колесник застыл на краю воронки — вглядывался и вслушивался в тревожно затаенную ночную тишину. Нина опустила на землю рядом.

— Надо левее брать, — наконец сообразил комбат.

Может, и левее, подумала девушка. Как всегда в этой страшной дороге, она надеялась на него, как надеялась прежде в зенитной батарее, где обслуживала прожекторный расчет. Комбат у них был царь и бог, он распоряжался всеми — рядовыми и сержантами, а также двумя лейтенантами — командирами огневых взводов. К тому же в батарее он был старше всех чином, а также возрастом, руководил стрельбой во время бомбежек, получал команды от начальства. Разумеется, все девушки-прожектористки были влюблены в него, хотя рослый, видный из себя комбат будто бы и не выделял никого своей особой симпатией. Но Нина Башмакова все же чувствовала особенность его отношения к ней и — ждала. Ждала, даже когда самая симпатичная из них, Света Горепашкина, открыто призналась, что влюблена в комбата и он знает о том. Нина надеялась, и ее надежды в конце концов сбылись. Однажды, когда она дежурила ночью, он пришел, вроде для проверки поста, присел с ней на бровке и поцеловал ее. Она тогда как будто помешалась от счастья, когда только было возможно любовалась им вблизи и издали, следила за каждым его движением на батарее. А потом пришло время встреч — тайком, в темени ночи. Но, по-видимому, негодным Богу оказалось их короткое фронтовое счастье. За шесть дней окружения батарея была разгромлена, не осталось ни прожектора, ни орудий. Сержант Горепашкина в последнем бою осталась распластанной на бруствере с осколком в груди и окровавленным затылком, погибли оба их командира взводов. От всех зенитчиков вчера осталось пятеро, а потом, когда они перебрались под огнем через шоссе, оказались вдвоем — она и комбат. Где остальные, наверно, уже не узнать. Да и что горевать о батарее,

когда за неделю до того погибла вся армия, которую немцы охватили в танковые клещи и уничтожили по частям.

Стрельба в отдалении то усиливалась, то затихала. Пулеметы сыпали в ночь пунктирами очередей, в небе вспыхивали отблески далеких артиллерийских выстрелов. За лесом то и дело беззвучно взмывали ракеты, отражая чернотой зубчатые вершины деревьев. Но ракеты были далеко, их отсветы недолго скользили по настороженным лицам двоих, и все пропадало в темени. С разбитого бомбами пригорка они спустились в какую-то травянистую ложбину-овражек и по ней стали круто забирать в сторону. В общем, тут было безопаснее, чем в поле, отсветы разрывов и ракет сюда не проникали. Но вскоре их путь перегородили густые заросли кустарника, которые они сперва попытались обойти стороной, но лишь влезли в самую гущу на склоне.

Стало и совсем темно, ветки цеплялись за одежду и безбожно шуршали, они склонялись как можно ниже, но это мало помогало в темноте. Нина особенно боялась отстать, потеряться. Хорошо, что Колесник пробирался осторожно, и она старалась держаться поблизости.

Наконец они выбрались из кустарника. Здесь оказалось свободнее, овраг полого раздался в ширину, но, к их несчастью, начался рассвет. Бой вдаль за пригорком вроде стал ослабевать или отдаляться — в общем, не понять было. Недалеко пройдя по оврагу, они наткнулись на что-то широко разрытое сбоку, какой-то окоп, что ли. Повсюду в траве под ногами белели разбросанные ошметки бумаг, старые бинты. Рядом валялись два черных ящика автомобильных аккумуляторов. По всей видимости, это был брошенный капонир от какой-то обозной или санитарной автомашины, которая перебралась в другое место. Колесник осторожно вошел в земляное укрытие, поддев носком сапога, отбросил в сторону старый промасленный комбинезон и выглянул наружу. Овражек, плавно понижаясь, тянулся дальше, переходя в недалекий полевой простор, где что-то мелькнуло раз и другой. Похоже, это были трассы от пуль, и комбат замер.

— Стоп! Не вылазь! — негромко скомандовал он Нине, когда та добралась до капонира. — Присядь!

Она приткнулась на корточках под земляной стеной, а он, слегка пригнувшись, взгляделся в продолжение оврага. Наверно, там кто-то находился, мелькнули тускло-светловатые утром трассы выстрелов. Но чьи они, определить было невозможно.

— Что? Что там? Немцы? — встревоженно спрашивала Нина.

— Может, и немцы, — сдержанно ответил он.

Может, немцы, а может, и свои, к которым они пробирались пятеро суток и до которых, кажется, остались последние сотни метров. Последние и, пожалуй, самые опасные. Стоит только поспешить — и ляжешь, прошитый очередью с той или другой стороны. Комбат Колесник выходил уже из третьего окружения и кое-что в том понимал. Из первого выбирались большой группой под минометным и пулеметным огнем, лезли напролом, лишь бы как, надеясь на авось, на то, что повезет. Многие погибли там, на хвойной опушке, и особенно после, на травянистой пойме возле реки. Некоторым повезло, в том числе и Колеснику. Не зацепило ни пулей, ни осколком... Зато месяц потом просидел на фильтрации — писал объяснения, отвечал на допросах в особом отделе, заполнял анкеты. Как-то, правда, обошлось, хотя подозревали в худшем, особенно насчет батареи. Вроде он ее бросил. Хорошо, что нашелся свидетель, майор из штаба армии, который подтвердил все, что комбат показал в своем первом объяснении. Поверили и снова послали на батарею, в которой пришлось повоевать ровно один месяц. И снова — окружение, разгром. Выбирались мелкими группами ночью. Тогда им повезло — удалось нащупать прореху между соседними немецкими частями, в которую и проскользнули, разве что без матчасти. Орудия накануне подорвали, потому что двинулись в обход, по болотам и бездорожью, с ранеными, четырех из которых несли на самодельных, из жердей, носилках. В тот раз Колесник искренне пожалел, что не погиб в бою, что вышел, потому как дело его оформили в трибунал, и он неделю просидел без ремня под арестом. Да все-таки что-то там у них переменялось, или, возможно, дело повернулось в иную сторону, и его срочно направили в батарею, оставшуюся без командира. Принимать батарею пришлось на переправе, к которой он бежал под огнем, но не из самолетов — из танков, уже прорвавшихся к переправе. Тогда Бог его миловал, танки отбили, а батарею перебросили на правый фланг армии — на плацдарм, где она и осталась. Лишь они вдвоем уцелели.

— Что? Что там видать? — спрашивала Нина. Он слегка обернулся к ней, снял с плеча автомат ППШ.

— Ни черта не разобрать. Похоже — передовая,

— Где? Там? — Вскочив, девушка встала с ним рядом.

— Вон видишь — столбы. Значит, дорога. За дорогой наши.

— Наши?

— Но там простреливается. Жаль, не успели по-темному.

— Не успели...

Она разочарованно отвернулась от стены капонира, встряхнула головой, закидывая назад короткие светлые волосы. Пилотку потеряла вчера, волосы были пересыпаны землей и пылью от взрывов, извоженная в пыли воронка юбчонка на коленях и бедрах намочла от росы. В кирзовых сапогах давно сбились портянки. Комбат, вроде без внимания к спутнице, все исследовал даль, чтобы окончательно убедиться, что там свои. На его молодежом, с отросшей щетиной, чернобровом лице лежала привычная тень тревожных забот. Ей захотелось, чтобы он взглянул на нее — одарил теплотой всегда желанного для нее внимания.

— Коля...

— Ну, — отозвался он, однако не повернув к ней головы. — Чего тебе?

— Ничего, — сказала она, слегка досадуя. — А мы выйдем?

— Выйдем, выйдем, — ответил он. — Ты сиди, не высывайся.

Она опустила наземь возле его запыленных сапог и сидела так, сжавшись в болезненно-нервный комочек. Она уже спала с ним — тайком, ночью, когда батарея отдыхала и лишь часовые бодрствовали возле орудий на огневых позициях. В такое время она тихонько пробиралась к его землянке и скрывалась за натянутой плащ-палаткой, возле которой дремал над телефоном связист Блошкин. Любовь у них была молчаливая, жаркая, она сразу хмелела от прикосновения его требовательных рук и его грубоватой ласки и, наверно, не уходила бы от него, если бы не скорый рассвет. Как только начинало светать, торопливо совала босые ноги в остывшие за ночь сапоги и мчалась на пригорок, где размещалась их прожекторная позиция. Потом ждала. Дежурила, сидела в боевом расчете, ухаживала за матчастью, и все мысли ее, все воспоминания уходили за овражек, на батарейный КП, где оставался он. Так хотелось, чтобы он пришел к их прожектору, чтобы снова увидеть его, может, перекинуться словом. Как-то на склоне дня он и в самом деле наведалься к прожектористкам, старшина Дуся Амельченко отрапортовала, он ничего не сказал ей, обошел прожектор, молча потрогал ногой толстые жгуты проводов и ушел. Нина помрачнела сразу, ушла в землянку и долго лежала с закрытыми глазами. Не набылась она с ним, не налюбилась — все ждала-жаждала, но не было, не хватало времени. И так до разгрома, когда они очутились вдвоем. Но тут все оказалось иначе — тут он вроде и не замечал ее, да и ей стало не до него — гибель подруг, ошалелое бегство в ночи, кажет-

ся, уничтожили в ее душе все другие чувства, кроме всевластного чувства страха, опасности, единственного стремления — спастись. Опять же бессонные ночные блуждания по полям и перелескам, бесконечные игры со смертью отнимали силы, хмельной усталостью мutilовали сознание. Временами в провалах памяти она переставала ощущать себя, даже понимать, кто она и где очутилась.

Согнувшись у бровки капонира, Колесник молча и пристально вглядывался в широкое устье рва-ложбины, изучая рискованную возможность выскользнуть из западни. А она сидела и ждала, как всегда, во всем полагаясь на него. Усталость постепенно стала овладевать ею, наваливалась дрема, хотя, знала она, спать было нельзя. За пригорком слышалась стрельба, вроде бы издали стали бить минометы, но полета мин не слышно — значит, стреляли в сторону. Значит, там наши.

— Ну что? — время от времени спрашивала она у комбата.

— Ничего. Сиди...

И она терпеливо сидела, отчаянно борясь с дремой, как когда-то на КП командира дивизии, когда недолго служила в роте связи. В той роте, наверно, можно было служить долго, наверно, та рота в это окружение не попала, вырвалась вместе со штабом дивизии. Вообще-то, конечно, глупая она, Нинка Башмакова, зачем было ей жаловаться в политотдел на их начальника связи Влажного. Но очень уж он стал липнуть к ней — настойчиво, самонадеянно, как это он делал едва ли не со всеми девушками-связистками. Именно потому и пожаловалась, что слишком настойчиво и нагло. Опять же он был старый, некрасивый и, безусловно, семейный, а она тихонько и безответно любила тогда взводного старшего лейтенанта Артаева, который проявлял ноль внимания к ней. Но Артаева вскоре убило на переправе, а она из-за своей неразумной жалобы очутилась у зенитчиков на плацдарме...

Все-таки, наверно, задремала и вдруг содрогнулась от совсем близких разрывов — уж не в том ли месте, куда им надлежало идти? С испугу она вскочила. Колесник стоял на своем прежнем месте, прислонясь к стене капонира и не отрывая взгляда от местности.

— Что? А?..

Комбат не ответил, и она встала рядом, стараясь понять или увидеть, что там происходит. Уже совсем рассвело, начиналось летнее утро, лучи невидимого из-за пригорка солнца ярко высветили спокойное, с редкими облачками небо. Все стало вид-

но, особенно противоположный склон овражка, но там было пусто — спокойно лежал пологий, заросший сорняками склон.

За пригорком же разгорался огневой бой — вонзались куда-то пулеметные очереди, приглушенно трещали-лопались звуки винтовочных выстрелов; через головы, с усилием полосая утренний воздух, пронеслись из тыла тяжелые снаряды. Все тонуло в грохоте и треске ближнего боя.

— Там наши! — вдруг с уверенностью сказал комбат и присел с ней рядом.

— Так пойдем! — встрепенулась она.

— Попробуем. Только...

— Что? Там немцы?

— Немцы, конечно. Но...

Снова вскочив, он прилип к стене капонира — статный, в командирской обмундировке, с портупеей через плечо, тремя кубиками в черных артиллерийских петлицах. Командир. Комбат. Для всех комбат, а для нее с какого-то времени — Коля.

Она понимала это его но: сейчас наступало самое для них важное и самое страшное. Или они вырвутся из этой смертельной западни, или оба лягут на самом пороге к спасению.

Конечно, погибнуть она всегда боялась, но, может, больше, чем гибели, боялась плена. Уже была наслышана, как поступают немцы с пленными, особенно девчатами, — это было похоже смерти. Может, потому за весь этот путь к спасению берегла единственную свою «лимонку», что неудобно болталась при ходьбе в кармане юбки. Граната не для немцев, это была граната для себя. В последний свой час. Правда, на батарее у нее была и винтовка образца 1891 года (длиннющая, с тонким штыком), но эту винтовку она оставила на позиции после дикой бомбежки. Заваленная землей, сама кое-как выгреблась из-под завала, а винтовку искать не стала. Пусть пропадает винтовка, дал бы бог ноги. Ноги ее и спасали, как, впрочем, и всех остальных в этой ужасающей круговерти.

Колесник тем временем понял, что вроде бы наступал момент, к которому они стремились. За теми придорожными столбами, может, немного поодаль — наши. Он так рвался туда и даже порой терял веру, что это осуществится.

Теперь последний рывок, и они среди своих. Но что после?

Вот это *после* его и смущало, о том после не хотелось и думать. Да он и не думал, пока они бежали в огненной пляске трассирующих очередей из немецких танков, лежали в земляном смерче бомбежек, проползая по ночам через немецкие позиции,

теряя при этом своих и чужих бойцов и командиров. И девчат. Этих милых, наивных, что недавно еще осаждали тыловые военкоматы, приписывали себе недостающие годы рождения, плакали и просились, чтобы как можно скорее послали защищать родину. В этот бесконечный фронтовой бардак, огонь, кровь и смерть. Сколько их, растерзанных бомбами, расстрелянных из пулеметов, окровавленных, умирающих в окопной грязи, осталось там, на плацдарме. Может, только ему с этой милой, наивной Башмаковой и повезло. Только ее он и вывел. Но хорошо, что вывел...

— Сейчас рванем, — сказал он и, может, впервые внимательным взглядом обвел ее истстрадавшееся перепачканное землей лицо.

За пригорком всюду гремело и грохотало, пули с коротким свистом проносились над ложбиной, наверно, далее оставаться тут было небезопасно, каждую минуту возле капонира могли появиться немцы.

— Бинт есть? — спросил Колесник.

— Нету, как перевязывали Гусева, отдала...

Он выскочил из неглубокого капонира и, пошарив поблизости, собрал на траве раскрученные обрывки немецких бинтов. На ходу пооборвав окровавленные бумажные концы, снова подбежал к ней.

— Нераненым туда выходить нельзя, — сказал он,

— Как?

— Так.

— Что?

— Не понимаешь, что? Хотя ты первый раз... Слушай! Вот тебе автомат! — Прежде чем передать ей свой ППШ, шелкнул переводчиком, ставя его на одиночные выстрелы. — Держи. Наведешь мне в руку и выстрели.

Не до конца понимая его, она ослабевшими, ватными руками взяла оружие. В ее расширенных глазах застыли испуг и удивление. А он, отойдя шагов пять, вытянул над бровкой капонира левую руку.

— Ну!

— Что — стрелять? — беззвучно промолвила она одними губами.

— Стреляй, ну! Только скорее...

— А я?

— Можно и тебе. Если хочешь. Ну!

Он требовательно ждал, застыв возле земляной стены капо-нира с откинутой в сторону левой рукой в заношенном рукаве гимнастерки с двумя латунными пуговичками на манжете. Его симпатичное чернявое лицо, как всегда, внушало решимость. А в ней поднималось внутри что-то черное и злое, и в мыслях стучало одно только слово — предатель.

— Ну ты что? Давай быстро! Некогда...

Захлебнувшись от непонятного взрыва обиды, она передернула металлический шпенек на автоматический огонь и подняла автомат.

— Пониже локтя. Я стерплю...

«Не стерпишь!» — мысленно сказала она и решительно нажала на спуск. Недлинная очередь брызнула несколькими пулями, взбив возле комбата пыльные комья земли. На подогнутых ногах Колесник сполз по откосу наземь и застыл, неуклюже согнувшись. Показалось, он что-то сказал ей, но она не поняла что — даже и не взглянула на него. Наверно, какое-то время он еще жил, подергивая головой, а потом затих, будто окончательно смирившись с происшедшим.

Она постояла еще, пытаясь как-то совладать с собою, и побрела по склону овражка. Впереди возле столбов, показалось, пробежал кто-то, но ее мало интересовало — кто... Назад она уже не оглядывалась и больше не интересовалась тем, кого пристрелила. Никто у нее о том и не спрашивал, когда она вышла к своим.

ПОЛЮБИ МЕНЯ, СОЛДАТИК...

Маленькая повесть

Война стремительно катилась к финалу, наши уже взяли Берлин, а мы остановились перед немецкой обороной за небольшим австрийским городком и третий день не могли сдвинуться с места. Немцы изредка постреливали из орудий и минометов, и тогда среди аккуратных старинных домиков взметались пыльные клубы разрывов, вдребезги разлеталась красная черепица крыш. Если бы не черепично-кирпичные обломки, густо усеявшие асфальт, было бы истинным удовольствием катить на велосипеде вниз — от поворота к длинному полуразрушенному дому, за которым возле речушки стояли наши орудия. Вообще-то это было опасно, могли и убить. Хотя пули с недалекой передовой сюда не залетали, но залетали мины. Как всегда на фронте, спасу от немецких мин не было нигде — ни в поле, ни в лесу, ни в городе. Разве что в земле. Но в земле мы уже насиделись за зиму, а тут в Австрийские Альпы пришла весна, на пустыре зеленела осыпанная лютиками трава, в палисадниках зацвела сирень, днем пригревало солнце. На душе посветлело, даже становилось радостно от предчувствия молодой, бездумной удачи. Особенно когда тебе едва перевалило за двадцать и впервые за войну появилась надежда выжить. А сегодня вдобавок попался под руку велосипед, на котором не катался с детства.

Из-за оснеженных хребтов гор вынырнуло утреннее солнце, слепящими лучами неожиданно ударило в глаза, дорога метнулась в сторону, колесо — в другую, и я с хорошего разгона загремел на асфальт. Превозмогая боль в колене, поднял голову и увидел рядом людей. Плотно пригнанные к уцелевшей стене дома, стояли две командирские машины — американский «виллис» и трофейный «хорх», возле которых замерла группа офицеров, все удивленно уставились на меня. Конечно, это было начальство. (И когда их принесло сюда? — недоуменно подумал

я.) Тихо ругнувшись, начал не спеша вставать. Торопиться уже не имело смысла, я отчетливо сознавал, что влип, и готовился по возможности скорее закончить малоприятную встречу.

— Посмотрите на него! — прозвучало грозным командирским тоном. — Он думает, что война уже кончилась! Уже готов сломать себе голову на дороге!

На мою беду, это был командир нашей противотанковой бригады — приземистый, с бычьей шеей полковник, отменный крикун и матерщинник. В бригаде его любили и боялись. Больше, впрочем, боялись, так как, встретившись с ним один раз, встречаться в другой не очень-то хотелось. Остальные, стоя возле машин, молчали. Поставив ногу на бампер «виллиса», знакомый подполковник из штаба бригады рассматривал разостланную на капоте карту. Рядом с ним какой-то майор в фуражке цвета хаки. Этот последний со снисходительной, отстраненной улыбкой молча наблюдал за мной.

— Виноват, — промычал я, морщась от боли в ушибленном колене. Рукав гимнастерки оказался разодранным на локте, и я слегка отвернул велосипед, чтобы оказаться к ним боком.

— Где твое подразделение, лейтенант? — рычал комбриг.

— Вон орудия, — неожиданно тонким голосом ответил я, кивнув в сторону оружейного расчета в сотне шагов от дороги. И смутился еще больше: солдаты, вытянув шеи, все как один с любопытством наблюдали за попавшим в переплет взводным.

— Чей велосипед? Ворованный?

— Никак нет. Трофейный.

— Какой трофейный! Ты что — его в бою взял? — не унился комбриг. Его с готовностью поддержал подполковник:

— Типичный пример грабежа транспортных средств. Есть постановление военного совета...

Командир бригады, не дослушав, отрезал:

— Мне мародеры не нужны! Сейчас же возвратить велосипед! Туда, где взяли!

— Есть! — уныло вымолвил я, однако с облегчением оттого, что разговор вроде кончился. Прихрамывая на ушибленную ногу, повел велосипед вдоль забора лесопилки к огневой позиции взвода.

Где взяли этот велосипед, я знал. Вчера батарейный санинструктор Петрушин, в то время как солдаты окапывали орудия, порыскал по соседним дворам и из недалекого коттеджа притащил этот велосипед. Сам катался недолго, наверно учился, несколько раз упал и бросил велосипед солдатам. Вчера на нем

прокатились ребята из огневого расчета, а утром велосипед подхватил я.

Привел велосипед на огневую позицию. Возле панорамы 76-миллиметрового орудия, как всегда дымя самокруткой, сидел наводчик Степанов; двое других солдат сидели на бровке рядом. Командир орудия сержант Медведев, накрывшись с головой палаткой, спал на траве за бруствером. Правильный Кананок, скучаяще поглядывая в сторону тыла, жевал кусок хлеба. Солдаты ожидали завтрака, который обычно приносили с батарейной кухни. Еще на рассвете туда отправились двое с котелками, но до сих пор не вернулись — наверно, вышла какая-то неуправка у старшины. Было тихо, впереди в городке пока не стреляли — немцы тоже, наверно, завтракали. В ожидании прорыва немецких танков батарея занимала ПТОР* сзади за пехотой, огня не вела. Но, по всей видимости, немцам уже было не до прорывов, дай бог сдержат наши прорывы. Хотя иногда они довольно зло огрызались. Как весной у Балатона, где прорвали фронт и километров на пятьдесят отбросили нашу пехоту. Тогда противотанковый полк потерял почти все орудия и много людей.

— Кананок! — окликнул я молодого солдата. — Отведи велосипед вон в тот домик.

Как всегда, когда к нему обращались, Кананок смущенно улыбался, потом глянул в сторону серого кубика коттеджа, уютно пристроившегося под горой за речушкой.

— Ничего себе домик. Дворец!

Ну не дворец, конечно, но весьма приличное двухэтажное строение с двумя красивыми елями по обе стороны от входа. Заросли плюща, густо расползшиеся по фасаду и уже зазеленевшие первой листвой, почти скрывали несколько узких окон. Сзади за коттеджем высились кроны старых деревьев, из которых выглядывала красная крыша с небольшой остекленной башенкой на правом углу. Судя по всему, хозяин коттеджа был не бедный австриец.

Через узкий деревянный мостик Кананок покатил велосипед к коттеджу. У запертой калитки за речкой остановился, негромко окликнул кого-то. Тотчас в двери коттеджа показалась фигурка женщины в брюках, которая живо приблизилась к калитке. Минуту они там вроде переговаривались о чем-то — хотя о

* Противотанковый оборонительный район.

чем мог разговаривать Кананок, едва ли знавший с десяток слов по-немецки, подумал я.

— Ты смотри! — насмешливо сказал Степанов. — Наш тихоня уже за немочкой приударяет! Договаривается...

— Не за немочкой — за австриячкой, наверно. И правда, ничего себе девочка! — высунувшись из ровика, одобрил черноусый телефонист Муха.

Я пристальнее взгляделся — и в самом деле, девушка казалась привлекательной. Она приняла у Кананка велосипед и, встряхнув головой с коротко стриженными волосами, пошла к дверям. Кананок, однако, все продолжал спрашивать о чем-то, и она на ходу отвечала, пока не скрылась за елями у входа.

Я оглянулся на дорогу — машины все стояли под полуразрушенной стеной дома. Офицеры сгрудились над капотом «виллиса», кроме одного, который все поглядывал в нашу сторону, — не тот ли добродушный майор в фуражке, подумал я. Из ровика послышался тонкий звук зуммера и высунулась голова телефониста Мухи.

— Комбат, товарищ лейтенант!

Соскочив в ровик, я взял трубку. Комбат спрашивал, сколько у меня на огневой снарядах — отдельно бронейных, отдельно осколочных. Я ответил, что сперва надо сосчитать у обоих орудий, потом доложу. Вопреки обыкновению, комбат не настаивал и будто между прочим заметил:

— Там где-то первый возле вас. И особист.

— Вижу. Стоят на дороге.

— Как поедут, звякни — куда.

По-видимому, это и было главной заботой комбата — куда направится комбриг? Я положил трубку и вылез из ровика. Машины стояли на прежнем месте, но офицеры уже отошли от «виллиса», и добродушный майор в фуражке больше не поглядывал сюда. Похоже, это и есть наш бригадный особист, догадался я, начальник «смерша». До сих пор нигде не встречал его, возможно, он в бригаде недавно. Нашего полкового «смершевца» мы знали хорошо, парень он был компанейский, частенько навещался в батарее, охотно общаясь с офицерами, особенно в обороне, на маршах и формированиях. В подходящую минуту не прочь был осушить фронтовую кружку и даже что-нибудь спеть из популярного репертуара. В полк прибыл осенью прошлого года, почти в одно время со мной, и уже получил два ордена, за что — разумеется, не нашего ума дело. У этих ребят особые заслуги.

Машины с офицерами покатали по дороге в тыл, надо было предупредить комбата. Батареи в этой горной долине размещались в несколько эшелонов на одной дороге. Комбаты, понятное дело, следили за неурочным перемещением комбрига и, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, сообщали о нем друг другу. Начальства, как и противника, следовало остерегаться на войне. Я влез в тесный ровик и позвонил комбату, а когда выбрался на поверхность, Кананок был уже на огневой. Его улыбочивое лицо сияло в радостном оживлении, и это бросилось в глаза нашим зубоскалам.

— Ну, договорился? Когда побежишь?

— А может, он ее сюда приведет? В гости.

Кананок, однако, без внимания к их шуткам направился ко мне.

— Там землячка ваша, товарищ лейтенант.

— Какая землячка?

— Из Белоруссии, говорит.

— Из Белоруссии?

— Ну, — только и ответил немногословный Кананок. По всей видимости, он и сам ничего больше не знал.

Все-таки я засомневался. Откуда ей взяться, землячке, за тысячу километров от Белоруссии, в самом конце войны? Наверно, какое-то недоразумение — не больше.

И тем не менее эта новость взволновала меня.

Дело в том, что земляки не часто мне попадались на войне, за два года на фронте я встречал их, может, человек пять, не больше. Оно и понятно: мой путь пролегал в стороне от Белоруссии, в полку белорусов, кажется, никого больше не было. Однажды прослышав, будто начальник ГСМ* — белорус, при случае спросил у самого, откуда он родом. Оказалось, не из Белоруссии, хотя акцент очень походил на белорусский. Я был разочарован. Очень хотелось встретиться с земляком, вспомнить знакомые обоим места, узнать что-либо, может и об общих знакомых, а то и родственниках, связь с которыми оборвалась у меня в начале войны.

...Война войной, но все-таки надо зашить рваный рукав. Поблизости вертелось начальство, и я не стал снимать гимнастерку, попросил у Кананка иголку, которую тот с готовностью извлек из своей зимней шапки. Только пристроился зашивать, как

* Горюче-смазочные материалы.

сзади заухали наши гаубицы, в небе, разрезая тугой горный воздух, с шорохом понеслись тяжелые снаряды. Немного погодя, в другой стороне глухо загавкали немецкие минометы — эти, как и вчера, стали бить по городку. Между крыш и деревьев тут и там взмыли вверх пыльные разрывы мин — две из них разорвались по соседству с нашей лесопилкой.

— А ну, всем — в ровик!

Прижавшись друг к другу, мы замерли в узком ровике, на огневой возле орудия, как всегда, остался наводчик Степанов. Взрывы сотрясали окрестности, вдребезги разносили черепичные крыши, уродовали фасады, деревья, отполированную брусчатку мостовых. Неизвестно, сколько продлится этот обстрел, обеспокоенно думал я, если даже это обычный обстрел, без какого-либо движения пехоты. Если же поднимется пехота, будет хуже — возможно, и нам придется включиться в огневой бой.

— Обормоты! — недовольно ворчал телефонист Муха. — Не дадут позавтракать...

Завтрак действительно задерживался, не пришлось бы завтракать во время обеда. Как позавчера. Тут, в Австрии, совсем не то, что месяц назад в Венгрии, когда мы мало думали о кухне. Там в каждом доме можно было добыть кусок ветчины, круг колбасы, буханку белого хлеба. Да еще бутлю вина вдобавок. В Австрии же с продовольствием оказалось туговато, сами австрийцы сидели на карточках и, в общем, голодали. Мы же питались исключительно заботами интендантов.

Обстрел длился около часа; стреляли и наши артиллеристы, и немцы. Однажды рвануло близко на дороге, возле полуразрушенного дома, где утром стояли машины, — горелой вонью потянуло в сторону речки. И меня вдруг кольнуло минутное беспокойство: хоть бы не угодили в коттедж! Враз могли загубить всю эту красоту — плод трудов и забот, может, не одного поколения. Между тем по ту сторону городка, на передовой, вроде все было тихо, пехота молчала, значит, атаки не предвиделось. Можно немного расслабиться, оглядеться, и я выбрался из ровика. Возле наводчика Степанова уже сидел командир орудия Медведев, не в лад со своей фамилией костлявый и тощий сержант с узким старообразным лицом. Обстрел прервал его утренний сон возле бруствера, и сержант недовольно морщился.

— Какого черта! — выругался он, когда рвануло поблизости, кажется за оградой лесопилки. — Зажгут, будет вонять до вечера.

— И без того вони хватает, — сказал наводчик.

— Такой городок рушат. Без нужды ведь. Все равно скоро конец.

Что скоро конец — это уж точно, подумал я, немного осталось. Только что-то мы здесь замешкались, словно уперлись в какое-то невидимое препятствие. С запада по Австрии успешно наступали американцы, время от времени батарейные радисты ловили в эфире их не очень далекие разговоры по-английски, которые перемешивались с немецким, чего прежде никогда не случалось. Значит, они где-то рядом и, может, днями рванут навстречу. Если к тому времени бессмысленные обстрелы не превратят город в развалины. Почему-то прежде о том не думалось: стреляют, ну и пусть, рушат, и ладно. На войне никогда ничего не создается, всегда разрушается — так было всегда. Но вот возникло сейчас иное отношение как к человеческим жизням, так и к материальным ценностям. Появилась жалость — как, наверно, и полагается в конце каждой войны.

Как только вверху немного утихло и обстрел стал слабеть, пришли наши солдаты с кухни. Атрошенко со Скибовым принесли по два котелка каши, буханки хлеба под мышками — паек на весь день. Следом зачем-то приволокся санинструктор Петрушин, и я с досадой подумал: а этот зачем? Мне он решительно не нравился, этот тридцатилетний плутоватый сержант, который в промежутках между обстрелами обычно шарил по батарейным тылам в поисках добычи. Когда же на батарее появлялись раненые, санинструктора было не сыскать. Опять же из-за его велосипеда я сегодня влип в неприятности с комбригом. Наверно, почувствовав мое настроение, Петрушин начал заискивающе:

— Ну как? Достается вам тут? На самом, считай, передку. Не то что в третьей — сидят как у бога за пазухой. Комбат на аккордеоне пиликает. Раненых нет?

Раненых не было. Солдаты шустро повылезали из ровика, принялись резать хлеб на разостланной плащ-палатке, расхватали котелки с остывшей перловкой. Петрушин, похоже, уже позавтракал и не обнаруживал интереса к еде. Достав из кармана «бархотку», поставил на станину ногу и стал драить сапоги. Из всех сержантов в полку он один шеголял в новых хромовых сапогах, о чистоте которых не переставал заботиться. Надравив сапоги со всех сторон и полюбовавшись ими, вдруг вспомнил:

— А где мой трофей?

— Какой трофей? — непонимающе спросил я.

— Велосипед.

— Велосипед комбриг отобрал.

— Да ну? Так и отобрал?

— Пусть вон Кананок скажет.

Петрушин вопросительно уставился на Кананка, который с таким же юнцом Атрошенко ел из котелка, приладив его на бруствере. В ответ на мои слова Кананок заулыбался:

— Ну.

— Так я и поверил! — усомнился санинструктор. — Спрятали где-то.

Он стал искать — возле огневой, заглянул в опустевший ровик, за штабель снарядных ящиков, под брезентовый полог.

— Не ищи, не найдешь, — вдруг сказал Медведев. — Комбриг приказал отдать.

— Кому отдать?

— А у кого взял.

Зачем было говорить об этом, раздраженно подумал я. Пусть бы поискал. Но Петрушин уже смекнул, что командир орудия не обманывает, и молча перескочил через невысокий бруствер.

— Ты куда? — крикнул я.

Невнятно проворчав что-то в ответ, Петрушин скорым шагом направился к коттеджу. Мне это совсем не понравилось, но что было делать? По службе он мне не подчинялся, а обращаться к комбату не имело смысла: комбат с этим сержантом был в особенных отношениях. Санинструктор нередко таскал ему фляги с вином, выручал, когда тот, перебрав, отлеживался в кабине «студебекера», объясняя по телефону: комбат болен, диагноз — малярия. У нас и в самом деле болели малярией, только не комбат. У комбата были другие болезни.

Стрельба вроде прекратилась с обеих сторон, закатилось за вершины гор далекое эхо — надолго или нет, неизвестно. Санинструктор перешел мостик, решительно перемахнул через низенькую металлическую калитку и направился к дверям коттеджа. Эта его решимость чем-то встревожила меня, словно и я уже имел какое-то отношение к этому жилью. Выскочив из огневой и прихрамывая на ушибленную ногу, я перешел мостик, перелез через ограду. Из дома никто не выходил, и Петрушин заколотил в тяжелые двери.

— Откройте!

Я подбежал сзади, схватил его за плечо:

— А ну! Прочь отсюда!

Уколов меня злым взглядом, санинструктор молча пошел к калитке и лишь издали негромко выругался. Только я собрался последовать за ним, как сзади беззвучно растворились двери.

— Спасибо вам. Он второй раз уже...

На пороге коттеджа стояла она — моя землячка. Взглянув на ее курносенькое, с несколькими веснушками на переносье лицо, я сразу вспомнил наш, полузабытый девичий облик — вежливо-сдержанный, тронутый мгновенным милым смущением при виде незнакомого человека. С виду она была совсем девочка, одновременно похожая и на подростка-мальчишку — в темной кофточке с белым маленьким воротничком, в узких темно-синих брючках, какие носили здесь молодые австриячки. К кофточке на едва заметной груди был приколот булавкой верхний край чистого передничка, как, наверно, полагалось горничной. Эта неожиданная встреча сразу заставила меня забыть о санинструкторе, и я на минуту смешался.

— Вы из Белоруссии?

— Ну, — тихонько ответила она и замерла, будто в ожидании новых вопросов. Вопросов у меня могло быть немало, но я лишь сказал:

— Я тоже.

— Знаю. Мне ваш солдат говорил.

— А вы давно тут?

Похоже, она вздохнула или только попыталась вздохнуть, но сдержала вздох и не уходила, выжидающе глядя на меня. Вся такая ровненькая, словно гвоздик, небольшого росточка, с едва заметной, готовой исчезнуть лукавинкой в серых глазах.

— Как вам сказать?.. Скоро не скажешь, — уклончиво ответила она, улыбнувшись решительнее, как на прощание. Однако прощаться с ней мне не хотелось, хотя и задерживаться было неловко.

— Никого не пускайте, — сказал я, больше затем, чтобы выразить мое расположение к ней. — Будут стучать — не открывайте.

— Уже стучались.

— Кто стучался?

— Ваши военные.

Ну конечно, наши военные, подумал я, кто же еще? Но мои артиллеристы сюда не заходили, я неотлучно находился со взводом, никто из нас не отлучался с огневых позиций. Не видно было, чтобы рыскал здесь кто-нибудь из чужих подразделений. Разве только санинструктор Петрушин.

— Может, войдете? — заметив мою нерешительность, неуверенно предложила девушка, посторонившись. Взглянув на ее ножки в маленьких мягких тапочках, я невольно перевел взгляд на свои побелевшие от пыли кирзачи и не без некоторой робости переступил низкий порожек.

Небольшой уютный вестибюль с высоким потолком и огромным застекленным шкафом у стенки, словно шахматная доска, пестрел черно-белой кафельной плиткой пола, посередине которого стоял небольшой круглый столик под нарядной скатеркой; несколько легких стульчиков расположились вокруг. Два мягких кожаных кресла у стены поодаль. Высокие стрельчатые окна, затемненные снаружи ветвями деревьев, пропускали немного света, и в помещении царил полумрак.

— Вы одна тут? — спросил я, несколько озадаченный видимой зажиточностью этого дома.

— Почему же? Хозяева есть, — ответила девушка. Она не сводила с меня вопросительно-напряженного взгляда.

— Хозяева — немцы?

— Австрийцы.

— А как же вы тут... оказались?

Это был главный для меня вопрос, от ответа на который зависело самое важное в моем отношении к землячке. Но не успела она ответить, как снаружи раскатило грохнуло и что-то с дробным стуком покатило по крыше. Девушка отпрянула к стенке, а я тотчас выскочил во двор. За моей огневой, аккуратно над лесопилкой ветер разгонял в небе коричневый клочок дыма — это разорвалась шрапнель. В таком случае лучше укрыться в доме или хотя бы под какой-то крышей. Но я должен был бежать на огневую.

На бегу с беспокойством думал о другом — не пристрелочная ли это шрапнель, не засекали ли немцы мои позиции? Второй орудийный расчет располагался по ту сторону заваленной досками лесопилки, как бы и ему не досталось... На огневой все уже сидели в ровике, хотя от шрапнели ровик — плохое спасение. С пронзительным треском разорвались еще два шрапнельных, на этот раз дальше — за главной дорогой. Я послал Скибова узнать, не попало ли кому из второго расчета? Немцы тем временем перенесли огонь на дорогу: наверно, заметили какое-то движение пехоты. Только успел Скибов отбежать от огневой, как зазуммерил телефон — комбат спрашивал, что у нас случилось. Сказал ему, что у нас ничего не случилось, а если у кого

и случилось, то не у нас. Колошматят пока соседей, возможно, пехоту тоже.

Положив трубку, я сидел, прислонясь к чьей-то спине, думал, что обстрел, разумеется, скверное дело, но в одном отношении даже хорош — начальство обстрела не любит. Во время обстрела можно не опасаться, что на твои позиции неожиданно наскочит какой-нибудь крикливый командир в «виллисе» или притащится нахлебник — комсорг, парторг или особист. Во время обстрела ты сам себе хозяин, лейтенант-взводный и, кроме немца, для тебя тут врага больше нет.

Обстрел шрапнелью длился, кажется, бесконечно долго. Все ясное небо над городком было испещрено желто-коричневыми кляксами, которые помалу расплывались, вытягивались в ветреные клочья; среди них вспыхивали новые разрывы — по одному, парами, а то и по четыре сразу. Пронзительный грохот множило горное эхо; от особенно близких разрывов закладывало уши и угнетало до глубины души. Только бы сдюжить! Не погибнуть. Совсем уж глупо погибать в самом конце войны.

Но вот наконец все вроде смолкло. Правда, что-то рвануло напоследок вдаль, и наступила неопределенная, почти загадочная тишина. Прибежал Скибов, сообщил, что во втором расчете все живы-здоровы, никого не ранило. Лишь во дворе рядом убило лошадь из пехотинского обоза, и приходил кто-то из австрийцев просить разрешения отрезать кусок на бифштекс. Бедные австрийцы, подумалось мне. Мы даже в голодные годы не ели конину, хотя некоторые и уверяли, что конина — совсем неплохое мясо. Но, по-видимому, действительно — голод не тетка.

Нигде поблизости не было заметно никакого движения — ни на окраине городка, ни на дороге. Пехота тоже притихла, даже не вела обычного разрозненного огня на передовой. Однако, несмотря на обманчивую тишину, я чувствовал, что долго мы тут не усидим, не сегодня завтра перейдем в наступление. Особенно если с той стороны немцев поджимают американцы.

Солдаты по одному вылезли из ровика на тесную площадку огневой позиции, расселись на станинах, снарядных ящиках. Командир орудия Медведев отошел на минуту под недалекий забор лесопилки, а когда вернулся, я негромко сказал, чтобы другие не очень расслышали:

— Схожу туда...

— Возьмите кого. А то...

Ну, разумеется, а то. Окинув взглядом моих солдат, я поймал улыбчивый взгляд Кананка.

— Пошли!

Тот согласнo подхватил на плечо автомат, и мы скорым шагом направились к коттеджу. Калитка оказалась запертой, и в этот раз перелезть через ограду стало как-то неловко, не то что прежде. Зато не пришлось стучать в дверь — та сразу отворилась, как только мы приблизились к ней.

— Ну как вы тут? Живы?

— Ой, страху столько! Заходите, пожалуйста, — видно еще не отойдя от пережитого, с дрожью в голосе сказала девушка.

— Ничего, недолго осталось. С запада идут американцы, — сказал я.

— Правда? А мы ничего не знаем...

Кананок остался во дворе, а я вошел в вестибюль, осторожно прошелся по его черно-белым плиткам. Девушка услужливо отодвинула от стола легонький гнутый стульчик.

— Садитесь.

Я не садился, медлил. Может, и не стоило здесь задерживаться, но мне хотелось познакомиться с землячкой.

— Как тебя зовут? — начал я с самого простого.

— Меня — Франия. А вас?

Не очень заладилась с самого начала: я ее на «ты», она же меня — на «вы».

— Дмитрий Борейко, — неожиданно смутившись, отрекомендовался я. — Родом из Бешенковичей. А ты откуда?

— Тоже из Белоруссии, — неопределенно ответила Франия, будто прислушиваясь к тому, что происходило снаружи. Но снаружи не доносилось ничего особенного, лишь шуршала листва на ветру за рамами высоких окон. Уточнять свое происхождение она не стала, переведя разговор на другое. — Вот угостить вас нечем. Разве горбаткой?

— Горбаткой — это хорошо! — почти обрадовался я, услышав знакомое с детства слово. Мама, сельская учительница, всегда говорила «горбатка», тогда как отец настойчиво выговаривал по-своему — «чай».

— Посидите, я скоро, — сказала Франия и бесшумно выскользнула из вестибюля в своих мягких тапочках.

Я с опаской подумал: как бы чего не случилось. Все-таки рядом немцы, и неизвестно, кто хозяин этого коттеджа. Правда, полагался на Франию, которая теперь казалась мне какой-то защитой, но кто знает? Размышляя, я подошел к шкафу, застав-

ленному рядами толстенных, в черных обложках книг с золотыми тиснениями на корешках, попытался понять их названия, но готический шрифт мне плохо давался и в школе. Рядом на стене висела тусклая картина в громоздкой, почерневшей от времени раме. Да и все тут, включая мебель, было старинное, кое-где со следами стершейся позолоты — из прошлого столетия, что ли?

Франя, однако, задерживалась, и я подумал: не уйти ли к себе на огневую? За войну основательно отвык от закрытых помещений, тяготивших меня, хотелось на свободу, которую давали полевые пространства. Но что-то удерживало меня, и я дождался. В раскрывшейся двери появилась наконец Франя с белым фарфоровым блюдом в руках. На нем были две чашки чая и что-то еще на блюще. Я сел за столик.

— Сахара нету, — пожаловалась девушка. — А можно, я позову хозяев?

— Хозяев? Ну пусть...

Вообще-то хозяева не входили в мои намерения, видеть их мне совсем не хотелось. Но если она просит... Тем временем в помещение как-то медленно, словно нерешительно, вошел высокий старик в темной пижамной куртке, которая, будто на вешалке, висела на его костлявых плечах. И брюки с нелепыми, словно генеральскими лампасами неопределенного блеклого цвета. Был он совершенно лыс, но с удивительно волосатыми бровями, под которыми глубоко сидели темные внимательные глаза.

— Их грюссе, гер офицер, — старческим голосом приветствовал он, слегка наклоняя голову.

— Здравия желаю, — сдержанно ответил я.

За стариком в дверях появилась маленькая старушка с совершенно белой, словно одуванчик, головой. Оба, притихнув, безмолвно остановились у входа. Приткнувшись на легком стульчике, я сидел возле столика. Сразу почувствовал неловкость. Однако вставать не стал.

— Кайне нацисты? — не очень дружелюбно спросил я.

— Кайне, кайне, — разом ответили хозяева.

— Они не нацисты, — подтвердила Франя. — Доктор Шарф — профессор биологии.

— Я, я, — согласился хозяин. — Университет штатт Ганновер.

Ну если профессор, то действительно, может, и не фашист, все-таки биология — независимая наука, с облегчением подумал

я. Это известие несколько смягчило мое отношение к хозяину, возможно, и его ко мне тоже. Только я взял со стола чашку с чаем, как хозяин произнес «момент» и повернулся к двери. Я понял, что надо подождать. И правда, он скоро вернулся, с трудом передвигаясь на негнущихся ногах, поставил передо мной маленький графинчик, до половины налитый золотистой жидкостью.

— Дас ист коньяк!

Хозяйка что-то шепнула Фране, и та принесла четыре миниатюрные рюмки на тонких ножках.

— Доктор Шарф угощает. Позвать солдата?

— Я сам, — сказал я и вышел во двор.

Кананок, сидя на низкой ступеньке крыльца, скучающе наблюдал за огневой позицией, где, видно было, сидели, лежали, курили его товарищи. На дворе было тепло, ярко светило весеннее солнце, над городком и долиной стояла полуденная тишина. Словно и не было войны. Я велел Кананку сбегать на огневую, принести хлеба.

— И там у Медведева тушенка была. Захвати баночку.

Кананок побежал на огневую, а я вернулся в вестибюль. Хозяева были здесь же, только теперь покойно расположились в удобных креслах, — беспомощные, старые люди. Франя за столиком бережно разливала коньяк.

— Немного подождем, — сказал я. — Сейчас принесут закусь.

— Немцы, как пьют, не закусывают, — объяснила Франя.

— А мы и пьем, и закусываем, — со значением сказал я. — Если есть чем.

— У нас вот ничего и нет. Прежде я на велосипеде за пайком ездила. Не знаю, как будет дальше...

— Все будет хорошо, — бодро заметил я. — Главное — война кончается. Американцы с запада идут. Скоро и здесь — Гитлер капут!

Старики в креслах выцветшими старческими глазами рассматривали меня, советского офицера, и я вдруг подумал, что в их представлении, наверно, я легковесный молодой обормот. Кажется, мой победный оптимизм их мало воодушевлял, у них были собственные заботы и свое отношение к войне, наверно, и к жизни тоже. Впрочем, меня это мало занимало — я больше старался смотреть на Франю. Тем временем появился Кананок с буханкой солдатского хлеба и банкой свиной тушенки, аккуратно положил на край столика.

— О, америкен! — тихо произнес старик, заметив пятиконечные звезды на банке.

— Ленд-лиз, — сказал я.

— Ленд-лиз, ферштее...

Франя принесла столовый нож, я открыл банку, и девушка отрезала от буханки несколько тонких ломтиков.

— Сейчас я сделаю бутерброды.

Пока она готовила их, я с неподдельным интересом наблюдал за быстрыми движениями ее ловких рук, то и дело бросая взгляд на оживленное девичье лицо. Кажется, она очаровывала меня все больше. Окончив свое занятие, положила бутерброды на тарелочку и поднесла старикам, неподвижно сидевшим в креслах.

— Данкешон, — кивнул хозяин. Трудно поднявшись, он дрожащими пальцами взял со стола рюмку. Фрау сидела на месте, как и прежде не сводя с меня глаз.

Мы выпили — я, хозяин и Франя. Четвертая рюмка осталась на столике.

Коньяк оказался довольно крепким напитком, кажется, я сразу начал пьянеть. Возможно, оттого, что был непривычен к нему, в Венгрии мы обычно пили вино. Лишь однажды под Шифоком я так же угостился коньяком и надолго запомнил это. Зато уяснил: коньяк — не вино, солдатскими кружками его пить не полагается.

— Пан профессор, — сказал я. — Вы не обижаете мою землячку?

По всей видимости, хозяин не очень понял мой вопрос, и Франя, объяснив его по-немецки, ответила:

— Они не обижают. Они для меня как родные.

— Хорошо, если так. Гут!

— Гут, гут, — согласно повторили хозяева.

— Но теперь мы ее заберем, — полнясь нетрезвой решимостью, сказал я и перевел взгляд на Франю.

Ожидал, что девушка перескажет мои слова хозяевам, но она промолчала. Легкая обеспокоенность промелькнула по ее лицу, и я подумал, что здесь что-то не так, наверно, она не торопится расстаться с этим коттеджем и этой семьей. В общем, для меня все оказалось неожиданностью, я рассчитывал на другую реакцию с ее стороны. Иностранцы, которых мы освобождали из трудовых лагерей в Восточной Австрии, обычно сразу устремлялись домой. По-видимому, в этот раз я ошибся.

Наступила неловкая пауза. Стоя за столиком, Франия готовила маленькие, со спичечный коробок, бутерброды. Старики молча и неподвижно сидели в своих мягких креслах. В вестибюле стало светлее. Сквозь узкие окна проглянуло солнце, на керамический пол лег рваный узор от рам и листы за стеклом. Пару бутербродов Франия вынесла на крыльцо Кананку и вернулась с пустым блюдцем — Кананок обходился без него.

После того как я выпил несколько рюмок и в графинчике осталось немного, старики молча поднялись и вышли через боковую дверь. Франия присела за столик напротив, с затаенным вниманием глядяваясь в меня.

Я заметно хмелел. Однако стал понимать, что мои привычные представления о здешней жизни, похоже, заколебались, столкнувшись с другой, мало мне знакомой реальностью. Все-таки это был иной, чем прежний мой, мир, наверно, с другими сложностями, в которых я разбирался слабо. По-видимому, следовало больше полагаться на Франию — она жила здесь дольше и кое-что поняла глубже. Мой интерес к девушке все возрастал, хотя расспрашивать ее о чем-либо было неловко, а она, кажется, не очень спешила рассказывать о себе. Или хотя бы пожаловаться. Франия вроде не чувствовала себя обиженной, хотя и радости на ее лице я не видел. Или научилась скрывать свои чувства, что, в общем, было понятно. Особенно в ее положении.

Там, на огневой позиции, я мало заботился о своем внешнем виде — испачканные землей брюки, запыленные кирзачи, оторванные пуговицы... Здесь же пришло иное ощущение, и разорванный рукав стал вызывать неловкость. Сперва я старался скрыть злополучную прореху, но потом забыл про нее, и это не ускользнуло от быстрого взгляда Франии.

— Дайте зашью, — вдруг просто сказала она. В обыденной простоте ее тона мне послышалась знакомая интонация моей младшей сестренки Нины, о которой я ничего не знал все годы войны.

— Давайте, давайте! Я быстро, — настаивала она и улыбнулась.

Наверно, ее улыбка все и решила, разом устранив мою стеснительность. Я снял ремень с кобурой, стащил через голову заношенную гимнастерку и снова сконфузился, оказавшись в несвежей нижней сорочке с нелепыми завязками на груди. Хотел было отказаться от Франии помощи, но девушка уже схватила гимнастерку и коротким точным движением распростерла ее на коленях. Быстро и ловко стала зашивать прореху.

Как всегда на фронте, чем бы я ни занимался и где бы ни находился, сквозь дела и разговоры не переставал ловить звуки извне, которые могли донести знаки тревоги, каких-то изменений в обстановке. Изменений, разумеется, к худшему — к лучшему на фронте и не случилось. Наверно, эта моя настороженность передалась Фране, во взгляде которой то и дело вспыхивала тревога.

— Стреляют?

— Это далеко.

— А здесь будут стрелять?

— Будут, конечно. Пока все не закончится.

— А когда закончится?..

— Тогда настанет мир. И жизнь, и счастье, — сказал я не без наигранного пафоса.

Конечно, смутная забота никогда не оставляла меня, но я старался загонять ее вглубь, в подсознание, чтобы она не нарушала безмятежности моих чувств к Фране. Кажется, я уже начинал ощущать радостную возможность, сулившую желанное в отношениях с девушкой. Хотя все это оставалось очень неопределенным, готовым, едва появившись, тотчас исчезнуть.

— У меня как раз сестричка такая. Семнадцать лет. Если только жива... — сказал я.

— Мне чуток больше, — отозвалась Франя. — А где ваша сестричка?

— Кто знает. Может, в Германию угнали.

— В Германии плохо. Кроме всего — бомбежки ужасные. Мои же старики потому и переехали сюда. Когда дом разбомбили.

— А тут лучше?

— До сих пор лучше было. Пока война не докатилась. Прежде я думала: может, в Германии спокойнее будет, а то ведь в Беларуси сплошное смертоубийство. Жить стало невозможно. Как дядька Левон говорил: хоть живым в гроб ложись...

— Все Гитлер проклятый.

— А не только Гитлер — и другие не лучше, — тихо сказала Франя и смолкла. Похоже, на этот счет она имела собственное мнение.

В общем, я был согласен и не возражал: виноват не один Гитлер, но и многие немцы, разорившие Европу, убившие миллионы людей. Теперь уже скоро конец, человечество освободится от кровавого маньяка и его помощников, настанет всеобщая радость. Так примерно ответил я Фране.

— Будет и радость, будет и печаль, — сказала она и как-то виновато улыбнулась, устранив тем невольное разногласие между нами. И я подумал: как много может непринужденная улыбка девушки — особенно той, которая тебе нравится. Почему-то, однако, вместо удовлетворения мелькнула диковатая мысль.

— А у твоих хозяев сын есть?

— Был.

— Был и?..

— И сплыл, — полушутливо окончила Франия, кажется почувствовав мою подозрительность. — В прошлом году погиб в Восточной Пруссии.

Все это она произнесла легко, почти беззаботно, и все же в ее тоне послышалась мне едва заметная фальшивая нота. Я молчал.

— Прислали сообщение, документы, письма, номер могилы. А почему это вас заинтересовало?

— Да так.

— Старики очень переживали. Фрау Сабину парализовало — инсульт. Едва отошла. Теперь ходит с палочкой. От племянницы, умершей в этом городе, достался коттедж. Думали пересидеть тут без войны. Да не пришлось.

Франия заканчивала свою работу, оторвала новую нитку от катушки. Все она делала легко, с привычной сноровкой, и я, слушая ее, любовался девушкой. Недавнее напряжение между нами, похоже, минуло, или, возможно, мне так показалось.

— Война окончится, но... Здесь же вместо немцев закрепятся русские?

— Ну а как же! — удивился я. — Само собой.

— Вот старики и переживают.

— А почему?

Склонившись над шитьем, Франия неопределенно передернула плечиком — кто знает? Я также не знал. Кое-что из сказанного ею было для меня ново и неожиданно. Внутренне я не соглашался, хотя и не стал возражать. Наверно, она почувствовала это и, чтобы снять мое затруднение, сказала:

— А, не будем об этом.

Пусть — не будем, я был согласен. Меня меньше всего касались здешние сложности — больше привлекала эта девушка, и я невольно стремился к беззаботной легкости в наших отношениях. Хотелось шутить, говорить о пустяках, но я все не мог настроиться на нужный тон, уловить подходящий момент. Что-то

вклинивалось между нами и мешало. Может быть, война, а может, и еще что-то.

Не успела Франя дошить мой рукав, как отворилась дверь, и в нее просунулась белобрысая голова Кананка.

— Товарищ лейтенант!..

Его встревоженный голос вызывал беспокойство, и я в нижней сорочке выскочил во двор. На огневой вроде все спокойно, а вот на дороге напротив появился незнакомый, без тента «додж», и от него напрямик через пустырь двигалась сюда группа военных. Впереди шагал рослый плечистый человек вроде без оружия (или, может, с пистолетом на боку), за ним еще трое с коротенькими автоматами ППС. Вразброд, с молчаливой настороженностью на лицах они приближались к речке. Я вышел к калитке навстречу им.

— Ты кто? — спросил передний, перейдя мостик и останавливаясь перед закрытой калиткой. На его плечах были всего лишь погоны старшины, и у меня отлегло от души.

— А ты сам кто? — как можно спокойнее спросил я. Вместо ответа старшина прорычал натренированным старшинским голосом:

— Я спрашиваю, кто занимает особняк?

— Ну я занимаю. А что?

— Освободить немедленно! — голос его стал совсем сволочной. — Для разведроты гвардейской армии!

— Другой поищите! — со внезапной решимостью выпалил я. — Здесь противотанковый полк.

— Какой еще полк! — заорал старшина и легко перескочил через калитку.

— Стой! — крикнул я, вдруг пожалев, что оставил пистолет в вестибюле. Тут же выхватил автомат у Кананка, который стоял сзади. — Стой!

Старшина и в самом деле остановился, вперив в меня холодный давящий взгляд. Потом оглянулся назад, где за калиткой наготове дожидались его помощники. Те, кажется, тоже брались за оружие.

— Под трибунал захотел? — угрожающе прорычал он, однако сбавляя первоначальный напор. За висящий на боку «парабеллум» пока не хватался.

Минуту мы стояли так, друг против друга — я с изготовленным для стрельбы автоматом, а он, по-видимому, набираясь решимости. Но что-то мешало ему в этом, и он оглянулся. Одна-

ко не на своих притихших у калитки помощников, а за речку — на моих артиллеристов.

— Твои?

— Мои.

Наверно, мало что понимая из того, что происходило возле коттеджа, мои артиллеристы с заметным вниманием следили за всем, и, по всей видимости, это поколебало решимость старшины.

— Еще пожалеешь, мудака! — бросил он на прощание и снова перескочил через калитку.

Скорым шагом они двинулись вдоль речки, наверно, к другим строениям, а я отдал автомат Кананку и вернулся в коттедж.

Эта стычка взбудоражила меня — от прежней беззаботности мало что осталось. Я чувствовал, что на том все не закончится, последует продолжение. Каким оно окажется, нетрудно было представить. В мою жизнь вторгалось что-то тайное и в общем довольно противное. Уж не постарался ли тут наш санинструктор Петрушин? Иначе почему они с дороги сразу свернули к этому коттеджу — наверно, не потому, что он красивый. Разве в тылу мало более красивых коттеджей? Да и для развед ли роты гвардейской армии они старались?

Из рук заметно встревоженной Франи я взял гимнастерку, молча натянул на себя. Франя ни о чем не спрашивала, видно и без того понимая, что произошло у калитки и чувствуя мое состояние.

— Ладно, не бойся, — сказал я, застегивая ремень. — Мы защитим.

— Спасибо, — тихонько произнесла девушка.

— И это... Будем на «ты».

— Хорошо, Митя.

Все-таки я задержался в гостях, нельзя было так долго отсутствовать на огневой. Хотя вокруг тихо, но в любой момент могла возникнуть тревога. Опять же комбат, наверно, уже не однажды звонил Мухе, требовал меня к телефону. Медведев, конечно, выручит, скажет, что лейтенант ушел во второй расчет, где не было телефона. Но все-таки не на полдня же он ушел во второй расчет.

— Я вернусь, — сказал я Фране, которая, не выходя на крыльцо, стояла в раскрытых дверях. — Никого не впускайте.

На огневой, однако, все было как обычно в минуты тишины, без обстрела. Наводчик Степанов дымил вонючей «моршанкой», ленивый Атрошенко лежал навзничь на бруствере, свесив

на площадку длинные, в трофейных сапогах ноги. Молодой Скибов долбил под сошником лопаткой — чтобы увеличить сектор обстрела. Его работой, сидя на станине, придирчиво руководил командир Медведев.

— Глубже, глубже копни! А то как даст на откате — наводчику синяк посадит. Обед вам, лейтенант, в котелке на ящике, — сказал он мне, как всегда, ровным голосом. — На двоих с Кананком.

— Ешь, Кананок, я не буду.

Мне было не до обеда. Чувствовал, коньячный хмель еще не прошел, как не прошла и тревога от недавней стычки возле котеджа. Открытый «дожд» куда-то исчез с дороги, я и не заметил куда. Или они убрались вовсе, или шарили где-то поблизости и снова могли ворваться в особняк. Я все время поглядывал туда, хотя и не знал, что бы сделал, увидя их там. Сказав Фране не впускать, я, конечно, понимал всю ограниченность ее возможностей. Если эти захотят, их не остановить и танку. У меня уже случалась похожая встреча осенью возле Балатона в одном графском поместье, которое мы заняли после боя. Только ввалились из-под дождя под вечер в надежде погреться ночью, как во двор въехало несколько «студебекеров», и такие вот молодцы с автоматами принялись нас выкуривать в поле. Мол, выметайтесь, здесь расположится управление полковника Малеваного. Хотя, как оказалось, полковнику понадобились вовсе не холодные графские покои с портретами предков на стенах, а скорее подвалы под ними. Вытурив нас в поле, они хозяйничали там до утра, а на рассвете их тяжело нагруженные «студеры» отбыли в тыл. Простучав ночь зубами в холоде, в поле мы их провожали парой ласковых слов. Но там с нами был комбат, он принимал решение остаться или уступить. Решил уступить, может, и правильно — дешевле обошлось. Потому как, что бы он сделал с пьяной оравой, наделенной полномочиями высокого начальства? Тут же комбат был далеко, решение пришлось принимать мне. Вот я и принял. Теперь буду дожидаться последствий.

Между тем стало слышно, как в ровике заговорил по телефону Муха. Но, судя по тону, не с начальством, скорее со своим братом-связистом. Поговорив немного, громко объявил из ровика:

— Братья славяне! Войне конец!

На огневой все моментально замерли, пораженные радостной новостью, и Муха, натопырив усы, с важностью разъяснил:

— Бригадные радисты подслушали: завтра капитуляция!

- А почему начальство молчит? — засомневался Медведев.
- Еще сообщат.

Муха опять скрылся в ровике, припал к трубке — теперь отсюда ожидалась самые необыкновенные новости, от которых радостно замирало солдатское сердце, солнцем освещался весь белый свет. Это же надо — кончилась война, и ты жив, тебя не убили! Теперь ты будешь жить долго-долго. Не будешь дрожать, дожидаясь последнего, твоего разрыва, не будешь мерзнуть зимой, изнывать на солнцепеке летом, голодать и переживать несправедливости начальства. Ты вернешься домой, снова увидишь маму, встретишь свою любовь, которая даст тебе законное право на счастье. Конец войне!..

Но если конец войне, то, наверное, долго мы тут не усидим, видимо, куда-нибудь двинемся — вперед или назад. Но вперед почему-то не пускают немцы — или не знают о капитуляции? Или, что хуже, не согласны с ней? Если какие-нибудь эсэсовцы, то капитуляция обещает им мало радости — они еще повоюют...

Не дождавшись более подробных новостей, я влез в ровик и позвонил комбату. Правда ли, что уже финита?

— Будет финита — скажем. Ни на минуту не задержимся. А пока соблюдайте бдительность, — охладил мой радостный пыл комбат.

Наверно, именно так. Если приказано соблюдать бдительность, то, видимо, ничего не произошло, видно, радисты поторопились с выводами. Может, где-либо и капитуляция, но не у нас. Наши немцы будут медлить, ожидать приказа. Так же как и мы. В этом смысле ничего не изменится. Хотя и конец войне.

Если капитуляция, то, наверно, нас не оставят сидеть в этой земле. Теперь в земле уже не сиделось, и я вышел с огневой на зеленую травку рядом. Над городком и долиной лежала совсем мирная тишина, не стреляли из орудий, молчали минометы. Не слышно было и перестрелки на передовой. Все повсюду притихло, замерло. Выжидало? В самом деле, не настал ли конец этой проклятой войне? Настроение мое то вспыхивало радостью, то омрачалось тягостной неизвестностью, когда я бросал взгляд на недалекий коттедж. Меня влекло туда к Фране, и я думал: как ей теперь с ее стариками австрийцами? Надо домой. На Беларусь. Но как? Куда я ее возьму? К моим артиллеристам, на огневую? Они были бы рады, но...

Солнце закатилось за снежные громадины гор, в долину напустилась прохладная тень. Все вокруг помрачнело, сразу утратив недавнюю весеннюю привлекательность. Из-за плотного забора

лесопилки тянуло паленым, несло по ветру горьким смрадом пожарищ. Ничего поблизости, однако, не указывало на опасность, и я решился. Сказал Медведеву, чтобы в случае чего прислал Кананка — тот знает. Медведев бросил обычное «ладно», и я побежал к коттеджу.

Не успел коснуться медной ручки дверей, как те растворились, и в полумраке я увидел покорную фигурку Франи. Она ждала меня. На этот раз девушка была без своего обычного передника, в коротенькой серой кофточке, выпущенной на узкие брюки. Застенчиво улыбнулась мне.

— Капитуляция, Франя.

— Правда? А боже мой...

— Еще не официально. Но скоро сообщат.

— Неужто дождались?! — с детской непосредственностью радовалась девушка. — Надо сказать старикам.

И выбежала из вестибюля, оставив меня у застланного цветастой скатеркой столика с тремя тюльпанчиками в миниатюрной фарфоровой вазочке. Я недоумевал: что все-таки значила эта ее предупредительность по отношению к хозяевам — неподдельная преданность или внушенное чувство долга? Не успел я сообразить, как отнестись к этому, в вестибюль уже медленно вошел высокий старик-профессор со своей худенькой фрау. За ними впорхнула оживленная Франя. Хозяин, отдышавшись от, по-видимому, длинного перехода, глухо произнес что-то. Франя тут же перевела:

— Доктор Шарф поздравляет с окончанием войны и благодарит господина офицера за освобождение от фашизма.

— Это пожалуйста, — великодушно согласился я. — Теперь Австрия будет свободной.

Доктор внимательно выслушал меня, затем Франин перевод, недолго подумал и медленно, с перерывами заговорил. Похоже, говорить ему было трудно. Франя, однако, быстренько перевела:

— Старики счастливы, что дождались окончания войны, а молодым теперь придется самим строить будущее Европы. Важно не допустить ошибок.

— Да уж не ошибемся. Если до сих пор не ошиблись и победили, — выпалил я и сразу почувствовал, что перебрал — не следовало так категорично. Франя без запинки перевела мой ответ.

— Доктор Шарф говорит, что победить в войне — еще не все.

— А что же еще?

— После тяжелой войны последует не менее тяжелый мир. Божественный плод победы может оказаться горьким.

Я не совсем понимал, что он имеет в виду, этот старый профессор. Может, однако, и верно — тяжелый мир. Но уж не тяжелее, чем эта кровавая война с фашизмом.

— Он говорит, — сказала Франия, — что русские должны понять: нацизм и коммунизм есть два конца одной палки.

Такое я слышал впервые, и это показалось мне странным — одной палкой мерить Россию и Германию. У нас никто ничего подобного не говорил даже по пьянке, за такие мысли в два счета можно было лишиться погон и загреметь в штрафную. Да и странно было бы: все-таки мы воевали за свободу и независимость своей родины против немецкого фашизма. При чем тут два конца одной палки?

Озадаченный, я молчал. Наверно, почувствовав это, хозяин немного помедлил, а потом, кивнув на прощание, повернулся к выходу. Они вышли молча, не притворив за собой дверь.

— Ты посиди, я сейчас, — тихо бросила мне Франия и поспешила за стариками.

Оставшись один, я встал из-за стола, прошелся по вестибюлю. Он меня прямо-таки расстроил, этот профессор. Конечно, я понимал, что за победой последует мирная жизнь, наверно, она будет нелегкой, ведь вся Европа лежит в развалинах. Но теперь не хотелось думать об этом, все мои мысли занимала победа. Та самая, о которой мы столько мечтали в дни удач и особенно в дни поражений, когда она была так далеко, что одно упоминание о ней казалось издевательством, примитивной пропагандистской ложью. Впрочем, для многих таковой она и осталась, о настоящей они никогда ничего не узнают. Иным вот посчастливилось до нее дожить и, может, вкусить плод с ее божественного дерева. Почему он должен оказаться горьким?

Из узкого окна с высоким, как в церкви, подоконником мало что было видно, а мне все-таки надо было видеть мои орудия. И я сказал о том Фране, когда она снова вбежала в вестибюль. Удивительно, как за эти полдня переменялось настроение девушки, на глазах обретшей почти беззаботный, веселый вид. Легкая и стремительная, она все больше походила на шаловливую школьницу и тем еще больше привлекала меня.

— Идем! — сказала Франия и повела меня куда-то в боковую дверь к крутым винтообразным ступенькам. На чердак, что ли? — подумал я. Оказалось, не на чердак, а в ту игрушечную

башенку, что, будто стаканчик, виднелась издалека на черепичной крыше.

— Вот! Отсюда все видать. Вон твои солдаты.

Вид на окрестности действительно открывался чудесный — почти половина разбитого артиллерией городка, улица до поворота, задымленный, со штабелями дерева и досок двор лесопилки, мои орудия — одно сразу за речкой, другое по ту сторону лесопилки. Напротив за дорогой распростерся широкий горный уклон, поросший снизу хвойным молодняком, переходящим выше в старый сосновый лес. С другой стороны видно было не много — крутой черепичный скат крыши да вершины кряжистых деревьев, за которыми высилась голая скала горы. В тесенькой башенке было пусто, стояла лишь легкая белая скамейка, возле которой темнел выход на лестницу. Уютное было местечко, и я заволновался. Почудилось, Франя привела меня сюда не просто так, а с определенным умыслом и оттого стала еще ближе.

Я взгляделся сверху в мои позиции и не обнаружил ничего особенного. Рассевшись на станинах, солдаты, наверно, рассуждали теперь о мире, до которого все-таки дожили. Те, что постарше, конечно, настраивались на дом и хозяйство, младшие мечтали о своем — встрече с родителями, учебе и любви. В общем, все было понятно, каждому предстояло занять свое место в жизни. Победа была добыта сообща, дальнейшее, наверно, зависело от каждого в отдельности. И не зависело от войны — в чем было наше самое большое счастье.

Присел на изящную белую скамейку, Франя стояла напротив возле широких, застекленных в мелкие квадраты окон.

— Митя, ты не серчай на доктора Шарфа. Он, может, и неплохо говорит, но он напуган, — сказала Франя.

— Кем напуган?

— А кто их знает, — Франя пожалла плечиками. — Ночью какие-то явились. Трое...

— Военные? Наши?

— Не разберешь. Света не зажигали. Поднялись вверх...

— А разговаривали как? По-немецки?

— По-немецки. Похоже, однако, это не немцы. Я немножко подслушала, акцент сразу уловила: славянский.

— И что им было нужно?

— Не знаю. Мне доктор Шарф ничего не сказал. Фрау Сабина плакала.

— А ты... Тебя они о чем-нибудь спрашивали?

— Я спряталась. Меня они не нашли.

— Вот как!

Это было хуже, это что-то усложняло и вызывало во мне беспокойство. Мало того что война, фашисты, так и еще какие-то. Может, наши? Особисты? Но зачем им эти австрийские обыватели? Или они из-за Франи? Но она-то зачем понадобилась? Или мешала им? Чего-то несомненно важного я понять не мог и терялся в догадках.

— А этот твой Шарф точно не фашист?

— Он ненавидит фашистов. В Ганновере, бывало, как бежим в бомбоубежище, так он их ругает. Представляешь: не англичан, которые бомбят, а своих, немцев. Когда те не слышат...

— Ну когда не слышат, можно и поругать, — сказал я. — Садись сюда, рядом.

Франя нерешительно опустила на край скамейки. Настроение ее заметно омрачилось, и было ясно отчего. Хотя я до сих пор был настроен иначе, после ее сообщения о прошлой ночи тоже немало встревожился. Из-за Франи, конечно. Чувствовал, — что-то угрожало ей. Девушка между тем стала рассказывать:

— Там, в Ганновере, бомбили каждую ночь, алярмы с вечера до утра. В городе ад, все горит и рушится. Цивильное население спасается в бомбоубежищах. Бывало, что бомбоубежища рушились и все погибали. Правда, мои старики никуда без меня. Только загудит, зовут, и вместе спускаемся в подвал...

— А что у них — свой дом?

— Квартира в большом доме. Правда, квартира немалая, а я одна — и за горничную, и за кухарку. Работы уйма. Но старалась. Сначала присматривались ко мне, что умею. Я и правда не много умела. Училась, хотела понравиться. Потому что как же иначе жить у чужих? Надо угождать. Так мама когда-то говорила. Ну что сделаю не так — не ругали, не наказывали, как некоторых. Фрау Сабина расскажет, покажет. Разве я эти дверные ручки дома когда-нибудь чистила? Да у нас их и не было, таких блестящих. А здесь требовалось, чтобы все было чисто и красиво.

На тесной скамейке Франя сидела близко от меня, но я двинулся еще ближе, и она не отстранилась. Мои блудные руки перехватила в свои и цепко удерживала на коленях.

— Так ты у них за прислугу? — слегка разочарованно спросил я.

— Ну конечно, а для чего же они меня взяли. Хотя разная бывает прислуга, как и разные хозяева. В Ганновере через улицу жила Клава, тоже оловца. Каждый день плакала от своей хозяйки. Погибла в бомбежку. Молоко кипятила, начался налет, несколько минут надо было обождать, пока молоко закипит для малого. Опоздала в укрытие, ну и завалило. Вместе с малым. А мать уцелела. Успела с шестого этажа сбегать вниз. Когда наш дом рухнул, выбрались мы на улицу с пустым термосом и одним плодом. Больше ничего — ни дома, ни имущества. Что делать? Другие себя бы спасали, а мои никуда без меня. Какое-то время жили в банковской конторе, потом в солдатском бараке. Пока документы прибыли из Австрии, и они переехали. Меня тоже взяли. Денег почти не было, фрау заложила свои сережки, старинную брошку. Правда, кое-что получили из наследства.

— Ну хорошо, — сказал я. — А язык? Где ты научилась так по-немецки? В школе?

— Немного в школе, конечно. Но в основном здесь. Умела слушать. Слух, кажется, есть, мама когда-то к музыке приучала. Да и фрау Сабина немного понимает по-польски.

— А ты тоже можешь по-польски?

— Немного могу. Мама католичка, это же по имени моему видно. Католики, хотя и белорусы, по-польски все понимают. А ты православный?

— Кто знает? Может, и некрещеный. Родители — учителя, разве они могли решиться сына крестить?

— Ты посиди, — вдруг выпустила мои руки Франия. — Я скоро вернусь.

И скрылась в сумраке люка-лаза, снизу лишь донесся мягкий отзвук ее шагов по доскам-ступенькам, и где-то негромко стукнула дверь.

Я поднялся со скамейки, снова осмотрел через окна городские окрестности. По дороге из-за угла полуразрушенного дома, где я так позорно грохнулся с велосипедом, быстро промчался трофейный «хорх» — не тот ли, на котором ездил бригадный особист? — и я с досадой подумал: откуда он? Из первой батареи или из пехоты? Кончается война, а этим все неймется, все мечутся, кому-то что-то готовят. В общем, мне на них наплевать, грехов за собой я не числил — в плену не находился, на оккупированной территории не проживал. Из харьковского окружения вышел не один, а в составе группы, и тот эпизод моей войны уже исследован ими вдоль и поперек. В этом отношении я был спокоен. Но, наверно, не очень тревожился и командир

взвода связи Витя Лежневский, которого месяц назад арестовал «смерш». Как-то подвыпив в кругу друзей, позволил себе порассуждать о несправедливости к окруженцам, которых после освобождения всех без разбору гнали в штурмбат. Ребята потом считали, что сам виноват, не надо было трепаться. Вообще-то мы не трепались. Если собирались где-либо в землянке и выпивали, речь шла больше про бои, или горланили песни, кто как умел. Разговоров о политике благоразумно избегали, особенно старшие из нас, которые кое-чему были уже учены.

Над городком вечерело, долина погрузилась в прозрачный вечерний сумрак, лишь горные вершины вдали еще поблескивали дальним солнечным отсветом. На фоне умиротворяющей ясности неба этот их блеск казался нездешним, воздушно-прозрачным, хотелось смотреть на него не отрывая глаз. Любоваться вечерней прелестью гор, слушать драматическую исповедь девушки, которую я готов был полюбить. Если бы не война. Но если бы не война, где бы я встретил ее? Странно, именно проклятая война помогла мне найти ее тут, вдали от родины, среди чарующей альпийской природы. Как бы война и не развела нас, вдруг не в лад со своим настроением подумал я, сразу, однако, отогнав от себя недобрые мысли.

Почти беззвучно в башенке появилась Франя. Она держала в руках небольшой бумажный пакет, разорвала его и положила передо мной что-то пахучее.

— Угощайся. Точно как наши до войны.

Это были конфеты, знакомые с детства «подушечки». Наверно, не очень свежие, немного слипшиеся, и Франя отделяла их по одной, протягивая мне. Действительно, несмотря на не очень презентабельный вид, конфеты, как и в детстве, оказались душистыми, сладкими.

— Сорок копеек сто грамм. Помнишь?

— Как же! В сельмаг бегали на переменке.

— Я еще любила ириски.

— А все же, откуда ты родом? — спросил я.

— Да из Минска. Там родилась.

— И давно оттуда?

— Из Минска давно. Из Минска перебралась в Червень, оттуда уже меня привезли в Германию. В общем, повезло. Иначе давно погибла бы. Как мои девчата.

— Это где?

— На химических заводах в Руре. Все пятеро червенских.

— А ты?

— Мне иная выпала судьба, а может, случай помог. В каком-то городке под Ганновером нас распределяли. Ну построили в шеренгу, пришло какое-то начальство, в форме и в цивильном, стали вызывать, кого куда. Первыми за нас взялись военные, офицеры вермахта. Как потом оказалось, это были отпускники с фронта, они выбирали в свои семьи обслугу. Я была самая маленькая, самая бедно одетая. А они подходят, сытые такие, откормленные бугаи, два в форме эсэс и третий офицер-танкист, молодой такой, невидный из себя парень. Эсэсовцы выводили девчат, что покрепче, покрасивше, а этому танкисту таких уже не осталось. И вот он подходит ко мне, говорит «ком». Я едва не упала, так он строго поглядел на меня, и голос такой у него, ну чисто солдатский, как на плацу. Так меня и оформили в семью доктора Шарфа. А танкист тот был их сын, лейтенант Курт Шарф. Дома он совсем другим оказался, — тихий такой, вежливый. Только очень печальный, будто что-то предчувствовал. Через два дня поехал на фронт, а через две недели погиб в танке. Если подумать, так это же он меня спас. Иначе и мне бы погибнуть на той их химии.

— Однако, история! — сказал я под впечатлением от Франиного рас- сказа. — Действительно выручил тебя Курт.

Франя ровненько сидела, опустив на колени маленькие, с острыми локотками руки.

— Я долго еще не верила своему счастью, все ждала: что-то должно же случиться, что-то ужасное. Ну не может так быть, чтобы в такое время все было хорошо. Вот и бомбежки начались, и дом разбомбило. Сюда переехали. А здесь что? Неужто здесь от войны убереглись? Нет, и сюда война докатилась. Все-таки она преследует меня. Настигает.

— Теперь уже ничего не случится. Теперь главное — вернуться домой. Правда? — спросил я и насторожился в ожидании ответа. Франя озабоченно вздохнула.

— Конечно, кто же не хочет домой. Вот только где он, тот дом, кто там ждет тебя? Меня никто там не ждет. Ни знакомых, ни даже ребят-одноклассников. Сплошь незнакомые — и тут, и там...

Без знакомых, конечно, плохо, но знакомые скоро появятся. Правда, лишь новые знакомые, которые не могут заменить прежних друзей и знакомцев — это я знал по собственному опыту. Хотя прежде о том и не думал. Франя вот думала; по-видимому, она несколько иначе относилась к своему прошлому. Что ж, в общем она была права, думал я.

Незаметно за разговором мы съели все принесенные Франей конфеты. Я придвинулся еще ближе, и Франя не отодвинулась — уже было некуда.

— Бедная девчатка, — вырвалось у меня с полушутливой искренностью, и неожиданно для себя я поцеловал ее в щеку. Франя на мгновение замерла и вдруг содрогнулась в непонятном, беззвучном плаче.

— Ну что ты? Ну что? — испуганно повторял я, целуя ее мокрое от слез лицо, которое она упрямо закрывала руками. Потом стала успокаиваться, притихла и беспомощно улыбнулась сквозь слезы.

— Ты извини меня...

— Ну, ничего, ничего. Успокойся...

— Извини, пожалуйста. Я уже сто лет не плакала. Знаешь, неплохо они ко мне относятся, но не могу же я заплакать при них. Потому что не знаю, как отнесутся. Все-таки это слабость, и хочется сочувствия. Два года в одиночестве. И вдруг ты... Надо было... Извини меня, Митя!

— Я понимаю, успокойся...

Помалу она овладевала собой, пригладила ладошкой растрепавшиеся волосы и стала еще более понятной мне и близкой.

— Это же надо! — еще сквозь слезы улыбалась Франя. — Бедная моя мамочка. Если бы она дожила до этого часа. Все выбирала для меня ребят. С кем ни пройдуся, так она: то чересчур длинный, то короткий, то смешно носом шмыгает. А тот неприметный, а другой не комсомолец. Ты же комсомолец, наверно? — спросила она совсем уже весело.

— Комсомолец, комсомолец, не тревожься, — полушутя сказал я. — А что мама — партийная?

— Была партийная.

— А отец?

— Отец? — переспросила Франя и замерла, собираясь с ответом. — Отец враг народа. Вот так! В тридцать седьмом взяли и пропал. Мама потом отказалась от него — ради меня. Да и ради себя тоже. Еще молодая была, красивая.

— Отец руководителем был?

— А то как же! В органах работал. Еще с революции. Он же с Дзержинским в одной тюрьме сидел. Дзержинский его и в Минск направил. Работал, старался, мы его почти и не видели. Только однажды, помню, был выходной или, может, праздник какой. Поехали на речку рыбу ловить. Правда, ловил один папа с удочкой, мама на лужку цветы собирала, а я бегала по отмели,

мальков разгоняла. Очень мне это нравилось. Потом просила отца — съездим еще. Он обещал, но все не получалось — некогда и некогда. А однажды говорит: сегодня на работу не иду, буду отдыхать. Сел на кровать и сидит. Я стала приставать: поедем на речку. А он в ответ: нет уж, не поедем. Досидел так до ночи, а ночью его и взяли. Так и не пришлось мне съездить на речку.

Серые сумерки плотно окутали башню, черепичную крышу, окрестности. Уже не стало видно ни городка, ни гор, ни дороги. Исчезли из виду и мои позиции. Городок потонул в туманном полумраке, лишь дымы от пожарниц светлыми космами тянулись куда-то над крышами домов.

— И я своих за сорок первого года не видел. Не знаю, живы ли, — сказал я, невольно проникаясь ее заботой.

— У меня никого не осталось. Маму немцы повесили в Минске. Как партизаны их гауляйтера подорвали, немцы стали хватать подпольщиков, партизан да и простых обывателей. И маму схватили тоже.

— А ты как же? Одна...

— Одна, с кем же еще... Жили на квартире в Грушевском поселке, это на краю Минска. Квартирная хозяйка, правда, оказалась неплохой женщиной, в гестапо меня не сдала. Но у самой трое ребят, мужа нет. Есть нечего. Привезла из района мешок картошки, скоро его съели. Продали, что можно было продать. Я последние варежки снесла на базар, что мама перед войной связала. Может бы, и дальше как-то тянули, да, на беду, к соседям стали на квартиру два полицая. Ну и один, Винцесь, стал к нам навещаться. Пьянчуга такой, противный, наглый, не было от него спасения. Притащится, сидит до полуночи, глупости болтает, а то начнет приставать. Я уж отшивала его, как умела, да и хозяйка старалась — ничего не помогает. Влюбился, говорит.

— Понятно. Пригожая девчонка.

— Вовсе не пригожая. Это сейчас немного... А тогда — гадкий утенок.

— Не прибудняйся, — шутливо упрекнул я.

— Не прибудняюсь, знаю, чего стою... Тетка Марья говорит: давай отвезу тебя к дядьке в деревню. У него дочь — тебе ровесница, будете вместе. Хотя бы до весны, а там посмотрим, может, и война закончится. Как-то в воскресенье поехали на санях — далеко, аж в Червень, а там еще километров шесть. Приехали ночью, постучались в окно. Дядька открыл, хозяйка стала объяснять, что и как, просить. Я все это слушаю... Как-то уговари-

ла она его, назавтра уехала, а я осталась. Незнакомая, чужая у чужих людей. Зоська и правда почти мне ровесница. Ну с этой мы вроде сдружились, ничего была девка, не злая. Только недалекая, страх! К ребятам ее тянуло, словно магнитом. Так до весны дожили. А весной загудело в округе — пришли партизаны. Стали в нашу деревню наведываться, налаживать связи. Ну и некоторых ребят сагитировали, а за ними и девчат. Зоська, правда, осталась, отец не пустил. А меня не пускать было некому, ну и побежала в партизаны. Началась лесная жизнь. Сначала даже понравилось: лес, птички, цветы-ягодки. Отряд назывался «Большевик», командир — бывший пограничник по фамилии Сокол. Дня через три ставят меня в караул — на опушке леса возле кладки. Винтовку длинную дали — выше меня, проинструктировали относительно бдительности. Ночью стою, боюсь. А тут приходит караульный начальник, тоже из пограничников — ну, на проверку. Проверил, задал вопросы, я все правильно ответила, а он не уходит. То да это — вижу, начинает подъезжать самым похабным образом. Что мне делать? Кричать, что ли? Кричать нельзя. Как-то от него избавилась, пригрозила, что пожалуюсь комиссару. Вроде отцепился. Конечно, ни к кому жаловаться не пошла, а вскоре все началось по-новому. На этот раз сам командир отряда. Не откажешься же, когда приказывает идти куда-то, что-то исполнять. Идешь, а он с адъютантом следом. Вернусь, а он: почему не исполняешь приказ? За неисполнение приказа — расстрел на месте. После перехода с усталости завалимся где-нибудь в ельнике, сразу в сон. А он ночью подкатывается, ну и... Закричу, ругается: почему демаскируешь группу? За демаскировку группы — расстрел! Это были не обычные партизаны, как потом узнала — отряд особого назначения. Все ходили по кругу. Нашей задачей был Минск, туда девчат посылали, оттуда они к нам возвращались. Но больше посылали, чем возвращались. Не вернулась Тоня Быстрова, Воля, Женя-хохотушка. Комсомолки все. Ну, и я тоже комсомолка. А начальниками над нами ребята, а то и дядьки уже в возрасте. Те почти никуда не ходили — за другими следили. Чтобы не дай бог без ихнего ведома — никуда. И не прочь были попользоваться девчатками. Заместитель командира Кошельников все говорил: что ж такого — возле колодца жить и воды не напитокся? Трутень такой мордатый! Как не вернулась Женя, моя подружка (тоже минчанка, в Колодищах до войны жила), вызывают меня в шалаш к командиру. Тот самый Сокол и говорит: тебе задание — пробраться в Минск, организовать явочную квартиру,

будешь ее обслуживать. А где я ее организую? Хотя бы у своей хозяйки, у которой на квартире жила. Как вспомнила у тетку Марью и ее троих малых, муторно мне стало. За себя уже не боялась — за них. Это же на явочной квартире и моя мамочка попалась. Пошла на явку в Слепянку, там ее и взяли. Может, кто выдал, может, выследили. И повесили. И хозяина, и всех его домочадцев — шесть человек. Ну что мне делать? Отказаться нельзя, за отказ, конечно, расстрел. Однако пытаюсь выкрутиться, говорю: там же дети малые. А он мне на то: детей жалко? А на советскую родину тебе наплевать? Я говорю: хозяйка меня не послушается. А он: не с хозяйкой, так с полициями поладишь, они очию до таких пригоженьких, наверно, сама знаешь? Намекает на что-то. Гадко мне стало, возненавидела его, но что делать — не знаю. В тот день не послали, группа меняла дислокацию, обходила по лесам Червень. Как-то отошла в сторонку, бросила в траву винтовку и — в свою деревню. Уже недалеко было. А в соседней деревне уже полицейский гарнизон стоял. Что я в партизаны пошла, здесь мало кто знал. Думали: минчанка, ну, может, в Минск и поехала. Да и пропартизанила я, может, месяц, не больше. Пошли с Зоськой сено сушить на болото. Летом оно и неплохо, ягоды поспели. Как-то под вечер шесть копен нагребли, домой собираемся, вдруг видим: бежит Зоськина мама, говорит: приезжали двое верховых, все везде перерыли, тебя ищут. Не ходи домой — прячься. Ну, мы с Зоськой и зашились в стожку. Дней пять просидели на том болоте, тетка хлеб с молоком приносила, ягоды собирали. Но пошли дожди, Зоська закапризничала: хочу домой. И пошла, а я еще несколько дней оставалась. Хотя тоже долго не выдержала, вернулась в деревню, несколько дней в овине скрывалась. Тут стали забирать в Германию, и на Зоську выпал наряд. А Зоська не хочет. Отец бегаёт к старосте, к полицаям, известно, одна доченька, жалко. Как-то поужинали, и дядька говорит: Франя, может, ты бы вместо Зоськи пошла? Все-таки одна, что тебе? Если что случится, переживать некому будет, — сирота. Опять же, поумнее, чем Зоська. Ну что ж, думаю, если иного не выпадает — пойду. Будь что будет. И пошла, за себя или за Зоську уже не думала. Посадили в телятник и с такими же неудачницами, как я, повезли в Германию. Настрадалась, нагоревалась, пока вот не попала на глаза Курту. Ты говоришь: пригожая, да и люди мне о том иногда напоминают. А знаешь ли, сколько раз я проклинала эту свою пригожесть, сколько из-за нее натерпелась! Думала иногда: лучше бы мне родиться уродиной, может,

счастливей была бы. Да еще характер такой, доброты и сочувствия хочется.

— Ну какая в войну доброта? Тут озвереть можно, — сказал я.

— И все же не вывелась еще доброта. Вот вспоминаю свою грушевскую хозяйку, да и на Червенщине...

— Ну а тут? В Германии?

— Да и в Германии есть. Чаше среди тех, кто постарше. Кого нацизм не успел испортить.

— А ты сама как — добрая? — спросил я и притих в ожидании ответа. Это для меня было важно.

— Вряд ли. Только стараюсь. Все-таки мы отсюда, где были жестокость, непримиримость. Они крепко сидят у нас внутри. Знаю, плохо это, а что сделаешь? Натура сильнее разума, как говорит доктор Шарф. Вот и к правде себя никак не приучу. Особенно если правда колючая. Чаше удобной неправды хочется, как-то приятнее.

— Удобное завсегда приятнее. Даже сапоги, которые не жмут, — неуклюже сострил я.

— Главное, в удобную ложь всегда легко верится. Она сама на душу ложится. Вот ты сказал: красивая, и я уже растаяла. Уже за одно это готова тебя полюбить.

— Правда?

Эти ее слова и для меня были приятны, и я готов был ответить ей тем же. Тихонько засмеявшись, Франя прильнула ко мне.

— Но ведь я без всякого умысла. Ты же и в самом деле красивая...

— Когда рядом нет красивее, — шутя закончила она.

— А еще и уменькая.

— Какой уж там ум! Говорят, что несчастная девушка умной не бывает. Несчастье съедает весь ее ум. Красоту тоже.

— Зачем ей ум, если есть красота? — смеясь сказал я.

— Я где-то читала, что для того, чтобы поумнеть, надо почувствовать себя глупой. Вообще ум — не самое главное в человеке. Умным может быть и подлец.

— А что, по-твоему, главное?

— Человечность. То, что от Бога, а не от дьявола. Или от обезьяны, как дарвинисты считают. Все-таки у нас мало божеского. Или еще не приобрели, или растеряли.

— А у немцев больше — божеского?

— Знаешь — больше. Несмотря на их нынешнюю жестокость. Все-таки они дольше под Богом жили. Опять-таки они

Бога искали. Протестанты, например. Бог был им нужен. А мы своего забросили да так и не нашли.

— Пусть они и с Богом. А мы все равно победили их.

— Победить, наверное, можно, — не сразу отозвалась Франя. — Но вот как жить без Бога? Ни один народ не живет без Бога. Наверно, это нельзя. Без Бога он сам себя съест.

— Мы же вот живем без Бога, и ничего. Не слопали друг дружку.

Франя на минуту примолкла, что-то обдумывая или, может, не решаясь мне возразить. А потом тихо скороговоркой:

— Знаешь, довольно успешно ели. Классовая борьба — разве не самоедство? Хотя спасает то, что нас много. Не так скоро всех можно съесть.

Я начинал соглашаться с ней. Чувствовал, что ее знания глубже моих, она больше размышляет о жизни. Наверно, не остались без внимания и профессорские книги в переплетах, которые я видел в вестибюле. Не очень приятно было мне признавать ее превосходство над собой, но оно было очевидно. Прежде полагал, что кое-что смыслил в жизни, неплохо учился в школе, прочитал какое-то количество умных книг. Читал и на фронте. Среди друзей-ровесников слыл парнем неглупым. Правда, кто были эти друзья и о чем были наши разговоры? В большинстве это такие же вчерашние школьники, окончившие ускоренный курс военных училищ и в свои девятнадцать лет брошенные в мясорубку войны. Наши разговоры не выходили из круга своего военного опыта, в общем далекого от обычной человеческой жизни. О жизни мы почти не разговаривали — ее у нас, по существу, не было. Не было в нашем коротеньком прошлом, очень смутно просматривалась она в нашем послевоенном будущем. Порой невероятно трудно было дожить до вечера, где уж там рассчитывать на годы и рассуждать о доброте, мудрости и Боге. Чтобы рассуждать о Боге, следовало кое-что знать о нем. Но что мы знали о нем, кроме того, что Бога нет? Франя же здесь, похоже, оказалась в ином положении, обрела новые, может, неожиданные истины, с которыми ей легче становилось жить. И правильно, думал я. Все-таки женщины устроены иначе, чем мужчины, по-иному относятся к жизни, — возможно, оттого, что рождаются не для войны. И в этом их жизненная сила.

Конечно, рассказанное Франей впечатляло и некоторыми фактами из невеселого ее прошлого. Партизанские будни в отряде особого назначения и ее уход из него. Чувствовал, что так

откровенно может поведать о себе лишь честный, доверчивый человек. И не осуждал ее. Знал, какие хамы и жлобы встречаются среди нашего брата военного, имел представление о начальниках, которые не прочь повоевать чужими руками. За счет чужих жизней. В партизанах, наверно, тем более. Некоторые из бывших партизан рассказывали, что в тылу врага — вообще рай для таких: делай что хочешь, по радио вешай лапшу на уши начальству — пусть приедет, проверит. Впрочем, и начальство в Москве заинтересовано в такой лапше — для собственной корысти и в интересах пропаганды. Вот и совершали подвиги такие, как Франя, девочки, которых по одной и десятками бросали в ненасытную пасть войны. Новых всегда хватало — они любили родину и летели на войну, словно мотыльки на огонь.

— Знаешь, я никогда особенно не думала о Боге, — сказала Франя. — Росла как все — атеисткой. Пока тут, в Германии, не попала на мессу. Услышала орган, «Аве Марию» — и все во мне перевернулось. Поняла: есть Бог. Его просто не может не быть. Иначе зачем тогда мы? Потом прочитала Евангелие...

Что ж, может, и правильно, думал я. Жаль, что все это обошло меня стороной, но теперь появится возможность, все-таки, наверно, останусь жив. Молча я обнял девушку, и она не отстранилась. Кажется, уже доверилась мне, хотя что-то еще не до конца преодоленное сдерживало ее, мешало ответить на мои настойчивые ласки. Наконец несмело Франя поцеловала меня и замерла. Я замер тоже.

Это был первый в моей жизни поцелуй девушки, прежде ни одна из них еще не целовала меня. Кажется, он был знаком готовности полюбить, и это воодушевляло мою любовь тоже. Я почти захмелел — даже больше, чем от профессорского коньяка. Уже любил ее и был благодарен судьбе, которая свела меня с этой удивительной девушкой. Чувствовал себя сильным, удачливым и невольно дал волю рукам. Франя, похоже, стала расслабляться, поддавалась моей мальчишечьей власти. Но вдруг встрепенулась, попыталась высвободиться. Я удержал ее — не мог отпустить.

— Ну что ты? Ну что?..

— Не надо, милый. Пожалей меня — я же сирота...

Эти ее слова подействовали на меня отрезвляюще. В самом деле, что же это я? Как же?.. Я ведь люблю ее. Молча продолжал держать ее в своих объятиях, и она не вырывалась. Кажется, готова была смириться со своим пленом, только слабым голосом просила:

— Пожалей меня...

Ну конечно, я тебя не обижу, я же справедливый и люблю тебя...

Уже понял: она не дает задремать разуму. Думает, что и я тоже не такой, как те, что встречались на ее пути. Люблю ее и жалею. Прежде всего, может, жалею. Или нет — прежде люблю. А любовь — всегда сила, если умеет постоять за себя. Я привык уважать силу.

Глухой стук внизу не сразу долетел до нашего слуха, сперва показалось, что это где-то стреляют. Франя напряглась в моих руках и вскочила.

— Митя!

— Это за мной, — догадался я.

Едва не сломав себе шею, я скатился вниз по узкой и темной лестнице, на ощупь отыскал в вестибюле двери, в которые отчаянно стучали снаружи.

— Товарищ лейтенант...

Франя отодвинула тяжелый запор, выскочил на двор, и Кананок объявил:

— Комбат вызывает!

— Что такое?

— Сказали, сниматься.

Все понятно, этого и следовало ожидать...

В серых сумерках ночи мы добежали до огневой, на которой уже толпился расчет, и Медведев тихо объяснил:

— Приказ — свертываться. За машиной послано, сейчас приедет. А вас комбат требует.

Я влез в темный ровик, на ощупь перехватил из рук Мухи телефонную трубку.

— Ты где там блудишь? — прозвучал встревоженный голос комбата. — Целый час тебя ждать надо. Сейчас же сворачивай боевой порядок, грузи боеприпасы и — на дорогу. Ждите меня.

Начиналась обычная лихорадка поспешных сборов. С тусклым светом подфарников на огневую приполз громадный «студебекер», другой побрел вдоль забора к соседнему расчету. Этот стал разворачиваться, через откинутый борт солдаты принялись грузить тяжелые ящики снарядов, брезент, оружие, разное солдатское барахло. Работали радостно и споро, похоже, чувствуя, что двинемся не в бой — а из боя, туда, где уже окончилась война. Дождались наконец, и все живы-здоровы. Разве не удивительно? Чудо!

В моей душе просто хаос чувств — радость победы перемежалась с тревогой разлуки. Знал, чувствовал, что уйдем отсюда, но куда? Далеко или близко? Жаждал вернуться сюда, хотя бы на час, на пятнадцать минут. Я же ничего не сказал ей. И ничего не услышал от нее.

Пока дожидались второго орудия, я не вытерпел, выбежал на пустырь и припустил к коттеджу. Калитка в этот раз была не заперта, только я вскочил на крылечко, раскрылись двери. На пороге стояла Франя. За ней угадывались две тени стариков.

— Франя, мы уезжаем!

Девушка молчала.словно неживая, не двигалась.

— Мы уезжаем! Ты жди! Я вернусь...

Из темноты вестибюля на меня смотрели хозяева, и я, застенчившись, даже не поцеловал ее. Только торопливо обнял за плечи в тесных дверях и отпрянул. Не мог тут задерживаться — на дороге, слышно было, начиналось движение, пошли автомашины. У некоторых светились фары, чего прежде никогда не бывало. Что ж, наверное, в самом деле война окончилась. Я перебежал мостик и вскочил на широкую подножку «студебекера», с моим последним орудием вырвавшегося на шоссе.

Над горной долиной светало; прояснилось небо, на его восточной окраине тусклыми зубцами вершин обозначились горы. Ближняя гора за коттеджем все еще проступала как сплошной черный массив — скала и деревья под ней. Лишь серый кубик коттеджа светлым пятном выделялся на мрачном, слитном в единое фоне. Издали я вглядывался туда, стараясь рассмотреть маленькую фигурку у входа, но ничего увидеть не мог. Еще бы полчаса постоять тут... Но долго стоять нам не дали.

Бестолковая суматоха властвовала на дороге: одни машины подъезжали, останавливались, другие, обойдя их, бешено мчались дальше. Старшие офицеры подгоняли — скорее, скорее! Комбат накричал на меня за опоздание, хотя и после того, как я прибыл с двумя орудиями, батарея еще несколько минут стояла на месте. Чего-то ждала. Крики же и понукания комбата были делом привычным, обижаться на них не следовало. Обида и сожаления донимали меня из-за другого, и это другое оставалось позади. Как будто что-то предчувствовала моя душа, да не могла четко представить. Лишь ныла какой-то неотчетливой болью.

Полк суетно и поспешно вытягивался в походную колонну. Мимо «студебекеров» с орудиями на прицепе промчался «виллис» командира бригады, который что-то прокричал из маши-

ны, но я не понял, что именно. Мое внимание в это время отвлек комбат, в утренней полумгле стоявший впереди на дороге. Рядом с ним откуда-то возникла знакомая кругленькая фигура всегда оживленного полкового «смершевец». Трофейного «хорха» его начальника, однако, не видно было. Офицеры о чем-то недолго поразговаривали, хотя, кажется, больше говорил «смершевец», комбат озабоченно слушал. Затем оба враз обернулись назад, будто высматривая кого-то в колонне, подумалось: не меня ли? Но, может, лишь показалось это мне; разговаривая, офицеры продолжали стоять на месте. Затем «смершевец» расстегнул планшетку, обычно висевшую на его боку, что-то коротко пометил в ней, туда же заглянул и комбат. Что он записывал там, что выкопал этот неугомонный истребитель шпионов? — раздраженно подумал я. Интересно, однако: поймал ли он за войну хотя бы одного? Настоящего шпиона, не вымышленного, вроде нашего безобидного болтуна Лежневского. Я подумал, что надо подойти к комбату, спросить, зачем тот приходил. Но не успел. Подали команду «По местам!», и офицеры поспешили к машинам.

Наконец как-то неуверенно, с остановками двинулись разбитой улицей городка в сторону недалекой передовой. Пока я высматривал «смершевец», в кабину моего «студера» влез пассажир — наш полковой пропагандист с мудреной фамилией, которую я не мог запомнить. Я вынужден был взобраться на плоское крыло возле фары, как не однажды приходилось на передовой. В теплое время тут было не хуже, чем в кабине, да и сподручнее при внезапном обстреле соскочить наземь. Перед тем как двинуться, никто из командиров не сказал ни слова, но если поехали открыто, значит, немцы не сопротивлялись, подумал я. Они исчезли. За полуразрушенными домами окраины переехали линию окопов нашей пехоты, которой там уже не было, затем немецкую линию. Немецкие окопы свидетельствовали о поспешном отступлении — на брустверах и возле траншей валялось множество военного имущества: термосы, оружие, ящики боеприпасов; у самой дороги стоял на сошках изготовленный к бою пулемет, снаряженная лента свисала из него на дно окопа. Но солдат нигде не было видно — ни живых, ни убитых. По всей видимости, расстреляв вчера боекомплект, они подались на запад. На встречу с американцами. Встречаться с нами явно не желали.

Уже совсем рассвело, хотя солнце из-за гор еще не показывалось, и в горной долине лежала прохладная тень. Мы не бы-

стро ехали по асфальтовому шоссе на запад, миновали первый, не тронутый войной городок. Где-то из-за громоздких черепичных крыш и старых с узловатыми сучьями деревьев выглядывала островерхая башня ратуши. Людей было мало, но всюду из окон и балконов свисали белые простыни — знаки капитуляции. Потом стали появляться и люди — старики и дети, женщины; из открытых окон они махали нам, улыбались, а некоторые, видать было, плакали. От радости, конечно. Австрия — не Германия, она тоже немало натерпелась под немецкой оккупацией, и люди сдержанно радовались освобождению. Солдаты из кузовов махали в ответ, выкрикивали самое теперь популярное «Гитлер капут!» и еще что-то даже скабрзное. Всем было весело, хотелось дурачиться — войне наконец-то пришел конец!

За городком дорога свернула в гору, начались повороты — вправо, влево. Сверху видать было, как вдали все шире расстилалась горная долина с извилистой речкой, разбросанными по склонам деревнями и дорогами. Вдруг на голом уклоне колонна остановилась: невдалеке за поворотом послышались орудийные выстрелы; все насторожились. Я соскочил с крыла, ожидая, что сейчас последует боевая команда, может, придется отцеплять орудия. Но никакой команды не подавали. Офицеры выходили из машин, встали на обочине, вглядывались вперед. Некоторые проходили дальше, где было начальство и откуда послышались эти неожиданные выстрелы. Что там происходило — неизвестно. Я также прошел немного вдоль батарейных машин и увидел впереди своего комбата. Вместе с командиром первой батареи он всматривался в голову колонны — наверно, также в ожидании какой-то команды. Эти два офицера, два капитана, с виду были очень непохожи друг на друга — маленький и худощавый, словно ошипанный цыпленок, комбат-один и похожий на цыгана, коренастый комбат-два. Из их негромкого разговора стало понятно, что нас обстреляла немецкая самоходка, которая, однако, тут же и смолкла. Наверно, экипаж ее теперь уже далеко, так что не стоило волноваться, скоро поедем. И точно, вскоре донеслось: «По машинам!» Командир первой батареи шустро побежал к своим «студебекерам», а мой немного задержался, все еще всматриваясь в даль.

— Капитан, хочу спросить...

— О чем? — недовольно обернулся комбат.

— Что это особист утром выслеживал?

— А ты не знаешь что? — круго повернулся ко мне командир батареи. — Не чувствуешь?

— Не чувствую, — сказал я, начиная догадываться.

— С какой это землячкой ты там снюхался?

Я опешил — так оно и оказалось, как я предполагал. Ждал, что еще скажет комбат, но, похоже, он уже пожалел, что и без того сказал много. Выждав, однако, добавил:

— Опять же, родители твои где? На оккупированной территории проживали?

— Проживали, ну.

— Вот тебе и ну! — неопределенно закончил комбат и пошел к машине. Впереди уже заурчали моторы, колонна трогалась.

Я бегом вернулся к своему взводу и опять взобрался на крыло «студебекера». Настроение мое было хуже некуда. Кроме проблемы с землячкой появилась и новая — родители оказались на захваченной врагом территории. Но что я знал о своих родителях? Думал, приеду после войны, буду искать. После освобождения Беларуси, озадаченный их молчанием, написал в райком партии, но ответа не получил. Написал в область и стал ждать. Но опять глухо. Комбат, конечно, был в курсе, я ему рассказывал. А он, видимо, передал мой рассказ выше. Теперь в общем неплохие отношения с ним, наверно, ухудшатся, он явно стал по-другому относиться ко мне. Как только что выяснилось, после сообщения «смершевца»...

Мы двинулись дальше и вскоре увидели самоходку, ту, что обстреляла нашу колонну. Экипажа ее там уже не было, самоходка стояла брошенная на горном склоне за речкой. Впрочем, нам вреда она не причинила, второпях ни в кого не попала. А на другом повороте под обрывом лежала наша опрокинутая «тридцатьчетверка», горный поток весело плескался возле ее орудийной башни. Похоже, там остались и танкисты — видно, чересчур спешили к победе.

Мы снова съехали в долину, на более ровные места, машины прибавили скорость. Я все сидел на крыле, держась за обрешетку фары. И вдруг мы увидели немцев. Немалая колонна немецкой пехоты на обочине дороги равнодушно пропускала наши автомобили. Утомленные, исхудавшие, обросшие щетиной лица, беспорядочно разбредшийся строй. На спине, на плечах, в руках скатанные одеяла, шинели, сумки с походным имуществом, но без оружия. Уже разоружились, будто пленные. Или подготовились к плену. Офицеров что-то мало — лишь кое-где обочь колонны топал с безразличным видом какой-нибудь

лейтенант или обер-лейтенант. Наши солдаты из машин злорадно кричали им «Гитлер капут!». Немцы, почти не реагируя на выпады вчерашних противников, топали себе дальше. В ответ наши хитрованцы, вскидывая руку, орали «Хайль Гитлер!». И некоторые из немцев, наверно по привычке, отвечали им «Хайль», машинально поднимая вверх руку. Как только из их рукавов на запястьях показывался ремешок от часов, наши стучали о верх кабины, шофер тормозил, кто-то соскакивал на дорогу и через минуту возвращался с часами, а то и с несколькими в руках, уже на ходу цеплялся за борт «студебекера». Командиры стали на удивление покладистыми и на все смотрели сквозь пальцы, некоторые и сами высказывали из машин. Мой майор-пропагандист тоже два раза вылезал. В первый раз, вернувшись, бросил на сиденье новый, стального цвета офицерский плащ, а во второй, похоже, разжился часами. В общем, мне становилось грустно...

Так мы доехали до очередного городка и остановились у въезда. Дальше невозможно было пробиться, впрочем, и не было в том нужды. Все улицы, центр и окрестности забиты войсками — пехота, артиллерия, несколько семидесятишестимиллиметровых самоходок, грузовики, «виллисы» и «доджи» начальства. На машинах и пешком начальство упрямо пробиралось вперед, к берегу реки, куда прежде нас вышли американцы. На черном «хорхе», сигналив и требуя дороги, медленно проехал знакомый улыбчивый майор, бригадный «смершевец». Теперь он не улыбался и за ветровым стеклом автомобиля выглядел озабоченным, — похоже, опаздывал на встречу. Или еще куда. На меня он не взглянул даже, и я подумал: пусть бы и не замечал никогда.

Наша колонна недолго постояла у въезда в городок, а потом свернула в боковой переулок и оказалась на городской окраине, возле широкой приречной поймы. Не успели мы построить в ряд автомобили с орудиями, как нас облепили веселые люди в спортивного вида форме, грубых башмаках и громоздких касках с чехлами. Это были американцы. Они с ходу бросались обниматься с первым, кто им попадался навстречу — солдат или офицер, звучно хлопали по плечам и что-то орали на непонятном языке. Понимал их лишь мой пассажир-майор, и после первых же его слов по-английски они с воплями радости стали подбрасывать его вверх, чувствуя как героя. Наши солдаты сперва восприняли их сдержанно, вроде стесняясь, постепенно, однако, почувствовали себя свободнее, стали громко здороваться и

невпопад кричать что-то словно глухим. Некоторые из гостей взобрались на наши машины, в руках появились солдатские фляги и даже бутылки; наливали в алюминиевые кружки, а то и отпивали по очереди из горла. Луговая пойма превратилась в беспорядочный суматошный базар, вместо возов заставленный громадными «студебекерами» с орудиями на прицепе. Никто не командовал, не пытался навести какой-либо порядок. Поблизости, видать, были лишь младшие офицеры — комбаты да взводные. Старшие командиры куда-то запропастились, поспешили, наверное, к мосту через реку, где проходила главная церемония встречи.

Нам же и здесь не было скучно. Несколько американцев, уже в хорошем подпитии, очутились перед моей машиной и наперебой горланили, обнимаясь с Мухой. Оказывается, эти понимали по-польски, так же как и Муха, когда-то прибывший в наш полк из польской армии. Звучало «бардзо прошэ», «пан капрал», «германско быдло!». Увидев меня, Муха радостно объявил:

— Товарищ лейтенант, вот чудо! Земляки! Ихние родители из Познани. Ромом угощают, хотите?

Один из его земляков — расхристанный, белобровый верзила — уже совал мне огромную бутылку, в которой что-то плескалось. Муха подзадоривал: «За победу, лейтенант!» И я, без особой, правда, охоты, сделал несколько глотков теплого рома. После меня, не спеша, со вкусом, отпил из бутылки сержант Медведев. Откуда-то появилась алюминиевая фляга, которая пошла по рукам. Муха раздавал где-то раздобытые ломкие кусочки шоколада — на закуску. Мы еще выпили, и возле меня очутился здоровенный белозубый негр, бесцеремонно ощупывал на гимнастерке мою «красную звездочку».

— Прэзент, сэр офицер? Эс прэзент? Эс?

Я не понимал, что значит «прэзент». Не хочет ли он заполучить как сувенир мой орден? Было похоже на то. В обмен он скинул с руки металлический браслет с массивными часами и совал мне. Как от него отделаться? — подумал я. Другие, однако, и не старались отделяться — на луговине шел массовый обмен сувенирами — часами, звездочками с пилотов, ремнями и даже пистолетами. Смотрю, мой тихоня Кананок уже прицеливается куда-то из новенькой американской винтовки, — выменял, что ли? Не навоевался парень. Рядом сидит на борту и блаженно ухмыляется расхристанный до пупа американец.

— Ну еще примем за победу, лейтенант? — несколько развязно предложил мне Медведев.

— Давай!

Действительно, ведь победа. Самая большая победа в самой большой войне. Давай, Медведь! За тех, кто уже никогда не выпьет...

И я выпил — пожалуй, впервые со своим подчиненным, командиром орудия. Вообще-то у нас не принято было пить с подчиненными. Если и пили, то обычно равные с равными: взводные — со взводными, комбаты — с комбатами. Но здесь такое событие — конец войны. А мы с Медведевым больше четырех месяцев каждый день и каждую ночь вместе. В одном окопчике и возле одного орудия. А вот из одной фляги выпивать не приходилось.

— Все-таки могли в одной яме лежать, — сказал Медведев, держа в поднятой руке флягу и вроде не решаясь отпить.

— Под Шимонторнией?

— Под Шимонторнией, да. Я уже не надеялся...

Там я не надеялся тоже. Во время весеннего прорыва немецких танков наше орудие отрезали от остальных, мы сутки просидели в кукурузе, не имея шансов оттуда выбраться. Впереди на высоте были немцы, сзади на дороге — немецкие танки. Наш «студебекер» угром сгорел на переправе, и мы приуныли. Однако Медведев нашелся: как потемнеет, надо кого-то послать в пехоту, чтобы дали человек пять, попытаемся пушку выкатить. Так и сделали. Послали Степанова, который в то время еще не был наводчиком, он пролез между немецкими танками и привел четырех пехотинцев. Под утро в туманце кое-как выбрались с орудием из кукурузы и пробрались к своим. Никого не потеряв. Хотя и намучились, не дай Бог!

К нашей веселой компании присоединился и Степанов — сильный, не очень молодой младший сержант с орденом Славы на замызанной без карманов гимнастерке — за его мартовский подвиг. Слез с машины Кананок. На этой ярмарке веселья, похоже, он единственный выглядел малорадостным — даже привычная усмешка сошла с его застенчивого лица. И я его понимал: кончилась война, а у парня — ни одной медальки. Комбат сказал: не заслужил. Провоевал всю зиму вместе со всеми, как и все под огнем, и вот — не заслужил. А все потому, что молод и скромн. Хотя чего горевать — остался жив, не эта ли наилучшая из солдатских наград?

Вокруг все гудело, копошилось и пело. Солдаты нашей и других батарей смешались с американскими, которых уже принимали как братьев — обнимались и пили. Всех охватило пра-

здничное чувство победы. Где-то вдали горланили «Катюшу», а поближе возникала новая песня, которую начал красивый баритон батарейного запевалы:

Полюби меня, солдатик,
Буду верною женой,
А забудешь — только вместе
С родимой стороной...

— Лешка, брательник, я тебя люблю...

— Сержант, давай поцелуемся. Все-таки падла ты, хоть и герой!

— Лейтенант, не обижайся, если что, — обращался ко мне Медведев.

Его алкоголь, похоже, брал не скоро, выглядел он трезвым и тихим голосом проговаривал:

— Замирятся, приезжай в гости. Если придется — с семьей. Или один. Я же возле Телецкого озера живу.

Это я знал. За зиму и весну достаточно наслушался о его озере, полном рыбьих чудес и неслыханной красоты. Но сержант и сейчас не мог удержаться, чтобы не напомнить об этом.

— Это же озеро — чудо. Первое место занимает по красоте.

— Может, и приеду, — пообещал я неуверенно.

— А чего? Молодой, жениться пора. У меня, гляди, и невеста готовая. Тоська моя, как раз на подходе.

Я знал и о его Тоське. Медведев вдвое старше меня, у него взрослая дочь, и был сын-пулеметчик, погибший под Сталинградом. Осталась дочь, которую он и старался устроить в жизни. Но вряд ли я годился в женихи алтайским невестам.

Сзади между мной и Медведевым протиснулся санинструктор Петрушин — с перевернутой пилоткой на голове и раскрасневшимся лицом — видно, отпробовал уже не только американского рома.

— Чур, Медведь, не просватай дочь — мне обещал.

Медведев лишь поморщился от бесцеремонности санинструктора.

— Замного хочешь, — негромко бросил он и протянул мне флягу: — Выпьем, лейтенант...

Кажется, я еще выпил и с Медведевым, а потом с застенчивым Кананком и в конце концов с Петрушиным тоже. Уже не сердился на санинструктора, тем более что и он не таил зла на меня, сам признался в этом мне в минуту откровенности. Похоже, мы даже обнимались с ним, и он все похвалялся, как его

уважают офицеры, — сам начальник санслужбы здороваётся за руку. Уже совсем захмелев, заметил рядом с собой шаткую тень майора-пропагандиста — вроде с комбатом или ещё с кем-то, кого я уже не узнал. Медленно, но верно отключался я, привалившись к крылу «студебекера». Какое-то время ещё различал многоголосый говор вокруг, песни и смех. Слышал, как некоторые плакали пьяными слезами, — наверно, было от чего. Пока разворошенное воинство не сморил пьяный сон.

Как я уснул, не заметил, но проснулся вдруг на рассвете. Машинально нащупал возле головы огромное колесо «студебекера» и, ухватившись за него, сел.

По всей луговине стояли вразброс наши «студебекеры», никто их так и не выровнял, — как вчера поставили, так и остались. Между ними, под станинами пушек, на истоптанной молодой траве в кузовах и раскрытых кабинах лежали, спали, храпели солдаты — наши вперемешку с американскими — кто где и кто как. Рядом со мной распластался вчерашний белозубый негр, который выпрашивал у меня звездочку. Привалюсь к его ногам, лежал кто-то из наших, под ним, втоптаный в землю, валялся старый карабин. Кобура у американца была расстегнута и пуста, наверно, кому-то подарил уже свой кольт. Или обменял на этот вот ржавый карабин. Я с усилием поднялся на ноги. Болела голова, непривычная тяжесть ощущалась во всем теле. Однако мною уже завладело желание. Приблизительно я помнил, с какой стороны мы приехали сюда, и шатко побрел в этом направлении. Обошел «студебекеры» своей батарее, нигде не увидел комбата, подумал, что так, может, и лучше. Возле одной машины наткнулся на знакомые сапоги санинструктора Петрушина, который, свесив ноги из раскрытой кабины, сладко спал на мягком сиденье. Наверно, перебрал, недобро подумал я, хотя и сам был не в лучшем состоянии.

Сонным переулком, сплошь заставленным переправочными амфибиями, вышел на главную дорогу. В этот рассветный час было тихо и безлюдно. Все спали — в машинах, во дворах и в домах тоже. Отдыхали, отсыпались — после великой страды войны.

Мой сон уже отлетел без остатка, и я побрел по дороге. То и дело оглядывался в ожидании какой-либо попутки, хотя на дороге пока не появилось ни одной машины. Тем временем совсем рассвело, голубое ясное небо было без единого облачка. Начинался первый день мира, день великой победы. По дороге навстречу промчался какой-то автомобиль с двумя офицерами в

кабине. За ним через продолжительное время показались еще два цивильных приземистых автомобиля с кузовами, полными освобожденного европейского люда. Этих было слышать издали, они горланили свои песни, наверно, уезжали домой. Я все шаггал по дороге, пока городок не остался далеко сзади. Дорога ровно бежала вдоль берега довольно широкой реки. На той ее стороне, видно, тоже пролегало шоссе, движение там было оживленнее, чем на этой. Автомобили сновали в обоих направлениях, и я понял, что там американцы. Река стала границей между двумя зонами. Как между двумя мирами.

Но что было делать мне? Медленно я приходил в себя после вчерашнего, все яснее понимал авантюренность своего замысла. Пешком я не дойду, мы далеко отъехали от нашего последнего рубежа. А если и повезет наконец с машиной, то едва ли успею вернуться в срок. Все-таки, как ни крути, я буду в самовольной отлучке, мое отсутствие в полку скоро обнаружат. Начнут же наконец просыпаться победители.

Но и возвращаться было нелепо — столько уже прошел...

Наверное, в самом деле, подумал я, если нет другого выхода, на выручку приходит случай. Может, не всегда вовремя, бывает, с опозданием, когда от него уже мало пользы. Нашего комбата Рукавицына за бои на Днестре представили к званию Героя. Очень хотел комбат получить «Золотую Звезду», да не суждено было — погиб под Секешфехерваром. Только похоронили, пришел указ. Но кому он тогда был нужен? Разве что для отчетности о количестве награжденных в полку. Невесело размышляя на эту тему, я оглянулся и увидел машину, которая, сбавляя ход, вдруг затормозила на обочине. Это был мощный пятитонный «ЗИС», из кабины которого выглянул веселый шофер в новой, необмятой пилотке.

— Что, лейтенант? В тылы? Садись, прокачу!

Через задний борт я взобрался в кузов, почти весь занятый каким-то старосветским шкафом или буфетом с позолоченными арабесками на застекленных дверцах; возле кабины торчали еще какие-то ящики. Места для пассажира тут, в общем, не было, лишь сзади у самого борта осталась узкая щель, в которую протиснулись мои ноги. Держаться также было не за что, и я неловко оперся руками о полированный бок шкафа.

— Во, будешь держать, чтоб не сдвинулся. А то стукнется, кому отвечать?

Оказывается, и в день победы не все пили-спали, подумал я. Некоторые занимались делом. Но и за то спасибо — все же лучше, чем пешком топать.

«ЗИС» небыстро катился по хорошей дороге, весенний ветер приятно овевал вспотевшее при ходьбе лицо. Мое желание все же обещало осуществиться, и я был почти доволен. «Полюби меня, солдатик, буду верною женой», — звучало в душе, и я уже знал, что люблю ее. В то же время тревожными токами передавалось мне какое-то неясное беспокойство. Боялся опоздать.

— Победа, лейтенант! Гляди-ка, дожились, однако! — донеслось по ветру из кабины, до половины тоже загруженной какими-то свертками.

Навстречу шли машины — легковые, штабные, грузовики. Эти также устремились на встречу с союзниками. В окнах трофейного автобуса промелькнули веселые девичьи лица, донеслась музыка — там играла гармошка. Наверно, какой-то армейский ансамбль песни и танца, догадался я, — из тех, что вдохновляли нас на победу. Опоздали, однако, на великое свидание, надо было вчера. Но вчера, по всей видимости, они были далеко.

Вчерашних немецких колонн сегодня не было видно, не было даже групп или одиночек, наверно, за ночь всех организованно отправили куда следует. В самом деле, не распускать же по домам. В знакомом, безлюдном вчера городке всюду шло оживленное празднество, настоящий уличный фестиваль со множеством людей, и, как я понял, не только австрийцев. Сюда собирались, кажется, со всех окрестностей, из других городков, недалеких горных селений. На площади возле ратуши развевались на ветру разноцветные флаги — французский триколор, английский — в крестообразные полосы и еще незнакомые. Говорливо митинговали иностранцы-рабочие, согнанные Гитлером со всей Европы для работы на военных заводах. Сегодня они свободны и могут разъезжаться по домам — каждый в своем направлении и под своим флагом. Мне тоже надо было домой, но, видно, моя очередь еще не настала. Опять же, меня ждала она.

Немного отъехав от людной площади, «ЗИС» круто свернул на широкое подворье и остановился. Веселый шофер соскочил на брусчатку.

- Приехали. Тебе куда, лейтенант?
- Мне дальше.
- В армейский тыл? Нет, туда я не еду.

Я озабоченно огляделся по сторонам. Во дворе стояли два «студебеккера», пустой и чем-то наполовину загруженный. Но куда они направляются? И когда? Спросить было не у кого. Я обошел их с другой стороны и увидел прислоненный к стене велосипед. Желтая, из свежего дерева дверь возле него была закрыта, никто оттуда не выходил. Осторожно взяв велосипед, я развернул его колесом к улице. Никто меня не остановил, не окликнул, и я покатил по асфальту.

Сперва мчался сколько было силы, бешено крутил педали. Потом слегка замедлил темп. Все же за мной не гнались, наверно, можно и потише. Встречные автомобили в основном держались своей стороны и мне не мешали. Лишь однажды на повороте едва разъехался с «доджем», в котором пятеро офицеров с бутылкой встречали победу. Вокруг живописный ландшафт горной долины с лесистыми склонами гор; кое-где на опушках видны белые и серые постройки с широкими крышами. Вдали из-за снежных вершин внезапно выкатилось солнце и, как вчера, слепящими лучами ударило в лицо. Солнце с востока. Там была моя родина — без гор и красивых строений, со своей милой для меня, скромной зеленой прелестью. Я мечтал вернуться туда. Конечно, с нею.

Однажды возникнув, мое намерение крепло все больше. Как его осуществить, было не очень понятно, одно чувствовал: откладывать нельзя. Да и почему откладывать? Война ведь окончилась. Враг разбит, и победа за нами. Мне было уже за двадцать, и я встретил свою любовь. Наверно, поздно для первой любви, но так уж получилось. Прежде не было времени, не подворачивался случай. Как-то в госпитале под Знаменкой приглянулась сестричка Нюра из физкабинета. Раненные разрабатывали у нее недолеченные руки-ноги, крутили «велосипед», сжимали какие-то пружинные рогули. Я посидел с ней на дежурстве, потолковали о том о сем, и очень она мне показалась милой и ласковой. И в самом деле была ласковой, но, на беду, не со мной одним. Как-то дала рапиру, чтобы пофехтовать с нею. Фехтовальщик из меня получился неважный, она легко и не раз уколола меня. Но именно с этого фехтования я готов был полюбить ее. Пока не увидел, как она фехтует с капитаном-летчиком, раненным в голову. Наверно, капитан оказался ловчее меня во всех отношениях и, уезжая из госпиталя, забрал с собой Нюру. В авиаполк. Я же остался долечивать свою простреленную на днепровском плацдарме руку.

Проехал еще один городок в долине — цепочку белых и серых каменных домиков по обе стороны чистенькой, вымощенной брусчаткой улицы. Как и везде, в этот день на балконах и в окнах ветер полоскал белые полотнища; людей, однако, было видно не много. Во дворах и кое-где на обочинах стояли наши армейские автомобили, возле лениво прохаживались немолодые офицеры, — на новом месте устраивались службы тыла. Меня никто не остановил ни разу, не поинтересовался, куда и откуда еду. Что значит — конец войне. Когда она продолжалась, тут, за границей, или на своей земле за два-три километра от фронта невозможно было бы вот так катить — всюду заслоны, шлагбаумы, контроль и проверка. Даже о ранении следовало иметь документ — карточку передового района. Кровавая рана еще ничего не значила. А нынче... Хотя все понятно — война ведь закончилась.

Наконец и последний наш фронтовой городок — разбитой окраиной он неожиданно возник из-за обрыва горы. Я переехал линию немецких окопов, потом своих. Знакомая улица, как и вчера, завалена строительным мусором, уже основательно размельченным на асфальте колесами автомашин; по-прежнему доносилась гарь недавних пожарищ. Этому городку не повезло в самом конце войны, как повезло все же тем, что лежали от него на запад. Судьбы городов, наверно, как и судьбы людей в войну, — никто не волен избежать уготованной ему участи. Жаль было этих красивых, благоустроенных городков, не одно столетие пестованных их жителями. Странно, когда шла война, такого чувства не возникало. Что значит — конец войне.

Я приближался к памятному полуразрушенному дому на повороте. Очень хотелось надеяться, что счастье не обманет меня... Вот наконец за речкой — знакомый кубик коттеджа. Сердце мое радостно забилося, и в то же время что-то тревожно толкнуло изнутри. Калитка почему-то оказалась раскрытой. Всегда она была заперта, и я перелезал через нее. Бросив наземь велосипед, я подбежал к входу. Но двери... Что это? Почему разломаны снизу и огненной подпалиной чернеет стена? Еще не понимая, что это значит, я толкнул ногой разломанные половинки дверей, ступил в знакомый полумрак вестибюля.

И сразу увидел ее.

Маленькое Франино тело неподвижно распласталось на каменных плитках посередине, где вчера стоял столик. От всей одежды на ней осталась лишь разодранная на груди кофточка; короткие русые волосы веером разметались вокруг закинутой на

пол головы, по остренькому подбородку стекла и запеклась тоненькая струйка сукровицы. Широко раскрытые глаза удивленно уставились в темень высокого потолка.

Не помня себя, я опустился на корточки рядом, непонимающе уставясь в ее застывшее личико, не зная, что делать, — тихо заплакать или возопить от нестерпимого горя. Очень хотелось вопить — горько и безысходно, на весь белый свет. Но что толку с того? Кто здесь мог услышать меня, понять страшную несправедливость этой гибели?

Потом встал и впервые осмотрелся вокруг. В вестибюле настоящий разгром. Все дверцы шкафа раскрыты, на полу в беспорядке валяются книги, свернутые рулоны каких-то бумаг. Легкие стульчики разбросаны по всему вестибюлю, красивого столика не видно. Два кожаных кресла, стоявшие возле стены, были сдвинуты со своих мест, из порезанных сидений торчали спирали пружин. Медленно приходя в себя, я заглянул в раскрытую дверь на кухню, где также все было разбросано, посуда разбита, мебель опрокинута. В следующей, просторной комнате, наверно, была столовая с длинным столом посередине и темными картинами на стенах. Огромная в золотой лепке рама лежала на столе, картина была небрежно вырезана из нее. На паркете из-за стола высовывались длинные ноги хозяина в черных с лампасами брюках. Доктор Шарф был застрелен в голову, лужица крови растеклась от него до следующей двери. Слегка приоткрыв эту дверь, я почувствовал за ней препятствие; сквозь щель, однако, виднелась на полу знакомая седенькая голова фрау Сабины, которая тоже была мертва.

Несколько минут я ходил среди этого дикого разгрома, машинально перебирая взглядом разбросанные, истоптанные, попорченные вещи, одежду, мебель, и не понимал ничего. Был растерян и ошеломлен. Кто учинил такое? Что это — месть или ограбление? Или, может, политика? Снова вышел в вестибюль. Безразличная ко всему Франия тихонько лежала на прежнем месте. И я думал: вот как окончилась ее юная жизнь! И когда? В самом конце войны, в радостный день победы. Когда у меня появилась надежда выжить, ей суждено было умереть.

Нестерпимо горько было видеть это неподвижное мертвое тело, этот разгромный бедлам, где еще недавно царили чистота и порядок. За войну я немало посмотрелся на убитых, на развороченные взрывами тела — своих и немцев. Но там были мужчины, солдаты. Тут же лежало юное создание, совсем еще девочка, моя несбывшаяся любовь. Я бережно уложил вдоль тела ее

тоненькие руки, сомкнул обнаженные, окровавленные ноги. Нелюди и гады! Гады и нелюди! Кто бы они ни были — свои или немцы. Коммунисты или фашисты. Да разверзнется земля и поглотит их! Однако напрасны мои проклятия, ничего уже изменить нельзя. Я поднял лежавшую рядом измятую скатерть и аккуратно накрыл ею Франю.

Но что было делать дальше, как пережить все это? Как плохо, что я оказался здесь один, без солдат моего взвода. Оставалось идти на дорогу, обращаться к проезжавшим мимо офицерам. Но кто из них поймет меня? Долго что-либо объяснять я уже был не в силах, да и кому какое дело до этой трагедии в коттедже? С этими старыми австрийцами и их юной служанкой?

Надо было возвращаться в полк, но я не мог оставить Франю и ее несчастных хозяев. Нужно что-то сделать для них — последнее на этой земле.

Не представляя конкретно зачем, я побрел в город. Не по той разрушенной улице, по которой приехал сюда, — пошел переулками над речкой. Тут поврежденных обстрелом домов попадалось меньше, некоторые стояли с закрытыми ставнями и казались брошенными. Кое-где в цветниках под окнами пестрели первые весенние цветы, распускались гроздья сирени. За одним из таких расцветающих кустов возле входа копошился немолодой австриец в зеленой шляпе. Он подметал замусоренный взрывами двор и удивленно уставился на меня с большущей метлой в руках.

— Послушайте, там, в коттедже, убитые.

— Нихт ферштеен, — покачал головой австриец.

— Ну, убитые, понимаете? Морд!

— Морд?

— Ну, морд. Там, в коттедже...

— Найн, найн! — энергично заверял меня человек. — Их цивиль, нейтраль мэнш. Найн...

Я молча пошел дальше. Черт бы его взял, этого нейтралиста. Он не понял меня или не захотел понять? Я перешел на другую сторону коротенького переулка. На углу за невысокой кирпичной оградкой разговаривали две женщины, и я окликнул их с улицы. Сперва к ограде подошла та, что постарше, грузная фрау в синем несвежем переднике. Потом к ней осторожно приблизилась более молодая — худая и костлявая, в мужском пиджаке и брюках.

— Прошу прощения, фрау. Там — морд, понимаете? Ферштеен? Доктор Шарф унд фрау.

— Доктор Шарф! — ужаснулись женщины. — Морд!

— Ну. Убиты. И девушка, фройляйн.

Они о чем-то скороговоркой переговорили между собой, а я в который раз за войну пожалел, что когда-то без должного внимания отнесся к немецкому языку. Усердствовал по другим школьным предметам, а в том, который так понадобился на войне, преуспел не слишком. Теперь стоял и молчал.

— Херр офицер, — кирхэ! Кирхэ, ферштеен? — обе враз стали показывать за угол соседнего дома.

Кажется, я их понял — надобно пойти в кирху, позеленевший шпиль которой торчал вдаль между уцелевших крыш. Еще не веря, что мне помогут, я побрел туда переулками. И в самом деле спустя полчаса вышел к каменной ограде-стене. Далее высились старые, в узловатых сучьях деревья и за островерхой брамой виден стал вход в кирху. Была она не очень большая, старая и какая-то мрачная с виду. С робостью вошел я вовнутрь, полумрак и прохлада сразу объяли меня. В глубине горело несколько свечей и слышалось тихое, вполголоса пение. Выйдя из-за колонны еще на несколько шагов, я увидел людей, стоящих у открытых гробов, за ними с молитвенником в руках покачивался в молитве священник. Я догадался, что отпевали покойников, гражданских или военных — мне было не видно. Наверно, заметив меня, откуда-то сбоку появился человек в черном, вопросительно остановился напротив.

— Святой отец, — дрогнувшим голосом сказал я. — Там морд! Доктор Шарф...

— Доктор Шарф? — переспросил священник, как показалось, чересчур спокойно. — Морд?

— Морд, — сказал я. — И девушка, фройляйн.

— Фройляйн? Драй морд?

— Драй морд.

Привычным движением двух пальцев священник обозначил крест на груди и что-то объяснил мне, хотя я и не понял что. Догадался, что надо подождать. Вышел из угнетающего полумрака кирхи на затененный деревьями двор. Ждать? Наверно, в самом деле следовало подождать, надо же им разобраться, а мне что-то объяснить? Ведь тут преступление — убийство и ограбление. Хотя священники — не следователи, но все же.

Так рассуждая, я стоял перед старой, словно закоптевшей от времени кирхой и в который раз пытался понять: кто? Кто их убил — хозяев и девушку? Или это — случайные жертвы преступления или налицо преступный замысел? Может, виною все-

му такой привлекательный с виду коттедж? В недобрый час, наверно, получили его в наследство несчастные Шарфы. Хотя, подумав, нетрудно было понять, кто мог это сделать. Уже случилось такое, и не только на австрийской земле. В прошлом году на формировке под Луцком перед строем полка расстреляли двоих из транспортной роты. Эти, вволю повеселившись, изнасиловали на хуторе женщину, убили ее сына-подростка. Правда, те не грабили, по-видимому, было нечего грабить. Здесь же появилась такая возможность, нашлись люди, готовые воспользоваться ею. Тем более в логове зверя, где все позволено.

Бедная Франя! Спасалась от войны в Европе, но именно в Европе война и настигла ее. И убила. Но почему именно ее? Я же имел больше оснований для гибели, а вот жив.

В кирху прошли еще две женщины в черных шляпках с вуалями, удивленно вгляделись в меня, как в существо, мало уместное в божьем храме. Я и сам чувствовал собственную здесь неуместность, но я ждал. На какую-то обходительность, конечно, рассчитывать не приходилось. Хотя здесь не знали конкретно, кто учинил разбой у доктора Шарфа, но, пожалуй, тоже догадывались. А может, и подозревали. Поэтому я терпеливо дождался возле кирхи. Когда с досадой почувствовал, что ожидание затянулось, откуда-то из переулка к браме подъехала фура. Два битюга, едва переставляя ноги, покорно остановились. С плоской платформы-фуры соскочил человек со свежесбритым лицом, в синем берете. Увидев меня, что-то замычал, замахал руками, и я догадался: немой.

Из кирхи вышел священник, который уже разговаривал со мной.

— Он привозит вэрсторбэнэ* в кирху беграбен*, — сказал он.

В этот раз я понял его и вышел из-под брамы. Немой, понукая лошадей, встряхнул ременными вожжами, и мы двинулись вдоль ограды. Я шел впереди, фура все время отставала. Наверно, неповоротливые битюги не могли быстрее.

Все-таки мы добрались-доехали до злосчастного коттеджа. Тут все было по-прежнему, кажется, никто сюда не заходил. Остановившись перед Франей, я приподнял скатерку. Увидев мертвую девушку, немой сдавленно вскрикнул, потом замычал что-то, замахал руками, выражая тем жалость и возмущение. Я свои

* Покойники.

** Хоронить.

жалость и возмущение, как мог, подавлял в душе, обнаруживать это уже не хватало сил. Вдвоем мы бережно положили убитую на скатерть и, слегка завернув ее, понесли на фуру. Тут уж я не мог сдержать слез и не скрывал их от него. В который раз проклинал все на свете, и себя в том числе. Зачем оставил ее здесь, надо было взять с собой. Но — постеснялся ребят, комбата, «смершевца». Теперь вот не стесняюсь. Никого. Да что толку... После Франи на той самой скатерти перенесли в фуру длинное тело доктора Шарфа и его фрау. На широкой фуре места хватило для всех. Немой прикрыл скатертью убитых, и мы двинулись тем же путем к кирхе. Немой с вожжами шел с одной стороны фуры, я — с другой. Нашу печальную процессию провожали взглядами люди, малочисленные жители этого городка. Я же брел, будто слепой, не видя ни улицы, ни людей. Померкла для меня и недавно еще радостная победа. Кажется, я выпал из времени, перестал ощущать себя. Меня обманули. Люди, судьба или война. А быть может, победа, которую сейчас праздновали без меня возле реки. Моим же уделом стал другой праздник. Черный праздник беды.

Мы подъехали к кирхе, когда оттуда выносили тех, кого уже отпели. Пришлось недолго подождать, пока к фуре подойдут люди. Почти молча, без заметной печали они постояли перед телами убитых, о чем-то недолго переговорили, повздыхали, несколько раз перекрестились. Я стоял рядом и ждал, что обратятся ко мне. Возможно, с упреком или возмущением. Но меня они вроде и не замечали. Будто меня тут и не было. И я думал: неужто они столько похоронили, что их уже ничего не занимает больше? Хотя бы — кто и почему убил? Впрочем, что бы я им ответил? Что я сам знал? Несколько мужчин перенесли убитых в кирху, но я отошел в сторонку и остановился в тени деревьев.

За кирхой вдоль каменной ограды расположилось небольшое старое кладбище. Аккуратно посыпанные щебнем дорожки, ровные ряды могил, старые надгробия со стертыми, едва заметными готическими надписями, невысокие лютеранские кресты из черного и серого камня. В дальнем конце кладбища, где не было деревьев, теперь хоронили. Раскопанная земля, несколько женщин в черном. Не там ли похоронят и Франю с ее хозяйками? Хотел пойти посмотреть на то место, но не решился отойти от кирхи.

Я не знал, что происходило в кирхе, куда меня не позвали. Все не мог совладать с собой. Временами готов был зарыдать, что-то сдавило горло и не отпускало. Ходил по дорожке взад и

вперед. Люди, входящие в кирху или выходящие из нее, недоуменно поглядывали на меня. Но никто не спросил ни о чем, будто для них все это было буднично и привычно. И то, что хоронят и что возле кирхи стоит советский офицер. А может, в том их равнодушие ко мне было вежливое презрение? Мне бы не хотелось так думать, но если и было именно так, то, по всей видимости, вполне заслуженно.

Впрочем, их отношение не очень меня занимало. Я думал только о Фране. Вспомнил ночной разговор с ней, ее невеселый рассказ о себе. Вспомнил слова, сказанные несчастным доктором Шарфом. Тогда я не возражал ему. Думал, что, кроме всего прочего, война все-таки великая школа, и я кое-что понял на войне. Даже в ее последние дни. Прежде всего, что ничего не надо бояться. На войне тебе ничего не сделают, кроме как убьют или ранят. И то и другое чересчур просто. Кажется, однако, только после войны твою жизнь могут превратить в пекло. Когда не захочется и жить.

Может, спустя час или два меня позвали, и я понял, что настает самое важное. Сунув в карман снятую с головы пилотку, вошел в полумрак кирхи. Там уже ждали меня два священника. Худенькая белолицая монашка в черном платке была переводчицей.

— Нех пан муви, як змэрли тэ люди, — обратилась она ко мне почему-то по-польски. Священники внимательно смотрели на меня.

— Я не видел, — хрипловато ответил я. — Когда я приехал, они уже были мертвые. Их убили.

— Кто их забил?

— Не знаю.

— Яки ест конфессии млода паненка?

— Пожалуй, католичка, — сказал я, подумав.

— Добже, — ответила монашка и что-то сказала священникам по-немецки. Те согласно кивнули головами. Больше они ни о чем меня не спросили, кажется, в самом деле все это было для них делом обычным. Они двинулись к алтарю, перед которым стояли три гроба. Я пошел следом. В крайнем из гробов чем-то прикрытая до подбородка лежала Франя.

Небольшая группка людей, что была в кирхе, начала отпевание. Я не понимал слов, но трогательная мелодия выворачивала душу, и я боялся не сдержаться, заплакать. Слезы застилали глаза, я едва удерживал их. Удивительно, но в кирхе никто не плакал, лишь пели слаженно и самозабвенно, словно в молит-

венном экстазе. Звуки ангельского хора печально витали под темными сводами. Может, это были последние похороны. Злые силы войны добирали свои недостающие жертвы.

Когда стали закрывать гробы, я подался ближе, но опоздал и уже не увидел Франи, — черная крышка гроба навсегда скрыла ее от меня. Мужчин тут было немного, гробы выносили по одному. Как только подняли гроб с Франей, я подставил свое плечо. Гроб был не тяжелый, разве что немного великоват для маленького ее тела. Наверно, поэтому на ходу мне почудилось, что она шевелится. Но шевелилась, наверно, от наших несогласованных шагов. Мы обошли кирху и красной гравийной дорожкой направились в дальний конец кладбища. Возле каменной стены в самом углу было выкопано несколько могил, где упокоились те, кого отпели раньше. Из последних могил еще взлетал вверх грунт, это заканчивали свою работу могильщики. Одним из них был немой в синем берете, с которым мы привезли убитых. Франин гроб поставили на раскопанную землю рядом, и мужчины вернулись к кирхе за двумя остальными. Немного помедлив, я пошел следом.

Когда все гробы были вынесены, священник с крестом в руках произнес коротенькую молитву, все стали креститься. Я также перекрестился. Затем трижды перекрестил гроб Франи. Гробовщики на веревках быстро и ловко опустили его в могилу.

Ну вот и все.

Как опускали Шарфов, я уже не видел. Я закапывал Франю. Бросал и бросал с лопаты песок на черную крышку гроба. Только крышка скрылась под грунтом, немного передохнул и стал копать снова. До самого верха могилы. Из остатка земли, собранной рядом, сделал невысокий могильный холмик. Заплаканная женщина в черной шали издали молча перекрестила меня. Что ж, спасибо тебе, добрая австрийка, подумал я. И пухом тебе австрийская земля, милая моя землячка.

Ни с кем не прощаясь, я устало побрел к выходу. Было не до прощания и благодарностей. Не хотелось слышать ничьих и никаких слов. Ни даже видеть людей. Я чувствовал себя опустошенным и обессиленным. Лишь отойдя по переулку от кирхи, надел на голову пилотку и оглянулся. Так обычно делал на войне, когда собирался вернуться — чтобы лучше запомнить путь. Сюда я должен был вернуться. Твердо решил сделать это.

И — никогда не вернулся.

ОЧНАЯ СТАВКА

Рассказ

Ночью в гарнизонной караулке, расположенной в одном здании с гауптвахтой, продолжалась размеренная караульная жизнь.

С вечера, когда приносили ужин, долго слышалась невнятная солдатская возня с раздачей-дележкой пищи, незлобивая перебранка караульных и окрики сержантов-разводящих. Из-за грубой, неплотно подогнанной двери в камеру проникал тошнотворный запах теплой перловки, постепенно сменяемый резким запахом махорки. Но это уже с другой, дворовой стороны, где возле уборной в углу была оборудована курилка со вкопанной посередине бочкой. Там же спустя полчаса раздавалась негромкая команда разводящих, строивших смены, и за ней — металлическое клацание заряжаемого оружия. Потом на какое-то время наступала почти глухая тишина, пока во дворе не появлялась первая прибывшая с постов смена; команды и звяканье разряжаемого оружия повторялись в прежнем порядке.

Со временем звуки в караульном помещении глохли, по-видимому, там затворяли дверь — караульные готовились к отдыху. Хотя по уставу освободившейся смене полагалось несколько часов бодрствовать, вряд ли это уставное требование ночью выполнялось. В лучшем случае кто-то из солдат усаживался за домино или шашки, кто-нибудь принимался за письмо домой. Остальные, не снимая шинелей и бушлатов, свесив с нар обутые ноги, откидывались на спину кемарнуть, пока не настала пора проверяющих. Они обычно являлись вечером или под утро. Булавский это знал по собственному, еще довоенному опыту, когда сам был курсантом, а потом комвзвода инженерной школы и немало походил в наряды. Вряд ли за годы войны в этом смысле что-либо изменилось, думал он, вытянувшись на полу своей смрадной и тесной одиночки.

Сон к нему долго не шел, и он лежал с открытыми глазами — тусклый свет высоко подвешенной лампочки ему не мешал. Накрываться брошенной на цементный пол измятой шинелью не было надобности, в камере с вечера держалось тепло. Есть ему не хотелось, постоянно мучила неизвестность, донимал неотвязный арестантский вопрос — за что? Но следователи умело скрывали ответ, и лишь после третьего или четвертого допроса стало кое-что проясняться. Каждый допрос начинался с требования назвать свою настоящую фамилию, и, когда он называл, наступала непонятная пауза. Эта пауза позволяла ему кое о чем догадаться.

Так было и на вчерашнем допросе в Смерше, который проводил веселый молодой капитан с эмблемой связиста на золотых погонах. Фамилия его, как понял Булавский, была Терехин (по крайней мере, он так подписал составленный им протокол — после того, как там расписался подследственный). Задав вопрос о фамилии, следователь впился в него нагло-проницательным взглядом и, когда он ответил, неопределенно гмыкнул: «А чем докажешь?» Доказательств он не имел, свидетелей тоже, наверно, потому и очутился в Смерше. «Что ж, очная ставка покажет», — сказал капитан, убирая со стола бумаги.

Это был третий арест Булавского за его тридцативосьмилетнюю жизнь. Первый раз он сидел на гауптвахте за глупую мальчишескую выходку — закурил в коридоре возле красного уголка в казарме и попался на глаза старшине роты. Отсидел всего трое суток, но долго помнил свой курсантский позор, навсегда зафиксированный в его дисциплинарной карточке. Второй раз пришлось похуже, казалось, из карцера — прямой путь в лагерьный крематорий. Но Бог или случай миловали: потребовались специалисты для строительства пресловутого Атлантического вала, а его инженерная специальность значилась в аккуратной немецкой лагерной картотеке. И семь суток спустя он уже ехал в переполненном зэками вагоне к бельгийскому побережью, где его ждали, впрочем, все те же вагонетки с породой — от каменного карьера к бункерам.

Казалось немного странным, что война для него началась и закончилась на строительстве оборонительных сооружений — сперва советском, а затем немецком. Хотя странного тут было немного, если учесть его военно-инженерную специальность. Станным было другое.

Наверно, в свой горький час он заметил эту закономерность — почти парадоксальную связь между надеждой и ее осуществлением. По крайней мере, у него всегда выходило так, что с исчезновением надежды ситуация резко поворачивала к более-менее благополучному исходу. И напротив: чем основательнее была надежда, тем горшая беда обрушивалась на его голову. К сожалению, эту странную закономерность он осознал поздно, наученный чередой многих несчастий, когда какой-либо урок извлечь было уже нельзя. Разумеется, многое можно было объяснить войной или, может, особенностью собственной судьбы. Хотя, если разобраться, в его личной судьбе не было ничего особенного, она была, как у многих, — с общим большим несчастьем и маленькими иллюзорными радостями. Вспомнив теперь одну из них, он лишь криво усмехнулся — чему порадовался! Недолго грела она, та его радость, а потом и вовсе исчезла...

Но тогда она была — молодая и звонкая, как утренняя песнь жаворонка над весенним полем. Да она и застала его в поле, в котором у подножия холмов расположился палаточный лагерь инженерного батальона, занятого строительством укрепрайона. Из растрового узла, где с утра пропадал Булавский, его позвали в штабную палатку к телефону, и до боли знакомый, радостный голос жены сообщил, что они с дочкой наконец добрались до места его службы. Доехали хорошо, обе здоровы и, хотя устали с дороги, надеются вечером увидеться с ним в гарнизоне — километрах в десяти от его строительства. Жenu и дочь он не видел с весны, когда срочно уехал сюда, а они остались в военном городке под Минском, где он служил прежде. Сказал, что непременно постарается к ним вырваться — вечером или, возможно, ночью. Положив трубку, стал напряженно думать, как это сделать. Вырваться было непросто — отлучки с объектов строжайше запрещались. Но, может, как-нибудь... На стройплощадке он разыскал сослуживца политрука Лузгина, которого попросил о дружеской услуге — на случай проверки прикрыть его самоволку. Лузгин был человек сговорчивый — да и кто в такой ситуации мог бы отказать другу? Тем более что неделю назад Булавскому присвоили звание военинженера III ранга, и ему, разумеется, помимо всего не терпелось предстать перед женой в новом звании. Кто знает, — может, в последний раз. С запада явно надвигалась большая буря, в которой как бы им не сгинуть обоим.

...Но вот он выжил и вернулся.

После тяжелого ранения, плена, чудовищных армейских шталагов и не менее страшных концлагерей вернулся на родину — без воинского звания, без партбилета, с измученной душой, но живой. И тут встал вопрос: стоило ли возвращаться? Не лучше ли было бы, как многие миллионы, истлеть в земле или превратиться в лагерный пепел? Так нет — выжил. И кого этим осчастливил?..

Жестокая военная судьба отнеслась к нему хищно — мало ему было всех прежних бед, так она уготовила еще и арест. Не взяли год назад в фильтрационном лагере под Дормштадтом, так спохватились теперь. А может, использовали как приманку? Поступали же так с теми, кого подозревали в сотрудничестве с немцами. Он не сотрудничал, но подозревать могли каждого, кто находился в плену. Хотя кого он мог приманить? Ждали, пока успокоится? И он действительно стал вращаться в мирную жизнь: нашел квартиру, устроился на работу, даже получил продуктовые карточки. И тогда взяли.

Нет, все-таки, наверно, сто раз был прав тот особист-следователь, который допрашивал его после возвращения из английской зоны, — почему не застрелился? Почему сдался? Сперва Булавского удивил этот каннибальский вопрос, он даже смутился, стал что-то объяснять про ранение и обстановку. Но теперь, в бараке, после четвертого или пятого допроса подумал: а в самом деле! Не лучше ли было бы застрелиться? Тогда или, может, теперь? Но тогда у него был пистолет, а теперь ничего не было, как застрелишься?

Если бы он обладал способностью предвидеть свое ближайшее будущее, то действительно лучше было бы пустить себе пулю в лоб и навсегда остаться в том сосняке на краю истоптанного жнивья. Если бы знать! Но кто может знать свое будущее? Велика сила незнания. Она будоражит сознание и вынуждает страдать. Как вот нынче, в ожидании очной ставки.

За стеной вдруг что-то задвигалось, послышались шаги, прозвучала команда, и арестант догадался, что пришел проверяющий. Усердные проверяющие — всегда сущее наказание для караула, особенно его начальника, — он это помнил по своей военной юности. Не дай бог, если проверяющий из политорганов или штабной чин — застанет начкара спящим и занесет данный факт в караульную ведомость. Эта запись затем перекочет во все последующие характеристики и будет квалифицировать серьезнейшее из преступлений — потерю бдительности. Булавский никогда не спал в карауле и вроде бы не терял бдительно-

сти, всегда имел только положительные характеристики, но это никоим образом не отразилось на его судьбе. Его служба в одночасье и навсегда рухнула, и из образцового службиста он превратился в ничто. Пленного, инвалида, а теперь еще и арестанта, в неясных целях присвоившего себе чужую фамилию. Но почему? Кто в том повинен? Гитлер, война, особенные обстоятельства, в которых он очутился? Или, может быть, сам и никто более?

Может быть, и сам тоже.

В тот знойный июньский день немецкие самолеты с самого утра беспрепятственно утюжили отступающие на восток войска, бомбя и с бреющего полета расстреливая людей и транспорт. Это была, может, десятая по счету бомбежка за день, из колонны инженерного батальона уцелело всего три машины, на одной из которых ехал комбат Булавский. Он устал каждый раз при налетах убежать в поле, прятаться, тем более что от пулеметного огня сверху спрятаться было негде. Когда после полудня на дорогу обрушился десяток «юнкерсов», он лишь соскочил с подножки грузовика и свалился в придорожную канаву. Тотчас перед машиной пыльно вздыбился асфальт дороги, и тяжелый земляной пласт накрыл его с головой. Сознание сразу померкло, словно он провалился под землю, и сколько пролежал так, неизвестно. Когда сознание вернулось и он стал ощущать себя, долго не мог сообразить, где он и что с ним случилось. С трудом раскрыв запорошенные песком глаза, увидел над собой спокойное звездное небо с задраным концом Большой Медведицы и расслышал невнятные голоса рядом. Один из них показался ему знакомым, он напрягся и тихо позвал: «Лузгин...» Голоса разом умолкли, затем над ним появился темный силуэт в каске, боец опустил на корточки и потрогал его за плечо. «Товарищ политрук, то — комбат...» Вскоре рядом с первым появилась черная тень второго, который окликнул его, и Булавский облегченно простонал — это действительно был Лузгин. Вдвоем с бойцом они вытащили Булавского из земляного завала и, отнеся в сторону, уложили на влажную под утро траву. У него оказалась разбитая осколком нога, полный сапог крови; кровью были густо пропитаны брюки и весь левый бок. Булавский чувствовал себя скверно, от боли и потери крови то и дело терял сознание. Наспех перетянув брючным ремешком ногу выше колена, они понесли его прочь от дороги, на которой с

часу на час могли появиться немецкие танки или мотоциклисты.

В абсолютной темноте безлунной ночи выбрались на какую-то полевую тропинку. Сперва Булавского нес на закорках боец, который, выбиваясь из сил, то и дело останавливался, поправляя его сползавшее тело. Наконец остановился, раненого взвалил себе на плечи Лузгин. Из торопливого разговора выяснилось, что политрук уезжал из укрепрайона последним, с замыкающим транспортом, и Булавский спросил о судьбе семей комсостава. Он беспокоился о своих — жене и дочке, с которыми так и не успел повидаться. Лузгин сказал, что семьи успели отправить по другой дороге, их дальнейшая судьба ему неизвестна. Это сообщение немного успокоило раненого — если по другой дороге, то, возможно, успеют проскочить, думал он; по этой, пожалуй, никому проскочить не удастся. С поля было видно, как по всему ночному горизонту полыхали близкие и далекие пожары — горело на дорогах, возле дорог, горели деревни и поселки — всюду, где проходили войска. В ночи слышался гул далеких канонад — война катилась все дальше.

Когда на востоке заалело небо, они остановились на опушке мелкого сосняка. Лузгин свалил в вересковую поросль едва живого Булавского, рукавом гимнастерки вытер чумазое лицо. «Так мы далеко не уйдем, — сказал он, задыхаясь. — Надо повозку...»

Искать повозку он послал бойца, а сам молча сел рядом, то-скливо оглядывая рассветную полевую даль. Булавский тоже молчал, изнемогая от охватившей все тело боли. Чувствовал он себя все хуже, донимала жажда, но воды у них не было. Над полем широко занималось утро, из-за леса выглянуло красное солнце, а боец все не возвращался. Не дождалась они его и к полудню. Спасая от солнцепека, Лузгин перетащил раненого в глубь роши, где было не так жарко. «Ты уверен, что он приведет лошадь?» — спросил Булавский. «Он может привести не только лошадь», — ответил политрук, и Булавский понял, что он имел в виду. В его батальоне служило немало бойцов из местных, белорусов-западников, к бдительности по отношению к которым нередко призывало начальство. Что ж, возможно, в этом был резон, думал раненый; начальству виднее. Хотя ему уже не до бдительности, ему бы не загнуться на этом сосновом пригорке.

Жажда донимала, по-видимому, не только Булавского, и, подождав еще немного, политрук сказал: «Ты полежи, я по-

ищу воды». И, не дождавшись ответа, побрел по опушке — внизу, возможно, где-нибудь был ручей или хотя бы болото. Булавский остался один. Изо всех сил стараясь удержаться в сознании, дождался товарища. Солнце тем временем заметно передвинулось, повернуло тень от его сосенки. Было невыносимо жарко, и он с огромным усилием переполз в сторону. Становилось все тревожнее — похоже, оба спутника его покинули. Возможно, сами где-либо попались, а может... О худшем он боялся подумать, продолжал надеяться. Надежда его, однако, убывала, а предположение перерастало в уверенность — он остался один.

До самого вечера ни боец, ни Лузгин не вернулись. За это время война откатилась куда-то невообразимо далеко. По небу одна за другой проносились группы немецких самолетов, будоража пространство особенным завывающим гулом; наших самолетов не видно было. В земле то и дело отдавались далекие взрывы бомб. Где-то на востоке порой слышался отдаленный вой моторов — похоже, это шли танки. Булавский не сразу, но сообразил, что влип окончательно, он вытащил из кобуры пистолет, но его ТТ оказался забитым землей, он не сумел его перезарядить и потерял сознание.

На вторые сутки его обнаружили пастушки из ближайшей деревни...

За стеной в караульном помещении все понемногу стихло — наступил самый спокойный, предутренний час ночи. Арестант вроде задремал, чуть смежив глаза. И вдруг снаружи прозвучал испуганный окрик: «Стой, кто идет?» Напрягшись, Булавский вслушался, ответа не разобрал, но несколько минут спустя услышал громко поданную команду: «Караул — в ружье!» По всей видимости, это явился новый проверяющий, возможно, кто-то из начальства. Теперь проверки там хватит надолго, это арестант знал по собственному опыту.

Так оно и получилось. Слышно было, как суетно-поспешно строился караул, потом шел длинный опрос — по-видимому, проверяющий выяснял знание бойцами их караульных обязанностей. Булавский представил, как тот ходит перед двумя шеренгами сонных бойцов, задает вопросы и дотошно уточняет ответы, то и дело заглядывая в книжицу устава, заложенную между страниц пальцем. В караулы, конечно, он давно не ходил и мог кое-что забыть, ему позволялось заглядывать в книжицу, а вот боец должен знать все. Тем более когда начальник карау-

ла — какой-нибудь двадцатилетний лейтенантик, в войну окончивший шестимесячное военное училище.

Потом в караулке часто захлопали двери — похоже, проверяющий отправился на посты, где, надо думать, так же придирчиво будет задавать вопросы подмененным часовым... Может, кого-то снимет с поста. Таких педантов-придир Булавский хорошо знал — изучил за время своей десятилетней командирской службы. Возможно, и сам когда-то был именно таким. Такого рода командиры всегда наиболее ценились в армии — большей частью потому, что других выдающихся качеств за ними не числилось. Своей зачастую нелепой требовательностью они компенсировали отсутствие ума, знаний и многого другого. И в общем преуспевали — такова, наверно, природа армейской службы. Долгое время Булавский считал это в порядке вещей, пока в иных обстоятельствах не столкнулся с иными людьми, иными качествами, каких не было и не могло быть в армии...

Вечером, когда немного смерклось, его, словно мешок с картошкой, перекинули через спину лошади и привезли в деревню. Огородами, чтобы никто не заметил, подвезли к отдаленному овину. Управлялись с ним, как и с лошадью, двое зеленых мальчишек, Миша и Володя; с виду им было лет по тринадцать. Он им сказал, что надо как-то связаться с нашими, красноармейцами, на что они только свистнули — оказывается, наши уже сдали Гродно. Это сокрушительное известие повергло Булавского в смятение, но что поделать? Он ничего не мог требовать от ребят, только целиком на них положиться, всецело доверить им собственную жизнь. Что он и сделал. И ребята не обманули его. С недалекой станции они привели фельдшера, который обработал рану, перевязал. А главное, фельдшер ободрил его сообщением, что рана серьезная, но не смертельная, — кость не задета, а мясо как-нибудь нарастет. Только нужен покой, двигаться товарищу командиру с такой раной нельзя. Надо подождать.

И он стал терпеливо ждать. Сперва в том овине возле пруда, потом, когда похолодало, ребята переправили его в другое место — как оказалось, на станцию. Предпоследний на улице домик под вязом занимала школьная учительница, обучавшая этих самых ребят. К ней они его и привезли. Потянулись томительные дни вынужденного пребывания в каморке-боковушке, на попечении учительницы-польки и ее свекрови, ста-

рой белорусской крестьянки. Старушку он называл бабушкой, а к учительнице, как и полагалось, обращался по имени-отчеству — Станислава Викентьевна. Женщин объединяло общее несчастье — на польско-немецкой войне пропал без вести сын старушки и муж Станиславы Викентьевны Юрек, офицер, служивший под Гдыней. После сентября 39-го года о нем ничего не было известно. От этой неизвестности чахла молодая жена, извелась в горе мать. И Булавский подумал вначале, что, пожалуй, попал в неподходящее место, — этим женщинам с избытком хватает своего горя, где им заниматься чужим. Но оказалось иначе. Наверно, собственное горе только обострило способность этих женщин к сопереживанию, советский командир как бы слился с образом Юрека. По существу, так оно и было: оба оказались жертвами войны, жертвами фашистской Германии. Разве только с той разницей, что один, по всей вероятности, уже погиб, а другой едва удержался на краю гибели.

Вечерами, когда он задыхался в жару, бабушка молча прикладывала к его лбу ледяные компрессы, которые на его голове скоро становились противно-теплыми, ставила на табуретку кружку с водой или холодным молочком из погреба. Его продолжала мучить жажда, он понемногу, но часто пил. Из еды первое время почти ни к чему не притрагивался, потом стал есть картошку, забеленный молоком суп. Пару раз к нему заглядывал фельдшер, но никаких лекарств у него не было, и бабушка махнула рукой. Она взялась лечить его своими, старинными средствами. «Кали мой девер поранив в лесе руку и завялися черви, так покойник свекор лячив его салом. Каторае соленае. И вылечив, ага, не смейся, правда, — говорила она, обращаясь к скептически усмехнувшейся невестке. — Правду кажу».

Он поверил. Как же он мог не поверить, как мог возразить? Знал, как строить мосты, рассчитывать их грузоподъемность, разбирался в марках стали, цемента и многих других военных премудростях. Но в медицине, ставшей теперь для него проблемой жизни и смерти, смыслил мало. Сумел бы перевязать рану, но в нужный момент индпакета у него не оказалось. Пришлось довериться бабке.

И, в общем, произошло чудо. После нескольких перевязок с тонкими ломтиками соленого сала рана его заметно очистилась от нагноения и стала затягиваться. Он повеселел даже, появилась надежда на жизнь. Захотелось узнать, что происходит

на войне, где фронт, где наши. Женщины, по всей видимости, мало что знали. Станислава Викентьевна куда-то исчезла, за ним ухаживала бабушка. Несколько раз в боковушку заглядывали ребята, Миша с Володей, но, постояв у двери, скоро уходили.

И вот однажды вечером, уже в сумерках, он услышал в передней голос Станиславы Викентьевны и насторожился: голос ее показался ему горестно-встревоженным, готовым сорваться на плач. Немного погодя она зашла к нему в боковушку и молча опустила на табуретку у двери. Так же молча вскинула к лицу руки и зашлась в судорожном беззвучном плаче. Он ждал, ни о чем не спрашивая, и скоро она заговорила сама: «Муве, большевицы постшеляли польских долнежи...» «Где постреляли?» — не понял он. «Муве, постшеляли в России. Тых, цо брали в полон в тшыдзесце девентым року». — «Не может быть! Может, нёмцы?» — «Не, муве, большевицы! А пан большевик?» — вдруг спросила она и умолкла.

Он понимал, почему она плакала, — в числе расстрелянных мог оказаться и ее муж-офицер. Но вряд ли такое было возможно, чтобы расстрелять пленных. Хотя... Уже после того, как она ушла из боковушки, он стал думать и кое-что вспомнил из разговоров командиров позапрошлой весной. Тогда пришел приказ откомандировать группу саперов в Смоленск для выполнения секретного задания. Эту группу комплектовали в штабе, ее подбором и инструктажем занимался начальник особого отдела, что, в общем, было не совсем обычно, но тогда на это мало кто обратил внимание, и вскоре мало чем примечательный эпизод вообще забылся. Чтобы вот аукнуться для Булавского таким образом.

Но он не ответил на ее вопрос — большевик ли он. Может быть, впервые заколебался с такого рода ответом, хотя в кармане его гимнастерки два года как лежал партбилет с аккуратными пометками о взносах. Сказать что-либо определенное этой женщине у него не хватило решимости. А может быть, такта...

Теперь, когда он стал поправляться, его все чаще занимали беспокойные мысли о семье, о жене с дочкой. Где они? Что с ними? Удалось ли вырваться из Белостокского мешка? Где жена нашла пристанище? Родителей у нее не было, где-то под Москвой жил старший брат, может, она пробилась к нему? Мысли об ином, скверном, он упрямо гнал от себя, он ведь так любил свою Нинку — молодой неутоленной любовью. Война и

эта чудовищно несправедливая разлука усилили любовь до нестерпимости.

После того случая, когда Станислава Викентьевна не сдержалась от слез, она стала чаще заглядывать в боковушку. Обычно это происходило вечером, когда за окном во дворе сгушались поздние сумерки. Приносила ему молока или пару яблок из сада и молчаливо останавливалась у двери. Он должен был о чем-то спросить ее, — хотя бы о том, что происходит на станции, и она немногословно отвечала по-польски. Он уже привык за лето к языку поляков и, хотя сам мало что мог сказать на нем, будучи белорусом, понимал все отлично. «Нех пан опове о своей пани», — тихо попросила она однажды, и он неожиданно смутился. Что он мог рассказать о своей жене? Что она блондинка, высокая и красивая? Еще — хорошо поет. На командирских вечеринках ее всегда просили спеть что-нибудь из популярных тогда кинофильмов, и она, послушно поднявшись за столом, охотно пела. Может, за этот ее песенный талант он и полюбил ее, увидев однажды на шефском концерте; спустя три месяца они поженились. «Пан дуже коха жона?» — не дождавшись его рассказа, продолжала спрашивать Станислава Викентьевна. «Конечно!» — вполне искренне ответил он, почувствовав, как защемило сердце от давней, уже ставшей привычной боли. Привычную боль лучше было не трогать, наверно, чуткая учительница поняла это и заговорила о том, что болело у самой. «А я дужо, дужо кохам муюго Юрека, — вдруг дрогнувшим голосом сказала она. — Так кохам, як можно кохатъ тылько змарлэго. Бедны муй, нешчэнсливы поручик...» Что ж, подумал Булавский, хорошо, когда любят. Но живого. Потому как что толку любить погибшего? Но тут же усомнился: может, это его мужская логика? По женской же, может, иначе? Вполне возможно, что иначе...

Но вот ведь и он любил свою Нинку — возможно, уже мертвую, растерзанную где-нибудь на дороге во время бомбежки, засыпанную землей, давно похороненную... Что-то же остается от человека даже после его непродолжительной жизни? Но остается в сердцах и памяти близких. У далеких и незнакомых ничего остаться не может. Чего не было при жизни, то не может сохраниться после смерти. Из ничего получается ничто. Но у него было. Была любимая жена, дочь Олечка — ласковый, смысленный ребенок. Как же они могут бесследно исчезнуть из его души?

Пока он лежал в боковушке, его сильно угнетало чувство неловкости, которое приходилось испытывать по утрам, справляя неизбежную надобность. Для этой цели бабушка ставила под топчан старую жестяную посудину, и он старался улучшить время, когда обе хозяйки отлучались из хаты. Вся эта процедура стоила ему немалых усилий. Особенно скверно было от ощущения унижительного бессилия.

В то утро он поздно поднялся с топчана. В хате никого не было, и он решил испытать себя на мобильность. На одной ноге проскакал к порогу, то и дело хватаясь за стены и дверные косяки. На пороге взял бабушкин сковородный ухват на длинной ручке и кое-как добрался с ним до уборной за углом хлева. Его никто не заметил. Согнувшись в бороздах, женщины на огороде копали картошку. Голова неприятно кружилась, он пьянел от своей отчаянной вылазки и свежего прохладного воздуха. Добравшись обратно до боковушки, сел на топчан и сидел, чувствуя, однако, что надобно лечь. И в тот момент за окном мелькнула фигура в черной пилотке, с винтовкой на плече, за ней вторая. Это были полицаи. Несомненно, они направлялись в хату. С дрогнувшим сердцем Булавский торопливо прыгнул к двери и прикрыл себя ситцевой занавеской.

Опережая полицаев, в хату вбежала Станислава Викентьевна, заглянула в боковушку и, увидев пустой топчан, отпрянула — в дверь уже входили полицаи. Между ними и хозяйкой начался грубый разговор по-польски, из которого Булавский понял, что полицаи пришли чего-то требовать от учительницы, которая отчаянно что-то отрицала. Или от чего-то отказывалась, то и дело повторяя: «Я не вем, я не вем...» Едва удерживаясь на одной ноге за занавеской, он ждал, когда полицаи уберутся, но, похоже, те устраивались надолго. Полицай, что был помоложе, уселся к столу, грохнув о пол прикладом, другой продолжал приставать к учительнице, которая в отчаянии молила: «Рэнки, пан! Ниц рэнки!» Не обращая внимания на протесты, здоровенный полицай принялся теснить учительницу к боковушке; ударившись плечом в перегородку, наконец протолкнул ее в дверь; Станислава Викентьевна отчаянно отбивалась, и Булавский прикидывал, как выхватить из-под подушки ТТ. Но не успел: полицай возле топчана уже заламывал учительнице руки. Теряя самообладание, Булавский вскрикнул: «Сволочь!» и выскочил из-за занавески. Содрогнувшись в испуге, полицай оставил жертву и медленно обернулся.

В первый момент Булавскому показалось, что он спас Станиславу Викентьевну, но тут же понял, что погубил. И Станиславу Викентьевну, и бабушку, застывшую у порога, и себя тоже. Полчаса спустя его уже волокли куда-то по улице, рядом в накинутах на плечи домашнем платке шла Станислава Викентьевна. Со двора доносился негромкий плач бабушки.

Потом в землянках и бараках шталагов он немало передумал о своем безрассудном поступке и не находил выхода из той ситуации. Что он мог тогда сделать иначе? Может быть, поступи он по-другому, его жизнь сложилась бы не так беспросветно, может, полицейский его не заметил бы. Тем более что, как потом оказалось, полицейские приходили вовсе не за ним — они о нем еще не успели пронюхать. Но как ему было бы оставаться в той хате? Или надобно было уйти? Но он не мог уйти с не сгибающейся в колене ногой. А главное — как бы он смог глядеть в глаза этим женщинам. И не только этим... Наверно, он бы не смог больше любить и свою Нинку. Живую или уже мертвую. Наверно, в тот момент, когда он перестал управлять собой, неведомые силы руководили им, и в безрассудном порыве отступила логика, и победила моральная власть инстинкта. В этом, однако, нет ни его вины, ни его доблести, все это присуще человеку. Если он человек, конечно.

Гауптвахта пробуждалась рано, как только начинало светать. В коридоре слышалась команда: «Подъем!», выводные отбирали из камер дощатые топчаны и по одному начинали выводить — на opravку. Процедура, в общем, почти одинаковая что у немцев, что здесь. Всюду торопят — быстро, быстро, — словно под арестом у них и само время.

Выводных было всего двое, и они сначала выпускали арестантов из соседних камер, Булавского вывели последним. Он числился на гауптвахте вроде временным, или прикомандированным, или как они еще могли его называть? Наверно, по этой причине и отношение к нему было особенным — настойчивость, смешанная со сдержанным интересом, читалась в узких глазах выводного-узбека. Не бойся, не убеги, мысленно говорил ему Булавский, от своих не убегают. Я не шпион, не диверсант... Но тут же у него возникал вопрос: а кто же он? По-видимому, жертва. Да, именно жертва. Но почему жертва? Война окончилась, он живым вернулся на родину. Пусть не победитель — к победителям он не мог причислить себя. Но и не жертва. Очень не хотелось ему оказаться в этой малопо-

ченной, если не постыдной роли, но и другой для себя он определить не мог.

Справив нужду в солдатском сортире, он невольно задержался на пустом дворе, с трех сторон огороженном глухим дощатым забором. С четвертой высилась кирпичная стена соседнего дома, с наглухо замурованными окнами. Подле этой стены привольно разбросал ветви старый каштан. Крона дерева за весну оделась листвой и, наверное, за прошедшую ночь густо убралась множеством белых свечей — будет урожайный год на каштаны. Два последних военных месяца, которые Булавский пробыл во Франции, он только и питался каштанами — голод заставил. Голод терзал его почти все годы войны и вынуждал привыкнуть к самой невообразимой пище. Потому что к голоду привыкнуть нельзя. Как и к предательству.

Похоже на то, что его действительно предали. И кто — самый близкий, родной, нежно любимый им человек. Впрочем, только такой и может предать. Не предаст же чужой и далекий — тому предавать нечего. Но он долго не мог в это поверить. Вернувшись из плена, многие месяцы писал запросы. Работал в стройтресте сторожем, отдежуривав ночь, запирался в пустом вагончике и писал. Куда только было возможно: в военкоматы, адресные бюро, паспортные столы, горисполкомы и домоуправления. Никого из знакомых или сослуживцев он не мог разыскать, приходилось обращаться к незнакомым людям. И он напал на ее след... Но она уже носила другую фамилию и его не признала. Ни на одно из своих двенадцати писем он не получил ответа. Впрочем, ответ все-таки был, и он обескуражил его. На казенном бланке какого-то исполкома сообщалось, что гражданка Филиппова Н. И. супругой гр. Булавского не является и просит оставить ее в покое. Но гражданка Филиппова до войны проживала под фамилией Булавская — это он выяснил точно.

Прояснением данной ситуации скоро заинтересовались и «компетентные» органы. Особенно после того, как его бывшая жена предъявила им справку о том, что военинженер III ранга Булавский погиб 23 июня 1941 года и исключен из кадровых списков КА. На основании этой справки вдова несколько лет получала пособие и, по всей видимости, вышла вторично замуж. Но ведь он еще год назад сообщил ей, что жив, и не получил ответа. «Мы посылали гражданке Филипповой ваше нынешнее фото, и она сделала письменное заявление, что вы — не ее пер-

вый муж. Так кто вы в действительности?» — добивались от него в **Смерше**.

Чтобы оправдаться, доказать, что он — это он, ему крайне нужны были документы, которых у него решительно никаких не сохранилось. Не было и свидетелей — сослуживцев, соседей, родственников. Сразу после освобождения из плена он съездил в Витебск, побродил по развалинам — на месте дома, где он родился, в человеческий рост вымахали лопухи. Не сохранилось и переулка возле Суражского шоссе, где он жил. Его прошлое оказалось безнадежно отсеченным от его нынешней жизни, хоть начинай жизнь сначала. Если бы это было возможно.

Он пережил, казалось бы, все: тяжелое ранение, унижение плена. Изнемогая от непосильного труда в угольных штреках Рура, изо всех сил старался держаться, не надломиться, не свалиться в небытие. О родине он думал немного, знал: родина для него уже перестала быть матерью, а после плена наверняка станет мачехой. Матери у него давно не было, отца тоже. Сослуживцы по большей части полегли на белорусских полях в сорок первом. Но он надеялся, что где-то живы две его самых родных души — жена и дочь, и эта надежда согревала его, была спасением. Надо было только стерпеть, выжить, дождаться...

И вот дождался. Очной ставки.

В камеру принесли завтрак — железную миску перловки, к которой он не притронулся. Ходил из угла в угол, чтобы как-нибудь совладать со все более охватывающим его беспокойством. Четверть часа спустя в камеру заглянул выводной: «Ну, ты будешь есть или забрать?» Он только махнул рукой. С нетерпением ждал следователя. Терехин пришел лишь к полудню.

Весело переговариваясь у входа с начальником гауптвахты, немолодым старшим лейтенантом технической службы, Терехин кивнул выпущенному в коридор арестанту и вывел его на улицу. Привычно прихрамывая, Булавский покорно шел за капитаном. С нагретой полуденным солнцем улицы они скоро свернули в крохотный скверик, на углу которого скучаясь приткнулись к скамейке две деревенские бабки с раскрытыми торбочками подсолнечных семечек. Обе испуганными взглядами проводили его до поворота. Только здесь, на неметеной, забросанной окурками дорожке, Булавский обнаружил позади конвоира — ладного, плечистого солдата с автоматом на ремне. Похоже, на этот раз конвоир был не из караула, возможно, из контрразведки. Значит, они действительно его подозревают,

подумал Булавский. Плохо тогда обстоит дело — эти напрасно подозревать не любят.

Отдел контрразведки Смерша занимал некогда ухоженный особняк с острой черепичной крышей; через обитую железом калитку они прошли во внутренний двор с несколькими легковыми машинами у дальней стены. Прошли в комнату на первом этаже — пустую, с единственным столом у зарешеченного окна, с двумя стульями, наверное, выделенную для допросов. Капитан Терехин, поглядывая на часы, с видимым беспокойством то и дело подбегал к окну, машинально задавая пустые вопросы:

— Ну как — ничего? Выспался? На гауптвахте только и спать — правда? Как на курорте...

В который раз взглянув на часы, тихо произнес про себя: «Опаздывают», — повернулся к Булавскому:

— Ну вот что! Пока есть время, садись за стол, пиши автобиографию. Поподробнее только.

Булавский покорно опустил на стул сбоку, придвинул поданный ему лист бумаги. Писание подследственными автобиографий было любимой процедурой следствия. На эти автобиографии еще в фильтрационном лагере изводилась масса бумаги, и он тогда думал: читают ли их вообще? Оказалось, не только читают — скрупулезно изучают, а главное, сравнивают и анализируют, стремясь уловить противоречия. В случае, если две написанные человеком автобиографии оказывались совершенно тождественными, это тем более казалось им подозрительным. По-видимому, они полагали, что подследственный заучил легенду и не может отступить от нее. И так и эдак было плохо. Для подследственного, разумеется.

Стоя у окна и не оборачиваясь к Булавскому, капитан произнес что-то, как бы с намеками, не договаривая:

— Понимаешь, скоро они приедут, и ты посмотри, она ли это? Даже если она, понимаешь... Все-таки женщина. Если не признает, зачем тебе ее признавать?

— Как? — не мог чего-то сообразить Булавский.

— Ну, понимаешь, зачем портить ей жизнь? И ему тоже. Большой человек. Заслуженный...

— Ах вот что! — протянул Булавский. — А он кто, этот заслуженный человек?

Капитан поежился как от чего-то докучливого, еще раз взглянул в окно.

— Ну понимаешь... Он ответственный начальник. Из наших органов...

— Понятно, — только и нашелся сказать Булавский.

Кажется, ему действительно кое-что становилось понятно. По всей видимости, дело было не в ней, его бывшей жене Нине Ивановне, — дело в ее новом муже. О нем и заботился следователь. Что ж, подумал Булавский, может, капитан и прав: не надо упорствовать. Зачем портить обоим жизнь, пусть живут долго и счастливо. Без Булавского, разумеется, — он здесь лишний. И он решил про себя: если она его не признает, он ее не узнает тоже. Пусть все будут довольны. Тем более ее заслуженный муж, который из органов. Спасибо, товарищ капитан, за подсказку.

В очередной раз взглядевшись в окно, капитан встрепенулся — они приехали. Прошуршав по песку колесами, во дворе остановилась машина, сразу же умолк двигатель. Терехин поспешно занял за столом свое место, Булавский остался сбоку. Широко распахнув дверь, в комнату вошли два офицера — высокий блондинистый капитан и пожилой майор с заметным брюшком под кителем — похоже, ответственный чин из военной прокуратуры. Они перекинулись с Терехиным несколькими маловразумительными фразами и кому-то скомандовали за дверь: «Пусть войдет».

Булавский весь напрягся на стуле, готовясь к самому, может быть, важному моменту в своей жизни. Чувствовал, сейчас что-то решится, от чего переменится его судьба. Как он ни старался сохранить спокойствие — оно ему не давалось, сразу стало подниматься давление, застучало в висках. И вот растворилась дверь, и в комнату как-то замедленно-робко вошла молодая женщина в легком крепдешиновом платье, с черной сумочкой в руках. Светлые волосы ее были по моде взбиты надо лбом и густо опадали на плечи. Несмелым взглядом она окинула офицеров, следователя за столом и его рядом тоже. Кажется, не подала виду, но он все-таки заметил, как в глазах ее что-то дрогнуло, потом она смотрела только на следователя. Конечно, это была Нинка, его Нина Ивановна, которую он не видел столько лет. Она вроде даже не изменилась, разве пополнила немного и, кажется, что-то утратила от своей прежней самоуверенности.

— Гражданка Филиппова, вы узнаете этого человека? — спросил Терехин. Нина внимательно, без робости посмотрела на

бывшего мужа, слегка прикусила краешек губы и молча покачала головой.

— Посмотрите внимательнее: вы его не узнаете?

— Нет, — ответила она едва слышно.

— Так, хорошо, — продолжал свое дело следователь и обратился к Булавскому:

— А вы, гражданин подследственный, узнаете в этой женщине бывшую свою жену?

Пробил его час. Сейчас Булавский что-то ответит, и свершится главный вердикт его несчастной судьбы. Пусть будет строг, но справедлив. Булавский взгляделся в лицо Нины, их взгляды встретились, и в глазах жены он прочел давнюю, застарелую жалость — к себе, а может, и к нему тоже.

— Нет, — произнес он почти вопреки своей воле, тотчас почувствовав, как что-то в нем разом сместилось со своего привычного места. Это, похоже, испугало его, но что-либо исправить, наверно, было уже поздно.

— Значит, вы — незнакомые люди? Так? — завершал процедуру следователь Терехин.

Офицеры у стены, Терехин, Нина напряженно ждали, предугадывая его последний ответ. И он тихо произнес одними губами:

— Так.

Что ж, похоже, все было окончено; больше у этих людей в погонах дела к нему и его бывшей жене не было. Нина повернулась и, не прощаясь, тихо вышла из комнаты, за ней вышел блондинистый капитан. Толстый прокурор подошел к столу Терехина, который что-то торопливо писал.

— Ну а с этим что? — кивнул он в сторону Булавского.

— Будем разбираться, — буркнул капитан.

— С ним надо работать. Видно, не простая птичка.

— Да уж конечно...

Все еще находясь под впечатлением происшедшего, Булавский не сразу расслышал и не очень понял, о чем они. О ком? Когда же наконец смысл их слов достиг его смятенного сознания, он внутренне съежился — так вот что! Это он — не простая птичка. Может, и не Булавский вовсе? Впрочем, он же и сам подтвердил это. Называется, пошел навстречу. Выручил бывшую жену и ее заслуженного мужа. А сам как же?

В полном смятении мыслей и чувств он направился к выходу, куда ему указал капитан, с каменным лицом последовавший сзади. Куда-то его вели, — может, опять на гауптвахту. В кори-

доре следователь зашел вперед, сзади пристроился конвой — на этот раз два автоматчика, и Булавский понял: дела его плохи. Доселе были плохи, стали еще хуже.

Его вывели со двора, вслед за следователем перевели на другую сторону улицы — к знакомому скверу. Здесь было прохладнее в тени деревьев, у входа в сквер лежала опрокинутая урна с мусором. На свежеевыкрашенной в зеленый цвет скамейке прилепилась развернутая газета, — видно, ночью на ней кто-то сидел. Может, какая-нибудь влюбленная парочка, подумал Булавский и, услышав шум проходящей мимо машины, обернулся. Быстро проехал «виллис», на заднем сиденье его мелькнула знакомая фигурка в цветастом крепдешиновом платье с прильнувшей к ней светловолосой девочкой — ветер трепал ее пышный бант на макушке. «Оля!» — взметнулся в нем немой крик, тут же оборванный сухим окриком сзади: «Не отставать, не отставать!» В самом деле, капитан, не оглядываясь, быстро шел впереди, хромой арестант отставал. Может, это и не Оля, подумал он. Кто сидел на переднем сиденье «виллиса», он так и не успел заметить.

Что ж, может, и правильно. Может, и правильно он поступил — так будет лучше. Хотя бы для них. О себе почему-то не хотелось думать, он не распоряжался собой. Ни теперь, ни в прошлом. Им распоряжались другие. Люди, начальство, судьба. И так всю жизнь.

Всю его проклятую, беспросветную жизнь...

ДОВЖИК

Рассказ

По обе стороны узкой, посыпанной гравием дорожки тянулись многочисленные ряды могил городского кладбища. Еще недавно здесь были сельхозугодья пригородного совхоза, выращивали картошку, капусту, ранние овощи. Но рос город — разрастались и городские кладбища. И вот оно — скопище плотно теснящихся могильных выгородок — из уголка, дерева, добытого со строек арматурного железа. Почти все — с неременной стелой, выполненной в популярной форме морского паруса, но лишь отдаленно напоминающей таковой. Крестов на захоронениях советской эпохи почти не видать, разве где-нибудь на верхушке каменной стелы процарапан и обведен черным тоненький православный крестик. Некоторые памятники украшены небольшими, с ладонь, овальными фотографиями на фарфоре, переснятыми с молодых фотографий усопших, улыбающиеся лица которых слабо соотносятся с данным местом их бытования.

Неподалеку от центрального входа вдоль дорожки высился недлинный ряд одинаковых «парусов», с красными звездами на верхушках и увеличенными портретами молодых людей на лицевых сторонах стел. Это — афганцы, все в лихо заломленных на ухо беретках, полосатых тельняшках на распахнутой груди. А двое даже с неизменным другом боевой поры — автоматом Калашникова в цепко сжатых спецназовских руках. Некоторые беспечно улыбаются, по-видимому, еще не догадываясь, что по прошествии недолгого времени суждено им превратиться из бравых победителей «духов» в банальные издержки живучей идеологии братской помощи.

А через дорогу, напротив — иная группа памятников, побогаче и впечатлительнее, — массивные монолиты, преимущественно из черного полированного базальта, с поясными портре-

тами парней в красиво лоснящейся на зеркальных плоскостях коже и надписями определенного толка. «Твой успех обмываем без тебя, Бобок», «Косой, мы отомстили», «Жди меня, лапка, и я вернусь. Твоя Разявка», — значится на полированных боках монументов, обнесенных тяжелыми цепями с медными шарами по углам. Это — издержки короткой и бурной эпохи начального перераспределения капиталов.

Макаревич медленно шел по дорожке, умиротворенно созерцающая материальные плоды человеческой тщеты, лениво предаваясь печальным размышлениям о бренности земного. А равно — о загадочности потустороннего, когда тело остается на этом вот бывшем совхозном поле, а душа отлетает куда-то. Но куда? — вопрос, на который человечество так и не нашло убедительного ответа за все века своего существования. Видно, очень жесткое табу лежит на этой загадке, разгадать которую не дано. И Макаревич думал, что вполне может стать, что до сих пор не разгаданного просто не существует, и всякая человеческая жизнь банальным образом и заканчивается на таком вот кладбище. Разве проживет недолго в памяти двух-трех поколений близких и уйдет в небытие. Навсегда и безвозвратно. Так стоит ли тщиться с памятниками, стелами и выгородками? К тому же, согласно коммунальным законам, кладбища лет через пятьдесят ликвидируются, чтобы опять превратиться в территорию под очередную новостройку или стадион для футболистов, продолжал размышлять Макаревич, углубляясь в кладбищенские дебри. Он искал нужную ему могилу, место которой запомнил плохо, да и топография местности очень изменилась за полтора десятка лет, какие он здесь не был. Помнится, хоронили зимой, могила утопала в глубоком снегу, дул холодный морозный ветер, они все промерзли, пока говорили речи, и, поспешно забросав могилу комьями мерзлой земли, побежали в поджидавший их на дороге автобус.

С тех пор он здесь не был.

И видно, зря не был. Все-таки, пока жив, на кладбище, как и в церкви, надобно бывать чаще и вовсе не ради покойников или Господа Бога — для себя. По существу, как и покойники, ты тоже в большей степени принадлежишь прошлому, куда, за неимением будущего, рано или поздно вернешься из своего суетного, неуловимого настоящего, которого, вполне возможно, тоже не существует. Вместо него — сплошные иллюзии, стремительные ласточки, пронсящиеся в сумеречном потоке сознания. То ли дело — твое хорошее или плохое прошлое, лежащее

в душе каменной глыбой, над которым никто не властен — ни природа, ни закон, ни начальство.

Глядя на скопище разноликих могил и надгробий, необыкновенно стесненных даже на этом просторном кладбище, Макаревич думал: и тут теснота, и тут нет свободы. Мало ее было при жизни, не стало больше и на кладбище. Может, она людям и не нужна? Может, их влечет лишь сладостный процесс борьбы за свободу, достигнув которой, они тут же начинают строить из нее клетку в виде фашизма, тоталитаризма, тюрьмы и армии. Свобода становится уделом только бомжей, которые от нее также не всегда в восторге.

Макаревич прошел десятка два могильных рядов, скользя рассеянным взглядом по кладбищенскому разнообразию. Или однообразию, что на кладбище, пожалуй, одно и то же. Местами между могилами видны были люди, преимущественно женщины, — убирали, обустроивали, украшали последние пристанища близких. Скорбный, но и благородный труд — без расчета на вознаграждение, от чистого сердца. Оттого, наверно, некоторые могилки из тех, что поближе к дорожке, выглядели так празднично прибранными, чистенькими, с цветочками за оградкой, свежеекрашенной в темные тона. На мраморе то тут, то там торжественно отливали золотом подведенные надписи — дорогому такому-то от любящей вдовы и детей... От преданного коллектива сотрудников... На высоком углом, несколько шире, чем обычно, «парусе» матово светился тройной портрет похороненных — взрослый и две детские головки. Макаревич горестно отвел взгляд, скорее всего — трагические жертвы дорог, неизбежная плата за запоздалую автомобилизацию, в которую бросились люди, не обеспеченные ни безопасной техникой, ни хорошими дорогами. Иначе почему у нас, где количество автомобилей в десять раз меньше, чем в Штатах, смертность на дорогах в два раза выше?

Слава Богу, его покойник умер в собственной постели, окруженный любящей семьей, преданными сотрудниками по институту, которым он руководил много лет. Не обойденный также, вниманием властей, регулярно награждавших его и поставивших скромный, но в общем приличный памятник из популярной мраморной крошки. Дальнозоркий Макаревич еще с дороги увидел его широкое, улыбающееся со стелы лицо и, обрадовавшись словно живому, свернул по проходу.

— Ну, привет, Алексей Иванович, давно не виделись, — проворкотал он и остановился, положив руки на пыльную поперечину ограды.

Последнее с ним свидание хорошо помнил — сам валялся в больнице с третьим инфарктом. В те годы инфаркты лечили тщательно и долго, неделями не позволяя подниматься с постели, что в общем было довольно тягостно. Поначалу эта тягостность разряжалась частым посещением родных и знакомых, но со временем эти посещения редели. В один из таких тяготных дней к вечеру в палату, где лежал Макаревич, явился оживленный, румяный с мороза Алексей Иванович. Долго не мешкая, выложил на тумбочку пяток апельсинов, кусок колбасы, извлек из целлофанового пакета заветную бутылочку с аистом. «Ну ты как? Ничего? Поправляешься? Ну и хорошо. А как насчет этого? Нет? Ну нет, так нет. Тогда я за твое здоровычко. Чтoб скорее это самое... А то там студенты соскучились: зачеты все-таки...» — возбужденно говорил он, не очень дожидаясь ответа.

Натренированной за долгую руководящую жизнь, твердой рукой он плеснул в стакан ровно сто грамм — не больше, и выпил. Выпив, вроде бы — посерьезнел, успокоился, стал рассказывать об институтских делах, проблемах со снабжением, завале финансирования на третий квартал. Макаревич рассеянно слушал, с завистью думая о его ключом бьющей энергии, деловитости и здоровье, чего давно уже сам не имел. Откуда ему было знать, что спустя ровно неделю, в день его выписки из больницы, Алексея Ивановича сразит первый и последний в его жизни инфаркт, и его придется хоронить на этом вот утопавшем в снегу пригорке.

Памятник в общем был не хуже других, но вот об ухоженности могилы нечего было и говорить, видно, с весны никто не появлялся. Какие-то мелкие цветочки по краям бетонной цветочницы безнадежно поникли на сухой земле, из которой тянулись вверх сорняки. Когда-то красные, гвоздики в пыльной стеклянной банке превратились в сухой колючий гербарий. Макаревич отогнул на калитке конец проржавевшей проволоки и вошел в ограду. Повесив на угловой столбик пиджак, повыдергал сорную траву из цветника, вытряхнул в угол сухие гвоздики из разбитой банки. Надо было протереть каменный фасад памятника, от пыли давно ставший матовым, полить оставшиеся цветочки, может, они бы и ожили. Вода находилась далеко, у входа на кладбище, а у него не было посуды, и он пошарил окрест глазами в поисках кого-либо поблизости.

Невдалеке, чуть ниже по склону, возле трех одинаковых обелисков возились пожилая женщина с девочкой, — обе, сидя на корточках, что-то сажали в цветочнице, и он пошел к ним.

— Здравствуйте, — поздоровался Макаревич, подходя к женщине. Та обернулась, выпрямилась, ухватясь обеими руками за натруженную поясицу. Это была седенькая бабуля с добрым лицом. Слегка распевно она ответила на его приветствие.

— Мне ведерочко на минуточку не одолжите? Я тут вон — поблизости, — сказал он, уже увидев возле ее сильно налитых полнотой ног пластмассовое ведро.

— Ну почему же! Если надо, возьмите. Вы же не насовсем, принесете... Лет семи девочка в цветастом сарафанчике и белой панамке тут же вспорхнула от рассады и по-детски доверительно сообщила:

— А наш дедушка скоро придет, принесет георгины и флоксы, мы будем сажать.

— Это хорошо — сажать флоксы, — сказал Макаревич и с ведром в руке пошел с пригорка.

Охваченный конкретной заботой, он утратил охоту рассуждать о бренности земного, сентиментальное чувство отлетело, надо было что-то делать. Навстречу ему шли люди — женщины с детьми, старушки с кошелками в руках, некоторые несли ведерки и лопатки. Проковылял высокий худой инвалид на протезе, с палочкой в руке. Кончался рабочий день, из города прибыл нечастый на этом маршруте автобус, люди вспомнили о своем долге перед умершими.

Возле трубы с краном, для удобства пристроенной на деревянных козелках, он наполнил ведро и неторопливо понес его к могиле Алексея Ивановича. Поливая из пригоршней, обмыл фасад памятника, отчего лицо покойника словно проявилось из пыли, обрело четкость и свежесть. Оставшейся водой побрызгал на цветочницу с заморенными цветками — может, оживут. Все-таки было печально, что из немалой семьи покойника так никто и не собрался за лето на эту могилку. Некогда? Наверняка некогда, но все-таки... Он тоже собрался первый раз за пятнадцать лет — негусто. Но вот сделал небольшое дело, и стало как-то облегченнее на душе — словно для живого. Для какого-то его удобства. Хотя покойнику уже ничего не надо, значит, для себя это, для собственного удовлетворения. Странное все же чувство, привередливая потребность души. Какой в том смысл? А какой вообще смысл в жизни?

Впрочем, наверно, напрасно искать смысл там, где его, по-видимому, никогда не было. Не по своей воле появился на свет и живешь не по своей воле. А придет пора уходить — катастрофа. Вроде, несправедливость какая. А ведь давно и справедливо сказано: ничто не вечно под луной. Все, что имеет начало, должно иметь и конец. Иначе и быть не может. Очень гармонично, справедливо и вполне демократично. Вечно жить невозможно, но при наших порядках нашлись бы исключения. Для начальства, для депутатов. Само собой — для коррупционеров, за деньги. Нет уж, лучше пусть будет, как есть. Отбыл свой черед на земле и уходи. Уступи место другому.

Недолго отдохнув, облокотясь на оградку, он надел пиджак, поднял ведерко.

— Ну пока, Алеша, до следующего. Здесь или там, — сказал он, сразу ощутив пронзительную жалость к себе, вспомнив кладбищенское «Я уже дома, а ты еще в гостях».

Отнеся ведерко, поставил его возле черной, свежеекрашенной оградки, за которой высились три одинаковых обелиска, каждый с крохотной клумбочкой у подножья, уже с высаженной цветочной рассадой. Бабуся с готовностью поднялась навстречу и тотчас, видно, с усталости опустилась на скамейку у оградки.

— Вот, спасибо, прибрал и полил...

Прежде, чем уйти, бегло скользнул взглядом по обелискам — на первом были две фамилии с именами и датами, на втором — та же, одна, а третий белел чистым, подготовленным к надписи квадратом. Фамилии привлекли его внимание. Довжик. Откуда-то, может, из глубины подсознания, вынырнула забытая фраза, и он произнес:

— Довжик из Малых Довжиков?

— Ага, Довжики мы. Не здешние, это из-под Полоцка. Тут мы после войны, как брат пришел из армии и начал на тракторном работать, — словоохотливо заговорила бабуся.

— Довжик из Малых Довжиков, — повторил он. — Здесь кто? Муж ваш?

— Нет, это дедушка. И бабушка. Знаете, они в один год померли. Тут уже, на тракторном.

— А тут тетя Настя похоронена, — охотно сообщила девочка, указывая на средний обелиск, где лаконично значилось: «Довжик Анастасия Ивановна. 1936—1967», — она на самолете погибла.

— На самолете?

Бабуся принялась рассказывать, как невестка полетела по туристской путевке в Чехословакию и погибла со всеми вместе, привезли запечатанную урну... Рассеянно слушая ее, Макаревич глядел неотрывно на третий обелиск с девственно чистой табличкой и боялся спросить. Но спросить все-таки пришлось.

— А что там? Или никто не похоронен?

Бабуся подобрала под передник натруженные руки и едва слышно сказала:

— Никто.

Кажется, он понял. Так иногда делают особо запасливые — обустроивают участок, ставят памятник с обозначением фамилии, датой рождения и двумя цифрами роковой даты, последние оставляя на потом.

— Тут для себя оставила и для братца Володи.

— А что брат? Жив?

— Пропал. На войне. Писали — нигде нет: ни в списках убитых, ни в списках пропавших без вести. Может, найдется...

— Володя? — встревоженно спросил Макаревич. — Володя Довжик?

— Ну. Двадцать годков было парню.

— А где пропал? На фронте, в партизанах?

— В партизанах, ага. В сорок втором году. Пошел и пропал. Писали в архив и командирам — никто не знает, нигде не числится. Может, в плен попал, может, еще что... Может, вы где встречали? — со вспыхнувшей в глазах надеждой спросила бабуся, наверно, почувствовав охватившее его волнение.

— Я? Да нет, нет...

Он сдержанно простился и пошел между рядами к дорожке. Его волнение медленно перерастало в гневное возбуждение, и он тихо сам себе говорил:

«Сволочи! Надо же... Даже из списков вымарали. Или не занесли. В жмурки играют...»

Поначалу он готов был усомниться, не сразу поверив своей догадке — все-таки прошло столько лет. Но вот подкорка, подсознание услужили на удивление точно. И что там только хранится, какие происходят процессы в его стареющей голове?.. Он давно уже забыл эту фамилию, если бы потребовалось вспомнить, вряд ли бы вспомнил. А тут рефлекторно, будто выстрелил кто-то, как увидел на обелиске давно забытую фамилию, моментально выскочила вся знакомая фраза: «Довжик из Малых Довжиков»... Конечно, он знал и пропавшего Володю, и его село, — ночью ходили через него на железку. Знал,

как и многих других и оставшихся в живых партизан, и погибших, с которыми довелось когда-то делить хлеб, жизнь и не пришлось разделить смерть. Это теперь годами работаешь рядом, в одной организации, и толком не знаешь человека. Или живешь двадцать лет в одном доме и лишь здороваешься при случайной встрече в подъезде. Там все было иначе, время там текло по иному, особенным законам. С этим Довжиком он провел вместе всего два дня, а вот запомнил, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. И не по собственной воле — может, вопреки ей.

Мокрой туманной ночью девятнадцатилетний партизан Макаревич стоял на посту в ближнем охранении и сменился лишь на рассвете. Утром его не сразу разбудили, он запоздал с завтраком и не успел доесть остывшее в котелке хлебово, как слышалась команда на построение. Хватая оружие и вещички, в шалашах засуетились партизаны их «непобедимого и непромокаемого» отряда имени «надцатого съезда ВЛКСМ», неласково матерясь про себя по поводу входивших в отряде в моду неурочных построений. Действительно, с некоторых пор они почти ежедневно строились — для смотров, политбесед, но больше для суровых накачек нового, не всегда трезвого командира отряда. Прежний командир был не такой, но прежний месяц назад погиб. Возвращаясь с разведгруппой из другого отряда, наткнулся на полицейскую засаду, их обстреляли, и шальная пуля, выпущенная в ночь наугад, сразила его. Все остальные вернулись живы-здоровы, а командира на другой день закопали. Скоро, однако, явился новый — где-то и кем-то назначенный, в отряде никому не знакомый. Партизаны, еще не успевшие пережить гибель прежнего, организовавшего этот отряд и год провоевавшего с ним, встретили нового молча и настороженно. Наверно, командир почувствовал это и затаил обиду.

Для начала он расстрелял перед строем начальника снабжения, бывшего бухгалтера сельпо. Но того, может, и стоило расстрелять за его темные делишки с местной полицией, а главное, за пьянство и наплевательское отношение к партизанскому пищевому довольствию. Затем, после ночной фальштревоги, командир собственноручно избил ротного Савчука, который вроде бы не выполнил его приказа об усилении бдительности — вместо шести ночных дозоров выставил четыре, пожалел партизан. Командир был помешан на усилении бдительности и даже в пуше, где отряд размещался прежде и где на двадцать киломе-

тров вокруг не было ни одного живого человека, окружал себя тройной цепью охраны. Но для столь высокой бдительности требовались люди, и партизаны весьма скромного по количеству отряда изнемогали от непомерной тяжести караульной службы. Каждую ночь несколько десятков человек зябли и мокли в многочисленных заслонах, секретах, дозорах, а днем вынуждены были отправляться за десятки километров на заготовку продовольствия, ликвидацию предателей из числа деревенских старост, уклоняющейся от партизанства молодежи, примакон и окруженцев.

Придерживая на бегу винтовку, Макаревич поспешил в строй, который уже неровно вытянулся на мокрой с ночи полянке. В отряде он был еще новичок, воевал здесь первый месяц и далеко не каждого партизана знал в лицо, не то что по фамилии. Пока он бежал, перед строем появился командир, плотный, небольшого росточка кавалерист, в сопровождении черноволосого адъютанта. Времени искать свое место в строю у Макаревича не было, и он приткнулся на левом фланге шеренги, когда уже прозвучала команда «Смирно!». Скосив взгляд, увидел стоявшего рядом соседа — рослого, худого парня, которого прежде вроде не встречал.

Командир вместе с адъютантом, за его смоляную, выпавшую из-под фуражки шевелюру прозванным Махно, прохаживался перед строем. Исподлобья всматриваясь в молодые и не очень, сплошь исхудавшие, далеко не молодецкие лица партизан, словно искал кого-то. Все молча и неподвижно замерли, не понимая, чего от них хочет этот человек, во власти которого была жизнь и смерть каждого. Стоя в отдалении, похоже, так же томились начальник штаба отряда молчаливый лейтенант Куропаткин и еще кто-то незнакомый. Пройдя до конца шеренги и, как показалось Макаревичу, зафиксировав на нем свой испытующий взгляд, командир вернулся на середину поляны.

— Где дисциплина? — грозно прорычал он. — Где порядок? Где бдительность? Дисциплины нет! Порядка нет! Бдительности нет! — объявил он крепким командирским голосом, заключив все не менее крепким матом.

В строю, наверно, как-то отреагировали на это становившееся уже привычным выступление, может, заговорил кто-то, и командир продолжил с еще большим азартом:

— А команда «вольно» была? Я спрашиваю: команда «вольно» была? Не было команды «вольно». Так какого же хрена вы

ерепенитесь?.. Смир-р-рно! — закончил он совсем уж громовым криком, от которого, казалось, качнулись мокрые верхушки сосен. Макаревич, похоже, тоже вздрогнул, а сосед тихо проговорил с невозмутимой улыбкой:

— Ох, как грозно, как страшно!..

В его тоне слышалась явная насмешка, и Макаревич с тревогой подумал — хоть бы на полянке не расслышали. Но нет, все-таки далековато. Тем более что командир с упоением продолжал разнос:

— Я наведу порядок! Я заставлю выполнять приказы командования! Я заставлю уважать дисциплину!..

— Какой як! Хоть поклажу кладу, — тихо бормотал сосед.

— Бдительность, бдительность и еще бдительность! — раздавалось на осенней поляне. — Понятно, аллюр три креста?

Похоже, наконец он уgomонился; кавалерийская команда, произнесенная, видно, для собственного успокоения, была первым того признаком.

Начальник штаба подал команду «вольно», и вся командирская группа направилась к стоявшим невдалеке оседланным лошадям. Отряд в здешних лесах размещался рассредоточенно, и командир с охраной разъезжал между подразделениями, появляясь в них в самое неожиданное время.

Оставшись без командира, партизаны не спешили расходиться, командиры поменьше принялись распределять людей по нарядам, некоторые курили или просто ждали. Обычно после построения люди оживлялись, слышались смех и шутки; но сегодня было не до шуток, после несправедливой взбучки мало кого тянуло на юмор. Сосед Макаревича отошел к группе знакомых, о чем-то скупно переговаривался там. Появился Махно, неопределенного возраста человек, перетянутый ремнями, с немецким автоматом на плече.

— К командиру! — кивнул он соседу, и тот, недоуменно пожав плечами, покорно пошел к дожидавшемуся возле лошадей командиру.

Макаревич проследил взглядом за ним, вперевалку шагавшим по мокрой хвое в измятой красноармейской шинели, которая была ему до колена. Подойдя, тот, как и полагалось, взмахнул рукой к облежавшей голову пилотке, и между ним и командиром произошел не слышный издали разговор. Впрочем, разговор казался спокойным, без крика, и это успокоило Макаревича, ожидавшего чего-то скверного.

В это время его окликнул взводный старшина Дмитренко, объявивший, что Макаревич назначается в дозор со стороны деревни Вязовичи.

— А где это? — спросил Макаревич, но и комвзвода не знал, прежде дозоры туда не назначались.

— Кто знает? — спросил Дмитренко, но никто ему не ответил, похоже, никто не знал.

А если и знал, кому была охота тащиться невесть куда, может, черту в зубы. Но тут подошел сосед по строю с явной озабоченностью на худом мальчишеском лице.

— Вон Довжик знает, — подсказал кто-то, и старшина обернулся к нему:

— Где Вязовичи, знаешь?

— Знаю, — уверенно ответил Довжик.

— Пойдете в дозор. Командир приказал. Где мостик, знаешь? Отправляться надлежало тотчас же.

— А сменят когда? — спросил Довжик, из вопроса которого Макаревич заключил, что напарник, пожалуй, опытнее его, — он же вот не догадался спросить о смене.

— Сменим, сменим, — неопределенно ответил Дмитренко, и они неспеша пошли по просеке.

— Ну и отрядик! Ну и командир! — немного отойдя, проворчал Довжик. Макаревич и сам видел — в отряде со сменой командира становилось все хуже. Он так и сказал Довжику.

— Самодур и дурак, — подтвердил Довжик. — Охломор горластый. Аллюр три креста...

Чем-то, однако, командир его донял, подумал Макаревич и спросил, зачем тот его подзывал. Довжик озабоченно оглянулся на недалекую еще полянку.

— Понимаешь, сапоги ему мои не понравились. Говорит, вражеская форма. А я за эти сапоги едва пулю не схлопотал. Зато вот — ноги сухие.

Макаревич бросил взгляд на сапоги напарника — они были явно не местной выделки, похоже, действительно, с немецкой ноги, хотя и не солдатские. Возможно, офицерские, подумал Макаревич.

— Я за ним километр по лесу гнался, он в меня из пистолета пулял, а я из карабина. Но впопыхах, знаешь... Только на мушку возьмешь, а он за куст скроется. Но все-таки словчился... Бежал, думал, у него в полевой сумке какие-то секреты, а там бритва да помазок. Зато сапоги теперь на всю зиму.

— Хорошие сапоги, — сказал Макаревич.

— Я — Довжик из Малых Довжиков, — сказал парень и улыбнулся, согнав с лица прежнюю озабоченность.

— А я из Полоцка — Макаревич.

— О, городской, значит!

— Городской...

Макаревич не стал рассказывать, что в город он переехал незадолго перед войной, что до этого жил при станции, отец до ареста работал на железной дороге. Казенную квартиру после его ареста отобрали, и мать с тремя детьми перебралась в город к брату, в его узкую барачную каморку, где и без них было трое. Когда стали набирать в ФЗО, Макаревич пошел учиться на каменщика и переселился в общежитие. На одного человека семья сократилась, в бараке стало чуть свободнее.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Довжик старше Макаревича на год и перед войной окончил десятилетку. Следующий момент биографии был самый, может быть, важный — их партизанский стаж. И тут оказалось, что Довжик партизанит почти полгода, все в этом же отряде, что он тут знает всех, помнит всех командиров.

— Знаешь, прежний командир был не такой. Молчун был. Для него главное было — разведка. Каждую ночь гонял мелкие группы на разведку. Но зато и знал, что вокруг. Где сколько полицейских, кто старосты. И постепенно отстреливал всех. Всех предателей и прислужников. Теперь попробуй найди кого. Остатки в райцентр смылись. Ребята пойдут на заготовку продуктов — не у кого взять. Приходится рядовых колхозников трясти. Жрать же надо.

— И сам погиб. А говоришь, всех отстреляли, — сказал Макаревич, вспомнив довольно нелепую гибель прежнего командира.

— Но это случайно. Случай, его никакой черт не предусмотрит... Тихо беседуя, они шли просекой, потом свернули под сосны. Сырой мох под ногами делал их шаги неслышными. Но бор скоро кончился, начался березняк, заросли лещины с поредевшей листвой. Продравшись через чащобу ольшаника, они оказались перед широким полем. Вдали виднелись крыши и трубы какой-то деревни — наверно, это и были Вязовичи. Вдоль опушки тянулся грязный проселок с мостиком, под которым в обросших жухлой осокой берегах поблескивала сонная речушка. Тут и должен был расположиться дозор. От их основного лагеря было километра два или, может, чуть

больше. Они взобрались на пригорок, поросший мелкими со-сенками.

— Садитесь, товарищ Довжик из Малых Довжиков, — шу-тливо скомандовал себе парень. — А знаешь, хорошо, что в до-зор, — сказал он, с наслаждением развальясь на сухой траве. — От этого дурака подальше.

Потом, перевернувшись, осмотрел поле с дальней деревней. Отсюда было далеко видно, но ничего подозрительного нигде не просматривалось. Дорога также лежала пустая, чернея колдобни-нами, местами то приближаясь к опушке, то отдаляясь от нее в поле. Пасмурное с утра небо вроде слегка прояснилось, хотя солнце не показывалось, с поля дул несильный, но холоднова-тый ветер. Плотнее запахнув свою кургузую шинельку, Довжик вынул из-за пазухи книжку.

— Что смотреть! Пока есть время, надо почитать. — И он уг-лубился в книгу.

Макаревич, однако, продолжал наблюдать. Он не в первый раз был в дозоре и знал, как важно не прозевать опасность, во-время предупредить о ней своих. Конечно, беда может нагря-нуть, а может и нет, тут как повезет. Но и на авось полагаться не следует. Вон Скакун понадеялся — оставил второго наблю-дать, а сам отправился на хутор за жратвой и — попался. Пока были патроны, отстреливался, а потом зажег хату и пытался прорваться. Но днем разве прорвешься? Так и погиб, погубив второго партизана и хуторскую семью с ребятами. А хороший был партизан, награжденный...

Однако все время сидеть на месте было холодно и скучно; поглядывая в поле, Макаревич вертелся на пригорке — то си-дел, то ложился на бок. Напарник же весь ушел в чтение, вроде забыв, где он находится и зачем сюда послан. Длинные ноги он беспечно раскинул на траве, и Макаревич с легкой завистью рассматривал его сапоги. Они действительно были добротные — из твердой юфтевой кожи, на толстой подошве, с голенищами в форме бутылок — как раз по голени. Под коленями были при-шиты коротенькие ремешки с пряжками, — наверно, чтобы, за-стегнув, не потерять при езде верхом, подумал Макаревич, с презрением взглянув на свои разбитые бахилы. Тут же лежала винтовка Довжика — обычный немецкий карабин с загнутой ру-кояткой и какими-то зарубками на ложе. Макаревич сосчитал зарубки, их было семь, но чей это был счет — не понять. На длинной винтовке Макаревича никаких меток-зарубок не было. Полой своей фезеошной куртки он вытер ржавый затвор, из

прицельной колодки выдул набившийся туда сор. Он тоже хотел достать себе такой вот карабин, но недавно погибший политрук Лучинин не раз посрамлял тех партизан, кто был охоч до немецких трофеев и немецкого оружия. На политинформациях он горячо доказывал преимущества нашей винтовки — и безотказная, и зимой не подводит, и в рукопашной с ней лучше " дальше штыком достает. Может, и так, думал Макаревич, но почему тогда у командиров немецкие автоматы и пистолеты тоже. Особенно ему нравились парабеллумы с тонким стволом и удобной рукояткой.

— Винтовку где достал? В отряде? — спросил он Довжика.

— В отряде, где же еще? — ответил Довжик, поворачиваясь на бок. — С оружием у нас, знаешь, проблема. Людей много, оружия не хватает. Сперва у полицейав отбирали, но полицейав в округе перестреляли — где возьмешь? Немцев нет, по дорогам никто не ездит. Весной пятнадцать человек послали за линию фронта — за оружием.

— Принесли?

— Черта с два. Пошли и пропали. Может, не дошли, а может, на обратном пути застряли. Так и не узнали. А эту я заслужил. За переводчицу.

— За переводчицу?

— Ну. То есть она с весны стала переводчицей, а до того в школе работала. Учительницей. Римма Арнольдовна. Немецкий у нас преподавала. Знаешь, молодая, симпатичная такая. Мы ее даже любили. Кто же думал, что война начнется и она к немцам переметнется.

— К немцам?

— Ну, не к немцам, там, в ихней управе, будет переводить. Довжик замолчал, закрыл книжку. Видно, теряя интерес к чтению, снял с головы старую пилотку без звездочки, пятерней пригладил отросшие вихры.

— Может, и плохо я сделал, а может, и нет. Все-таки переводчицей она была? Была. А с другой стороны, и учительницей была. Проблема, конечно. И не застрелить было нельзя. Приказ ведь.

— Это где, здесь? В своей деревне? — спросил Макаревич, вглядываясь в поле. Довжик ответил не сразу, после паузы, будто вспоминая что-то.

— Не здесь, в местечке. Отряд же тогда базировался по ту сторону, за железкой, в Волчанском лесу. Пришли мы с Колькой Терехом в этот отряд... Почему в этот? Какой подвернул-

ся, в тот и пришли. Задержал такой вот дозор, привели к командир. Кто такие? Хотим в партизаны. А где оружие? Оружия нет. У нас для вас тоже нет, добывайте сами. Как добыть? Убейте немца и возьмите оружие. А как его убить, если сами без оружия? А это уже как хотите. Не можете убить, задушите. Оглушите, утопите. В общем, два часа вам срока на размышление. Сидим под сосной, размышляем. Становится ясно, что без оружия мы им не нужны, но нас они не отпустят, потому что мы их рассекретили. Но что же нам делать? И тут снова зовет командир. Вы откуда, спрашивает. Ну, с Малых Довжиков. В школу в местечко ходили? В местечко. Учительницу Петрокевич знаете? Знаем, немецкий у нас вела. А теперь, знаете, кто она? Нет, не знаем. Немецкая переводчица, вот кто. Пойдете с Лизюковым и ликвидируете ее. Тогда получите оружие. Черт возьми! Вот это задание! Да еще безоружным. А Лизюков этот — двухметровый громила со сросшимися на переносье бровями. Из окруженцев или примачков, тоже почти новичок в отряде. Потом уже я понял, что вообще дело было не в оружии — они нас проверяли. Ну, пошли мы в местечко. Вроде как под конвоем Лизюкова. Правда, он дороги не знает, все-таки мы ведем. Оно недалеко, а всю ночь шли. Хотя ночи короткие были, как раз на Ивана Купалу. Чудно — идут ученики свою учительницу казнить. Я-то у нее недолго учился — два года, а Коля четыре — с пятого по девятый. Скверно все, но я себя уговариваю: правильно! Переводчица — значит, предательница. Зачем пошла к немцам? А раз предаешь — получай пулю. И все-таки страшно... Первый враг — и такой странный, учительница. А что делать? Не можем же мы отказаться. Убежать, может, и смогли бы, но как же тогда партизаны? Перед рассветом подошли к местечку, перелезли через речку. Идем по скошенной траве, туман легкий стелется. Знаешь, тут совсем стало мне страшно. Я себя выругал: трус! Если струсишь, тебе не жить. Понял? Кое-как взбодрился, вроде подействовало. Подошли с огородов, перелезли через одну изгородь, через другую. Ориентир — журавль над колодцем. Уже рассвело, не совсем, правда. Боимся, хоть бы на собаку не налезть. И как раз налезли. Малая, а брехучая, так залилась. Но и нужный нам двор — вот он. А как войти? На собачий лай, вижу, в окошке старуха из-за занавески выглядывает. Подхожу к окну, Колька с Лизюковым по обе стороны стали. Говорю старухе: Римма Арнольдовна дома? Это ее ученик, Довжик Володя. Старуха скрылась, через неко-

торое время занавеска опять отодвигается — учительница. Здравствуйте, Римма Арнольдовна, говорю. А это уже сигнал Лизюкову. Тот из винтовки — трах! — стекла посыпались, крики в хате. Ну, а мы — дай бог ноги... Только в лесу оставились. В тот же день к вечеру получил винтовку. Вот эту, немецкую.

— Лизюкова? — удивленно спросил Макаревич.

— Ну. Командир вручил. А Лизюкову автомат дали.

— А что — Лизюкова тоже проверяли? — спросил Макаревич.

— Кто знает? Вполне возможно.

Макаревич молчал. Он не знал, как отнестись к услышанному. Все-таки, наверно, надобны крепкие нервы, чтобы убить учительницу, хоть и немецкую прислужницу. Видно, Довжик, думая о том же, сказал:

— А вообще-то паскудное дело.

— Наверно, паскудное, — согласился Макаревич. — Особенно если учительница была хорошая. А друг твой как?

— С другом скверно вышло. Друг Колька сбежал.

— Дезертировал? — удивился Макаревич.

— Ну. Струсил, наверно. Еще придется искать. Хорошо, если дома появится. А если полиция приберет?

Они замолчали. Обоим стало почему-то неловко, особенно Макаревичу. Довжик снова погрузился в чтение или, скорее, делал вид, что читает. Макаревич уже не хотел смотреть на его немецкую винтовку с зарубками. Дождавшись, когда напарник перелистнет страницу, спросил:

— А что ты читаешь?

— Интересная книжка, жаль, раньше не читал. «Амок» Янки Мавра, — сказал Довжик со светлой, почти детской улыбкой. — Знаешь, была у меня в школе мечта: стать моряком и проплыть по морям вокруг света. Интересно было бы. Как думаешь?

— Наверно, интересно.

— Черта с два проплывешь. Война! Теперь бы хоть почитать о дальних странах. Да ты не очень пялься туда, — ни черта там нет. Эта деревня пустая. Полиция в Гребенюках, за двенадцать километров. А командир этот наш — бздун, — говорил Довжик, растянувшись на траве. Потом повернулся на живот и, поглядев в поле, добавил: — Там вон моя деревня.

— Где?

— А вот за Вязовичами будет поворот на озеро, а потом надо проехать леском — и Малые Довжики. А я Довжик из Малых

Довжиков, — закончил он, видно, излюбленным своим присловьем. Наверно, почувствовав некоторое недоумение напарника, пояснил: — Это мой дед так рекомендовался. Поехал в Питер, ни документов, ни знакомых. Обращаясь к городовому или там к дворнику, перво-наперво говорил: «Я — Довжик из Малых Довжиков», — и очень удивлялся, что те не понимали. Потом дома шутил: «Что за темный народ! Где Довжики, не знают. У нас любого мальчика спроси: где Довжики? Скажет: там Довжики, где Довжики живут». У нас же все Довжики.

— Хорошая фамилия, значит.

— Древняя фамилия, нигде больше такой не встречал. Хотя где я мог ее встретить? — и вдруг спросил: — Как думаешь, когда война кончится?

— Война? Не знаю. Может, через год. Когда второй фронт откроют.

— Долго ждать. Можно не дожидаться. Знаешь, а мою сестренку в Германию увезли...

— Сестренку?

— Ну.

— Плохо.

— Хуже некуда. Может, уже и в живых нету. А у тебя сестра есть?

— У меня два брата, — сказал Макаревич.

— Младшие, старшие?

— Пацаны еще.

— Пацаны что... Пацанам лучше. Подростут, достанут винтовки и — в лес. А вот девочкам!.. Моя сестричка славная такая была. А я ее обижал...

— Обижал?

— Глупый был. Драчун. Хочешь почитать? — протянул он книгу. — А я помечтаю...

Макаревич взял из его рук потертую, обернутую в старую газету книгу, полистал, посмотрел рисунки. Рисунки были интересные — море, пальмы и хижины, чернокожие люди с кривыми ножами, — наверно, тоже война. Войну он не любил — ни воевать, ни читать про нее. Больше нравились ему животные. Когда жили на станции, у них была корова с телкой, которую он пас летом в кустарниках, рядом всегда бегал Жулик, низенький, коротколапый, преданный песик, понимавший каждое его слово. Ребятам на станции было мало, и он все годы до переезда в город дружил со своим песиком. Жулика в город взять не разрешили, пришлось оставить соседям. Но тот однажды прибежал

за десять километров, укусил хозяина, и дядя приказал его утопить, потому что кормить было нечем. Как топили его, Макаревичу не хотелось даже и вспоминать. Сердце обливалось кровью, как говорила мама.

Когда Макаревич поднял голову от книжки, напарник, похоже, спал. Согнулся на боку, засунул в рукава сцепленные руки, втянул голову в плечи. К вечеру стало холоднее, дождя не было, но усилился ветер с поля. Хотелось есть, и Макаревич пожалел, что не добился от взводного ответа, когда же их сменят. Но все-таки, думал он, к вечеру должны сменить. И они пойдут в свои шалаши, ближе к кухне, и, наверно, поедят чего-то. Главное — чтоб горячего. Хоть супа, хоть каши или даже горячего чаю, конечно, без сахара, но непременно горячего, а не едва теплого, как обычно. От стужи все постепенно дубенело внутри, холодом набрякли и сделались неуклюжими руки, хотелось сжаться и уснуть. Чего как раз и нельзя было позволить себе.

Чтобы не уснуть, Макаревич принялся греться — прыгать, бежать на месте, размахивать руками. С дороги и поля их здесь не было видно, скрывал соснячок; он же время от времени продолжал поглядывать туда. Довжик, казалось, спал, но вот он приоткрыл глаза, увидел напарника и, вроде слегка улыбнувшись, снова закрыл их. Нет, он тоже не спал, просто лежал, успокоясь, и думал. О чем только? Вряд ли о дальних заморских странах и уж не о том, конечно, что скоро для него все это кончится самым неожиданным образом, что часы его сочтены. И этот холодный ветреный день в дозоре окажется самым спокойным днем его лесной жизни...

Так и не победив стужу, Макаревич притомился и решил отдохнуть. Напоследок бросил взгляд вниз и неожиданно увидел на дороге двоих. Он сразу узнал их — один был пославший их сюда взводный Дмитренко, а другой... Ну конечно, с ним рядом по дороге шагал Махно, тут не было никакого сомнения.

— Довжик... Довжик! — тихо позвал Макаревич.

Довжик враз подхватился с земли, привстал на коленях — те двое с дороги, задрав головы, уже высматривали их на пригорке. «Наконец смена», — обрадованно подумал Макаревич, хотя что-то мешало его радости. Зачем здесь Махно? Да и кем же они сменят их — больше там никого не было видно. Однако он поднялся из-за сосенок, взмахнул рукой — мол, тут мы.

Двое скоро взобрались на круговатый пригорок, оглянулись на поле.

— Ну как тут у вас? — спросил всегда обстоятельный взводный. — Все тихо?

— Все в порядке, — сказал Макаревич.

— Это хорошо, что в порядке, — словно сквозь зубы процедил обычно молчаливый Махно. — Значит, продолжай наблюдать.

— А смена? Мы же-с утра тут.

— Смена будет. Попозже, — сказал взводный и обернулся к Довжику. — А мы пойдем.

— Куда?

— На кудыкину гору, — беззлобно ответил Махно.

— Куда приказано, — уточнил взводный. Довжик, как и утром, недоуменно передернул плечами, и они втроем, друг за другом, побежали с пригорка к дороге.

— А книга, книга! — крикнул вдогонку Макаревич, подхватив с травы забытую книжку. Довжик снизу только махнул рукой, торопясь за командирами. Скоро все трое скрылись за придорожным кустарником.

Макаревич остался один. Тоскливым взглядом окинул постылое поле, над которым уже стали сгущаться ранние осенние сумерки. Деревню вдали уже и не рассмотреть было — дома, крыши, верхушки деревьев тонули в сизой туманной наволочи. Дорога возле моста еще тускло мерцала. Все более мрачно-загадочным становился рядом сосняк, быстро терявший зеленые краски дня. Макаревичу стало не по себе, все-таки одному в дозоре находиться не следовало, было страшновато. Все время думалось — и когда же они пришлют смену? И почему не сменили днем? Куда повели Довжика?

На его вопросы ответить было некому, и Макаревич, чтобы не стыть на ветру, начал прохаживаться по пригорку, все более полагаясь на слух. Особенно, когда вовсе стемнело. Все-таки ночью главная нагрузка выпадала на слух, зрение ночью отдыхало. Оно свое отработало днем, ночью его услуги были бесполезны. А то и вредны. Все время что-то мерещилось на дороге, казалось, кто-то идет, вроде остановился, ждет. Какие-то темные тени движутся по полю. И даже кто-то шевелится за крайней сосенкой. Но все это лишь казалось, взвинтилось воображение. Макаревич эту особенность ночной психики хорошо изучил и знал: ничего там нет — ни теней, ни подозрительного шевеления. Хотя от осознания этого не становилось легче. Все равно было тревожно.

Он стоял, вглядывался, осторожно, почти бесшумно прохаживался на узком участке между сосенками и все слушал, слушал... Почему-то именно ночью откуда-то лезли подозрительные звуки — вроде где-то за лесом заработал движок автомобиля, но поработал немного и смолк. Затем донесся далекий, непонятный вскрик — птицы или человека. Или, может, команда. Вдруг далеко в лесу бухнуло два выстрела кряду. Он напряженно и долго ждал продолжения стрельбы, но продолжения не было, значит, это были случайные выстрелы. А может, все ему показалось?

К утру, измученный холодом и бессонной ночью, он стал думать: не забыли ли его тут? Или намеренно бросили с какой-то непонятной целью? Может, плюнуть на все и идти к своим? Но все-таки бросить пост он не решался. То, что за этим могло последовать, было пострашнее кажущихся опасностей. Это Макаревич знал по чужому опыту. Но и глупо было уподобляться собаке, оставшейся у костра караулить бурку пастуха, ушедшего куда-то с отарой. Пастух вернулся к кострищу только весной и нашел рядом с буркой скелет верной собаки. Все-таки он — не собака.

Когда стало светать, терпение его лопнуло. Будь что будет — он пойдет в лагерь. Потому что — почему не сменяют? Положение сменить — почему не выполняют? Или там что-то случилось? Или их подстрелили по дороге отсюда — взводного и Махно? Но если остался хотя бы Довжик, разве он не напомнит о своем забытом напарнике?

Злой и обиженный Макаревич появился возле шалашей, как раз когда партизаны собирались на завтрак. Партизан, правда, было немного, большинство пребывало в охране. И тут Макаревич нос к носу столкнулся со взводным. Старшина Дмитренко, в одной гимнастерке, без ремня, только что умылся за шалашом и нес в руке пустой котелок.

— Что ж не сменили? — чужим от обиды голосом спросил Макаревич. Взводный как будто искренне удивился.

— Да? Не сменили? Я же сказал... Сказал Довжику — снять дозор. Там не нужен больше. Где Довжик? Довжика ко мне!

Что-то, однако, фальшивое слышалось в голосе взводного, в его непривычной, почти виноватой интонации. И Макаревич не мог поверить, что Довжик забыл передать приказ о снятии дозора. Но где Довжик?

— Где Довжик? Позовите Довжика...

Взводный и еще шумел в шалаше и за шалашами, посылал кого-то на розыски Довжика. Но Довжика нигде не было, и никто не видел его. Макаревичу сделалось совсем тревожно, его ночные переживания враз отлетели перед мрачным предчувствием.

До конца завтрака Довжик не появился.

Макаревич опять позже всех получил свои полкотелка холодной перловки, и тут объявили построение. Он думал, что уж на построении Довжик должен появиться. Но тот не появился и на построении. Как и в прошлый раз, Макаревич намеренно встал на самом фланге недлинной шеренги. Команды пока не подавали. Впереди на поляне совещался с несколькими командирами их взводный — что-то там обсуждали.

Но вот поодаль, между редких сосен, появился командир. Как всегда, со своим темнолицым Махно и двумя ординарцами подъехал верхом. Ротный, бывший сельский учитель, глуховатым, далеко не командирским голосом подал команду, строй не сразу, но все же заметно присмирел, подравниваясь в шеренгу. Как раз перед левым флангом, где стоял Макаревич, командир остановил лошадь и в два приема спешился. Это у него получалось всякий раз отработанно и ловко, недаром до войны он служил в кавалерии, и «аллюр три креста» было его любимым присловьем, особенно когда он находился «под мухой», что было, в общем, всегда. Освободив из стремени правую ногу, он одним махом перекидывал ее через конский круп и легко высвобождал левую. Именно в такой момент Макаревич внутренне ахнул — из-под длинной полы командирской шинели мелькнуло знакомое, матово начищенное голенище с ремешком-застежкой под коленом. Макаревича вдруг осенила мысль-догадка, от которой готов был померкнуть свет.

Довжик так больше и не появился, и в отряде его скоро забыли. Забыть было просто — отряд сменил место базирования, и начались стычки с полицией. Людей становилось все меньше. Особенно когда началась блокада. Лихой кавалерийский командир героически погиб во время прорыва возле болотистого озера; куда исчез его адъютант Махно, никто толком не знал. Взводный Дмитренко раненным попал в плен к карателям из батальона СС, его судьба была и вовсе незавидной. Книгу «Амок» Макаревич какое-то время носил в боковом кармане своей фезеошной куртки. Потом она пошла по рукам и в конце концов была израсходована на сигарки.

Макаревич сидел на автобусной остановке и не знал, что делать. В подошедший автобус битком набилось народу, но люди все продолжали лезть в его накренившийся, осевший до асфальта кузов. Макаревич давно не помнил себя в такой расстерянности. Вернуться или уехать? — вот что решал он и не мог решить. Он лишь коснулся старой, давно затянувшейся раны, и вот она снова угрожала открыться. А если он откроет ее для других?

И все-таки он решился. Почему — не знал сам. Толком ничего не обдумав, поднялся со скамейки и пошел обратно к кладбищенскому пригорку. По дороге решил: сперва он задаст только один вопрос и в зависимости от ответа решит, сказать или нет.

Издали стало видно, что бабу ля с девочкой все возились со своей рассадой, но теперь там появился и кто-то еще. Высокий мужчина в шляпе. Да это же встреченный им инвалид...

Когда он подошел к знакомой металлической оградке, все сразу и вроде бы в нехорошем предчувствии уставились на него. В бабусином взгляде сквозила тревога, почти испуг. Он извинился.

— Ответьте мне, пожалуйста, — я забыл спросить. В войну вы были в Германии?

Наступила недоуменная пауза, после которой бабуся, словно очнувшись от минутной забывчивости, воскликнула:

— Ой! Я так и знала! Я так и почувствовала — вы же знали его. Вы с ним в партизанах были, правда?

— Правда, — сказал он. — Вот, решил рассказать... А вы кто? — обратился он к инвалиду в шляпе, высокому, худому человеку с ввалившимися щеками.

— Я ее муж, — сказал мужчина, — я в курсе.

— Так... С чего же тут начать? В общем, осенью сорок третьего мы встретились на построении...

Он начал рассказывать — сбивчиво, не все вспоминая сразу, то и дело умолкая. Далеко не все из полузабытого прошлого легко ложилось на язык современного человека, отделенного от этого прошлого полсотней лет. Да и в душе не все было преодолено до конца — сопротивлялась правда, которой хотелось выглядеть покрасивее. Труден и порой малоубедителен был его рассказ, и он чувствовал это. Знал: так бывает еще, если слушающие не расположены к рассказчику или среди них находится духовный вампир, «пожиратель мысли», как он таких называл. И тем не менее Макаревич рассказал все, добавив, что потом,

после боев и майского разгрома сорок четвертого года, от отрядов бригады остались жалкие ошметки, уцелевшие партизаны разбежались по окрестностям. Многие командиры погибли, на верное, пропали и документы. Особенно те из них, которые свидетельствовали о причине разгрома. После войны этот разгром поименовали «прорывом» и увековечили грандиозным победным памятником на поле, некогда заваленном трупами партизан.

Когда он кончил рассказывать, бабуся молча заплакала. Ее никто не утешал, лишь девочка, потупясь, терлась об ее колени. Поодаль, возле какой-то могилы, явно прислушиваясь к их разговору, молча стояли две женщины. И вдруг инвалид, муж бабуси, обернулся к нему и жестко заговорил с неприкрытой злостью:

— Зачем вы все это рассказываете? Кто вас просил? Мало нам было горя от неизвестности, так вот утешили, называется! На кой черт нам такая правда!?

Ограды, памятники, обелиски — все поплыло перед глазами Макаревича. Ну, натворил! — была первая мысль. Зачем было рассказывать, кто его просил об этом? Сердце сдавила знакомая тупая боль, гляди, как бы снова не хватил инфаркт. Он поднялся со скамейки, а инвалид кричал:

— Я пятьдесят лет в партии, потерял здоровье за советскую власть! Я верил... И я хочу верить, а вы... Откуда вы взялись на нашу голову? Вот, видите!..

Он видел: бабушке становилось плохо, ее грузное тело завалилось на бок, девочка стала испуганно тормозить ее, а инвалид бросился к сумкам, дрожащими руками искал в пакетах лекарства.

Макаревич с усилием оторвал от ограды набрякшие руки и с гадким чувством виноватости побрел прочь. Прожил семь с лишком десятков лет, а, видно, мало что понял и мало чему научился...

ПАСХАЛЬНОЕ ЯИЧКО

Рассказ

Фамилия его была Выползков, но в этой большой, растянувшейся вдоль дороги белорусской деревне, где он обосновался после войны, его называли Выползком. Тем более что обычно он откликнулся и на это прозвище, хотя и делал это не без раздражения, а то и с криком, нередко сдобренным злым матом. Но людям было безразлично, как он откликнулся — за войну люди привыкли к мату и крику — своих, полицаев, немцев и партизан тоже. Привыкли люди, привыкла скотина, особенно лошади. Иная не тронется с места, пока ее не обложат матюгом, в котором одинаково преуспели старые и молодые, мужики и бабы. Не говоря уже о начальстве.

В то утро Выползок так же привычно, хотя и негромко, про себя выругался, поняв, что проспал. Вечером, укладываясь на ночь, намеревался проснуться пораньше, но вот не пришлось. Сбросив замызганный солдатский ватник, сел на скамье, прислушался к утренней тишине в хате. Ганка за шкафом еще спала с малыши девочками, а он ловко, одной рукой накиннул на себя ватник и вышел на еще по-весеннему голый, не успевший зарости бурьяном двор. Как всегда, с самого утра наваливались колхозные заботы, к которым сегодня прибавилась еще и Пасха. Вчера поздно вечером из района прискакал нарочный с только что принятым решением райкома — празднования не допустить, организовать ударную вывозку навоза. Собственно, организовывать вывозку должен был бригадир, но вчера бригадира он нигде не нашел, придется искать сегодня. К тому же бригадир не умел командовать бабами, которые в основном и составляли его бригаду. У председателя Выползка опыта относительно баб побольше было — еще с довоенного времени, когда он организовывал колхозы, да и потом в партизанах, где баб

также было немало. Впрочем, всякое случалось и с мужиками и с бабами, даже не сказать, с кем легче было.

Вот и теперь — дождалась Пасхи и спят. словно после все-нощной. Хотя ни обедни, ни всенощной здесь давно не было. От церкви в соседнем местечке остался заросший бурьяном фундамент — как в тридцать третьем сбросили кресты, так и развалилась церковь. А вот в быту опиум упрямо держится, рассуждал председатель колхоза. Вчера вечером в сумерках он пробежал по деревне и заметил, как кое-где при свете коптилок готовились, наверно, красили яйца. Хотя и готовить-то было нечего, колхозники не имели ни муки, ни мяса, да и яиц неоткуда взять — в войну почти вывелись куры. Но разве только здесь? В других местах не осталось и самих деревень, все сожжено, а здешняя деревня все-таки уцелела — при отступлении немцев сгорело полдюжины хат. Считай, счастливая деревня, поэтому и требования к ней особые — кормить страну. Но чтобы кормить, надобно работать по-ударному и быть сознательными. С сознательностью же его колхозники явно подкачали. То и дело приходилось принуждать, разъяснять, контролировать. Как вот с навозом. В деревне имелось с десятков коров, а навоз на колхозное поле не вывезли. Не отдают, норовят прибереечь для себя — для своих собственных соток.

В облачном небе над притихшей деревней совсем уже рас-светло, было не холодно, поутру даже утих все время дувший западный ветер. А на улице по-прежнему ни души. Под амбаром на бревнах, где бригадир обычно собирал свой наряд, также пусто, не видать было и бригадира. Неужто и его, председателя, никто не видит? — начинал злиться Выползок. Видят, конечно, но прячутся, потому что боятся. Эта мысль, как ни странно, слегка согрела душу председателя, потому что, как он понимал, боятся — значит уважают. А уважают всегда людей стоящих, авторитетных, крепких духом и телом. Насчет тела Выползку повезло не слишком — после ранения почти парализовало левую руку, которая теперь едва двигалась. Зато его дух как был непобедимый, таким и остался. Дух настоящего большевика, каким не переставал понимать себя колхозный председатель.

Миновав грязный, забросанный хламом пруд, Выползок перешел дырявый, с шатким настилом мостик и взбежал на ступеньки крыльца, где жил бригадир Козич. Похоже, тот еще спал. Но это черт знает что — бригадир в такую пору должен быть давно на ногах. Еще зимой Выползок ставил перед правлением вопрос о замене бригадира, но правленцы не согласились:

молодой коммунист, награжденный, брал Берлин. А что слишком любит залить за воротник, этого в расчет не брали. Кто, мол, не любит? Разве что больной или кому не наливают. Бригадиру же наливали исправно.

Выползок не пил, хотя и не чувствовал себя больным, но он всегда сознавал себя ответственным за порученное дело. А дела ему поручались всякие, чаще трудные, но он не привык жаловаться, — он их исполнял. И теперь решительно дернул клямку перекошенной двери, которая, однако, не отворилась. Застучал — громко и требовательно, — уж такой стук невозможно не услышать. И впрямь дверь погодя растворилась, из темноты сеной на него смотрел голый по пояс бригадир.

— Ну что?

— Как — что? — сорвался на крик предколхоза. — Давно рассвело, а где народ? Спят, празднуют, мать их растак! А кто навоз будет возить?

— Вывезут...

— Как — вывезут? Когда вывезут? Вчера на бюро райкома...

— Пошел ты на ...! — бросил бригадир и с грохотом захлопнул дверь.

Минуту Выползок стоял ошеломленный — такого он не ожидал. Чтобы этот парень, вдвое моложе его, только зимой принятый в партию, решился послать председателя на три буквы?! Давно его так не посылали ни в деревне, ни в районе, ни даже в партизанском лесу. Если не всегда уважали, так хотя бы боялись, не его, так партию... А этот! Танкист! Даже танкист не может быть выше председателя колхоза, разве бригадир этого не понял? Так скоро поймет!

Как всегда в минуты волнения, он наполнялся внутренней энергией и устремлялся к действию. Следовало немедленно предпринять что-то, чтобы повлиять. Если не мог повлиять сам, следовало заставить другого. Как в памятном для него случае в Пугачевской пуше. Немцы и полицаи секли по деревьям разрывными, гулкий треск разлетался по лесу. Попав в засаду, партизаны побежали в сторону, конечно, не туда, куда следовало, а где казалось безопаснее. Кто-то бросил на просеке ящик с патронными цинками, и все пробежали мимо. Убегая едва не последним, Выползок остановил бегущего окруженца-примака Лыщика, выхватил наган: бери ящик! Правда, Лыщик уже был нагружен какой-то ношей, пытался увильнуть, и Выползок выстрелил над его головой... Выстрел подействовал. Лыщик подхватил ящик, хотя потом ему не повезло — убили полицаи Лы-

щика. Пропали и цинки. Но Выползка никто не посмел упрекнуть, в той обстановке он действовал правильно — нельзя оставлять боеприпасы врагу. Сам же он взять их не мог, потому что у него на перевязи раненая рука. Опять же он не рядовой партизан, а командир, хотя и низового звена; командиру же таскать грузы не полагалось. На это были рядовые бойцы и партизаны.

По всей видимости, с рассвета прошло уже немало времени, а люди на улице не появлялись. Возле Евсюкова амбара по-прежнему никого, да и кто придет, когда бригадир спит! Ну я вас разбуду,— все больше набираясь гневной решимости, думал председатель.—Я вам поспрадную, мать вашу растак!

Он решительно вбежал в хату, где уже не спала — возилась с малыши его молодая жена Ганка — одевала детей, и Выползок подумал: уж не праздновать ли собралась? Она мягко улыбнулась мужу, но эта ее неуместная улыбка лишь новым раздражением отозвалась в нем. Подбежав к сундуку, засунул руку под ворох одежды и выхватил оттуда наган. Со временем все реже приходилось ему брать оружие в руки — не то что в недавние годы до войны и в войну. Однако он знал: наган выручит, как выручал в коллективизацию, в борьбе за советскую власть, в партизанку. Наган —это сила, которой иногда недоставало в жизни.

— Что это ты? — удивилась Ганка, сразу согнав с лица благодостную улыбку. Он не ответил и, сунув наган в галифе, выскочил из хаты.

В первом дворе, куда он свернул с улицы, жила Пелагея Дворчиха, не молодая уже, но работящая, в силе вдова, сотки которой за изгородью хорошо обработаны. И когда управилась только? — недобро подумал председатель. Но тем лучше — в самый раз выгнать ее на колхозное поле. Своего навоза у Пелагеи не было, так как давно нет коровы. Выползок вошел в чисто, явно по-праздничному убранную хату с белой скатеркой на столе. Но и здесь никого не было, и он через сени выскочил на другую сторону двора. За тыном, низко согнувшись, ковырялась в земле Пелагея — сажала на грядках рассаду.

— Бросай сажать! — резко скомандовал Выползок. — На наряд. Быстро!

Пелагея не сразу выпрямилась, непонимающе вглядывалась в него.

— Чего?

— На наряд, говорю. Не слышишь? Ну, живо!

— Как же на наряд, святая же Пасха сегодня,— быстро и виновато заговорила Пелагея. — Грех это на Пасху...

— А на своих грядах — не грех?

— Так это же свои грядки. На той неделе не было времени, все в поле. Только и осталось что на праздник... — Он не дослушал.

— Быстро! Раз, два — я жду!

— Ай, так бригадир сказал же, что до обеда...

— Я вас с вашим бригадиром!—закричал Выползок и достал наган. Но прежде чем успел направить его на женщину, та шустро метнулась в сторону и так припустила меж грядок, что он лишь удивился ее молодой прыти, подумав: ну и выдрессировали оккупанты! В блокаду, наверно, побегала...

— Чтоб мне сейчас же на наряд! Другой раз канителиться не буду!—прокричал он вдогонку.

Следующим на его пути был двор через улицу, где с двумя молодыми невестками жил старый Корж. Два его сына после партизанки попали на фронт, и оба остались на Пулавском плацдарме. Теперь в доме хозяйничали невестки с детьми и стариком Коржом, который встретил его на пороге.

— Празднуешь? — не здороваясь, строго спросил Выползок.

— Со святой Пасхой вас, — не чувствуя настроения гостя, угодливо начал сивобородый старик в чистой льняной сорочке.

— Меня не с чем, я атеист. Где невестки?

Старик молча стоял на крыльце, недоуменно глядя на человека с оружием. Выползок нагана на него не поднимал, и Корж молча развел руками.

— Так вчера говорили, бригадир разрешил. До обеда...

— А я отменяю, — мрачно объявил председатель. — Сейчас же на наряд!

Корж молча повернулся и пошел в хату, где их разговор наверняка слышали невестки. Придут, уверенно подумал Выползок, свекор пригонит. Он знал, что с войны за Коржом числилась важная провинка — старик указал оккупантам путь через Голобородовское болото, где после блокады обосновались партизаны. Говорил, принудили. Но это как еще посмотреть, думал председатель. Неизвестно, сколько в том принуждении было страху, а сколько его воли. Сразу после войны органы его не тронули, но проступок старика, конечно, взяли на учет — про запас. Поэтому старый Корж был в его власти, хотя Выползок и не торопился ею воспользоваться. Еще пригодится.

Хуже пришлось с Косачевой Галей. Молодая и бездетная женщина до войны жила в городе, из которого вернулась в колхоз. Эта если уж работала, так с полной отдачей — в поле или на току. Но только до поры, пока на нее не находил бабский каприз, пока не заупрямится по-дурному. А если заупрямится, никто с ней сладить не мог — ни мужик, ни баба, ни даже начальник. Разве что с наганом. В хату к Косачевой он не пошел, — требовательно постучал в окно.

— Косачева, на наряд. Живо!

То, что Выползок от нее услышал, во второй раз за сегодняшний день повергло его в смятение.

— А ху не хо? — негромко донеслось из хаты.

— Что?

— Что слышал. Пасха сегодня.

Выползок помолчал. Он не хотел с ней ругаться, тем более на улице, через окно, и попытался уговорить по-хорошему:

— Ну так что, что Пасха? Навоз возить надо? Ты что — маленькая, не понимаешь?

— Не маленькая. Два года была замужем, — послышалось из хаты, но к окну никто не подходил. Выждав еще минуту и теряя самообладание, он перешел на крик:

— Твою мать! А ну выходи, сказал! Стрелять буду! — и рукояткой нагана постучал в раму.

Косачева будто обрадовалась его крику:

— Ой, напугал! Застрелит! Стреляй, ну... Вот сюда, вот...

И появилась тут же за окном, голая, бесстыдно тряхнула перед ним полной, словно набрякшей грудью. Выползок испуганно отшатнулся.

— Ты что? Выстрелю!

— Стреляй!

И он выстрелил — вверх, под крышу, раз и второй, не пожалев сразу двух боевых патронов. Все-таки выстрелы ее напугали, Косачева исчезла. Где-то на улице закричали бабы — тревожно и протяжно, как во время войны. Этот их крик, однако, не смутил Выползка, который уже ощутил свой верх над непослушной бригадой, срывавшей весенний сев. Знал, в случае срыва райком по головке не погладит его, но и бабам достанется. Уж он постарается. Он доведет все до конца.

Охваченный мстительным порывом, Выползок быстро пустился по улице в ее дальний конец. Оглянувшись, увидел, как с подворья Коржа вышли обе невестки, остановились возле калитки, но к амбару не шли. Впереди за Тарасовым хлевом

мелькнула и исчезла обвязанная теплым платком голова вдовой Петрухи, — похоже, решила прятаться. Председатель за ней не погнался, лишь, приостановившись, крикнул:

— Петруха, я тебя вижу! Сейчас же — на наряд!

Женщина не откликнулась, но он знал, что услышала его. А если услышала, так придет, никуда не денется. На прошлой неделе заявлялась в правление просить помощи, мол, трое малых детей, кормить нечем. В их числе одно совсем малое, нагулянное от немцев. Чтобы дали молока с фермы. А на ферме в соседней деревне восемь коров, и те не все растелились, молока не хватает для сдачи государству. Сказали Петрухе прийти через неделю, правление рассмотрит заявление и примет решение. Чтобы все обоснованно, не с бухты-барахты, потому как молока многие просят, у многих малые дети. И вот эта Петруха прячется. Я тебе припомню эти прятки, когда придешь за молоком, злобно думал Выползок.

Все же не даром он драл горло, наверно, колхозники его слышали и понемногу стали выходить на улицу. Вышла к калитке Лузгина Ольга, мать партизанского героя-подрывника, погибшего в последний месяц блокады. Эта стояла, вслушиваясь в его крик, но к амбару не шла. Задерживаться возле нее он не стал и, крикнув, чтобы шла на наряд, направился к ближней скамейке под кленом, где собралось несколько баб. Две из них были здешние вдовы, третья — молодая и острая на язык Ходоска, которая недавно еще дружила с его женой Ганкой. Ту их дружбу Выползок решительно прекратил, потому что Ходоска про многое, по-бабьи болтала, могла и доболтаться. Пока он подходил к бабам, те сдержанно молчали, словно испугались. Но это хорошо, что испугались, будут послушнее, рассчитывал председатель.

— Что стоите? Отдельное приглашение надо? Марш на навоз!

— А Пасха сегодня! — зло напомнила Ходоска. — Бригадир сказал...

— Плевать, что бригадир сказал. Пасха отменяется...

— Как это? — удивились все разом.

— Партия отменяет опиум. Или вам не понятно?

Минуту бабы, насупясь, молчали, потом первой заговорила Ходоска:

— А почему это нам отменяется? Другие праздновать будут, а нас на пригон. Свою Ганку, небось, не пошлешь. Это мы проклятые чернорабочие...

— Пойдет и Ганка! — решительно оборвал он женщину. — Все пойдут. Марш!

— Так мы что — с голыми руками? Или вы там одурели со своей партией? — вскричала Ходоска.

— Тише! Тише насчет партии! — сказал он с нажимом и поднял руку с наганом.

Словно поперхнувшись, Ходоска смолкла, и бабы одна за другой боязливо потащились по улице. Сперва шли медленно, потом незаметно прибавляли шаг. Он мог бы и подогнать, чтобы шли быстрее, но не стал этого делать. Конечно, вил ни у одной не было, однако не возвращать же их за вилами, — разбегутся, не соберешь. Ходоска позади остальных что-то недовольно ворчала — про него, а может, про партию тоже, и он с горечью подумал, что в тридцатые не доработали, не всех выкорчевали. Будет чем вскоре заняться. Только бы поднять колхозы, а там и взяться за классовую борьбу, которая, похоже, будет обостряться.

А бабы? Бабы его не слишком занимали. Некоторые выражали ему свою симпатию, но он относил это на счет той авторитетной должности, которую занимал.. Да он и не домогался их симпатий, с молодых лет поняв, что любовь — рискованное дело. Случалось, кое-кто из его сослуживцев (особенно в довоенные годы) погорел именно на неосторожной любви. Он не хотел гореть и был осторожен. Может, чересчур осторожен, но стремился стать стопроцентным, безгрешным большевиком. Второй раз женился, лишь рассудив, что так ему будет лучше прежде всего как председателю, присланному райкомом. И остановил свой выбор на Ганке, партизанской вдове. По существу, у той не было никакого выбора — муж погиб, за юбку цеплялись двое детей, и колхозный начальник оказался для нее счастливым подарком. Может, это и лучше, когда нет выбора, рассуждал Выползок. Нет выбора — нет и соблазна. Всю энергию можно направить на колхозный труд...

Они еще не дошли до амбара, как Ходоска, то и дело оглядываясь, стала показывать на его двор, куда как раз вышла из хаты еще не одетая с утра его Ганка. Там же были и обе девочки — младшая все тянула за подол мать и лепетала. Она только начинала говорить, и мать любила слушать ее невразумительный лепет. Нашла, однако, время, — неприязненно подумал Выползок в предчувствии нового скандала.

— Вот, вот! — указывая на прежнюю подругу, крикнула Ходоска. — Она деток забавляет, а мы в праздник — на навоз! Если нас, то и ее...

— Ганка, на наряд! — крикнул он властно, как до этого кричал на других.

Ганка настроенно замерла, похоже, не поняв чего-то, медлила. И он крикнул сердито-приказным голосом:

— Быстро!

Теперь его жена стала наравне со всеми здешними бабами, тут уж он, если бы и хотел, ничего с собой поделывать не мог. Да и не старался. Наслаждался своей бескорыстной принципиальностью, получая тайное душевное удовлетворение.

Ганка, однако, будто нарочито не торопясь, набросила на себя черную кофту, взяла откуда-то вилы и, степенно ступая, вышла на улицу. Обе девочки бросились за ней; младшая сразу залилась слезами, и мать на ходу что-то говорила ей — успокаивала. Но та не останавливалась, все бежала за матерью, пока Выползок не крикнул со всегдашней своей к ним строгостью:

— А ну — марш в хату!

Старшая, Волька, остановилась, словно в нерешительности, а младшая все бежала и плакала.

— К бабке Насте идите, к бабке Насте,— оборачиваясь, ласково уговаривала девочек мать. И те наконец остановились.

Ганка догнала баб и пошла сзади, не оглядываясь на детей. И на него тоже. То, что не оглянулась на него, Выползок, конечно, заметил, недобро подумав: пусть! На этот счет он еще поговорит с ней. Вечером. Объяснит, как следует вести себя жене колхозного руководителя.

Не оглядываясь, Ганка ловила каждый звук сзади, стараясь понять: дети послушались или нет. Похоже, однако, послушались, и она понемногу успокаивалась.

В то утро она встала рано. После того как Выползок ушел на рассвете из дому, она уже не уснула. Девочки сладко спали рядом на кровати, она прикрыла колушкой старшую Вольку, которая во сне часто сбрасывала с себя одеяло, сидела, думала. Прежде всего о том, чем накормить малых,— кроме картошки, у нее ничего не было. Сегодня праздник — Пасха, но не для них. Вчера Волька прибежала от соседки бабы Насты, исполненная наивного детского восхищения: баба красит яйца. У них яиц нет, ни крашенных, ни белых, потому что не было кур. Хорошо еще, что на праздник будет затирка. На днях Выползок

принес в наволочке немного ржаной муки, и это — на месяц, на затирку малым. Баба Наста дала кусочек сала — для поджарки к колотухе-затирке. Но все — хоронясь, чтобы не узнал Выползок, потому что баба Наста — мать полиция, а Ганка с Выползком — партизаны, к тому же Выползок — коммунист. Разве можно допустить связь с матерью врага народа, немецким прислужником?

Выползок был вторым мужем у Ганки, и дети ее были не его, не родные. Детишек она нажила в партизанах, когда сошлась с командиром подрывников Алексеем Гайновым. Хотя и не расписанные, не венчанные, а в доброте и любви родили они двух девочек — последнюю как раз перед освобождением, за день до которого и убили Гайнова. Немцы прорывались из окружения, шли напролом, а Гайнов со своей группой оказался на их пути. Надо было свернуть, отойти за болото, говорили потом партизаны, может, и спаслись бы. А так... Все и полегли на опушке — двенадцать молодых, сильных, красивых. Вот и осталась Ганка с детьми — партизанская мадонна, без мужа, без хаты и какого-либо жилья. Спасибо партизанам — не оставили, чем могли, помогли всем отрядом. Когда освободили район, поселили в этой вот хате, брошенной хозяином-полицаем, сыном той же бабы Насты. Тут ее и нашел партизанский начальник Выползков. Родом он был не местный, с другой стороны Двины, после партизанки оставленный на укрепление колхоза. Жить ему здесь было негде, сам был одиноким, семью потерял в начале войны. Однажды пришел и сказал: буду жить у тебя. Что ж, она не возражала, хотя совсем не знала его, разве что видела раза два в лесу, когда разъезжал на черном коне с другими начальниками. И она подумала: живи. Хата не ее — чужая, мужика тут нет. Двое малых цепляются за юбку, как их растить? Думала, может, веселее будет, все же мужчина в доме. Мужчина, правда, не сказать чтобы видный — довольно потрепанный с виду, нервный и матерился — была причина или нет. Но партийный, всегда при власти. В партизанах, люди говорили, был особистом, хотя сам об этом ей не сказал. Его здесь боялись или уважали — она так и не поняла. А может, то и другое вместе, как это повелось в партизанах, да и осталось после партизан. Хуже, что Выползок был сухорук, левой рукой лишь шевелил немного, а делать ничего не мог. Не мог даже разрубить полено на дрова, которые всегда рубила она. И совсем плохо, что был меньше ростом, что немало ее огорчало, особенно в первое время. Живя с ним, она часто думала о Гайнове, который в ее глазах становился все луч-

ше и лучше. И она твердо знала, что именно с Гайновым нашла свое счастье, с ним и потеряла — другого не будет. Удивительно, что тот, живя с ней урывками — когда находился поблизости и когда ранили, — никогда не говорил ей о любви. И все равно она знала, что любит ее, может, потому, что сама любила его. Выползок также ни разу не сказал ей, что любит, и, когда она как-то спросила его об этом, только накричал на нее. Что, мол, надумала! На днях райком наметил обсуждение политмассовой работы в колхозе, а она — про любовь. Может, и правда, подумала Ганка, и никогда больше не заговаривала о том. Чего не дано от рождения, того не выпросишь у людей.

Вскоре печалиться пришлось по другой причине — Выползок невзлюбил детей. Когда, случалось, младшая плакала ночью, он, проснувшись, раздраженно кричал на Ганку: «Когда ты успокоишь ее?» Ганка, как могла, успокаивала, может, не всегда удачно, малая все плакала, особенно когда болела, и это вызывало раздражение у мужа. Старшая, Волка, его просто боялась и, если он был дома, больше сидела на печи или возилась за печкой — лишь бы подальше от него. На детей он кричал редко, чаще спрашивал с матери. Она редко слышала от него доброе слово, больше — мат-перемат, или неделями он молчал — замкнуто и отчужденно. Очень скоро после замужества Ганка готова была возненавидеть его, но стерпела, не давая этому чувству разрастись в себе. Все же он был не простой колхозник — председатель, сельская власть. Ганка молчала. Она смолчала, когда он однажды прогнал ее подругу по семейному лагерю в лесу — Ходоску, за что та невзлюбила ее. В деревне у Ганки не стало ни одной близкой души. Другие женщины неизвестно отчего сторонились ее, ни одна не заглянет к ней в хату, не поинтересуется детьми. Всю зиму до наступления весны она каждый день ходила в колхозный амбар, веяла, сортировала, очищала семена для сева; девочки сидели одни в замкнутой хате, и ее сердце разрывалось от беспокойства за них. Не идти на работу она не могла — вынуждал бригадир, да и муж строго следил, чтобы работала добросовестно, выполняла норму, показывая пример другим. И она работала — наравне со всеми, мужиками и бабами. Сегодня, когда гаркнул на нее идти на наряд, она не удивилась, как всегда, послушалась и пошла. Только вот дети... Замкнуть их в хате она не решилась, да и стало уже тепло, малым неохотно сиделось взаперти, тянуло во двор. И она обманула их бабой Настой, к которой они иногда забегали — также тайком от него.

По дороге к амбару Ганка думала, что на работу сегодня их распределит бригадир, скажет, кому куда. Кому выбрасывать навоз, кому возить, кому растрясать его в поле. Хлопот с навозом хватало, требовалась и мужская сила. Но где ее было взять, мужскую, когда в колхозе осталась лишь женская? Правда, сегодня Ганка заметила у амбара двух мужиков — инвалида и старика, остальные там были бабы — всего человек десять. Но бригада не видно было, и Ганка почувствовала неладное. Наверно, как всегда, этот Выползок устроит скандал, не обойдется без ма-та. Хотя бы не пугал больше наганом...

Сначала бабы, те, что у амбара, молча, исподлобья глядели, как они, словно стадо с пастухом, приближались по улице. Потом, когда крикнула Ходоска, загалдели все сразу — о том, что Пасха сегодня, а они голодные и их гонят работать, вил нет и лошади пасутся черт знает где. И главное—где тот навоз? У кого его взять? Те, у кого были коровы, постарались его употребить на огороды, растрясти по грядкам, а то и вскопать лопатами свои сотки. А кто того не успел, отдаст ли теперь для колхозного поля? Все же навоз надо сперва самим — под картошку.

— Отдадут! — нервно выпалил Выползок.— Возьму и спрашивать не буду.

Тут же он распределил всех по работам — мужчин отправил запрягать лошадей, трех баб послал растрясать навоз в поле. Остальных, в их числе и Ганку, определил выбрасывать навоз из сарая. Выбрасывать — было самой тяжелой работой, голодная Ганка только сглотнула слюну. Остальные бабы возмущенно галдели, а она не могла позволить себе даже обидеться.

Четырех баб председатель повел к ближайшей от амбара усадьбе Панкрата Демеха, который имел коровку и кормил под-свинка,— наверно, навоз у него был. Самого Панкрата, исправного, средних лет мужика, дома не оказалось, жена сказала: поехал, а куда — неизвестно. Выползок выругался, пошел в хлев, где выругался с еще большей злостью, — навоза там не было. Чистый пол присыпан свежей соломой. «Где навоз? — вызверился Выползок. Бабы мрачно молчали, молчала напуганная Панкратиха, и Выползок догадался:— Продал! Ночью вывез в местечко, мать его перемать! А теперь прячется по кустам. Ну я его подкараулю, гада! Я его застрелю!»

Панкратиха не защищала мужа, бабы продолжали молчать, наверно полагая: точно застрелит. В деревне ходил слух, будто Выползок за особые заслуги имеет право застрелить любого. Та-

кая у него награда. Иным за подвиги давали ордена и медали, этому дали страшное право — расстрелять — на свой суд. Должно быть, действительно велики были его заслуги, в подтверждение которых он имел этот страшный для колхозников наган.

Может, он и в самом деле владел правом застрелить человека, хотя бы того же Панкрата, но прежде надо его найти. Так же как и навоз, которого тут не было.

По-видимому, времени на эти поиски у Выползка осталось немного, и он повел бабью команду через улицу напротив к сестрам-баптисткам Барашковым. Уж в такой день те были дома и, не обращая внимания на крики и выстрелы на улице, прилежно молились перед убранный рушниками иконой святой девы Марии — встречали Пасху.

— Я вам дам Пасху! Берите вилы и в хлев! — с порога приказал председатель.

Набожные и послушные, одетые в темное, сестры поочередно перекрестились на икону и подались в хлев, где в углу стояла молодая коровка. Однако вил у них не оказалось, а навоза здесь было на один добрый воз, и Ходоска съехидничала:

— Во, удобрим колхозные просторы! По-ударному. Давай по-стахановски, девки! Ганка, а ну покажи пример, как председательская женка!

Ганка с вилами перелезла через загородку, где было побольше навоза, и начала бросать его к двери.

Все время, пока они ходили по двору и слушали ругань Выползка, ей было очень неловко за мужа: хоть бы он помолчал, если не может по-хорошему. А он словно упивался собственной властью над этими не слишком покорными бабами. Со стороны можно было подумать, что мстил им за свою мужскую неполноценность, начальническую неистовость за горечь, которую, наверно, и пытался заглушить матом. Теперь, когда они наконец добрались до навоза, Ганка даже обрадовалась: будет работа.

Работать она умела — хоть женскую, хоть мужскую работу, ей было безразлично, лишь бы не стоять без дела. Она легко втыкала острые концы вил в слежалые пласты навоза и с усилием выворачивала их наружу. Навоз привычно вонял, но она не обращала внимания на эту издавна знакомую вонь. Невольно вспомнилось, как три года назад в блокаду пряталась почти в таком самом навозе. Их отряд разгромили, и каратели начали охоту на партизан, искали с собаками в пуше, лесах и перелесках, в покинутых жителями деревнях, поветях, токах. Ее, беременную уже младшей, одноногий дед из Алексюков прикопал сухим

навозом в пустом хлеву при стене, и она лежала там два дня, дыша через щель между бревнами. Немцы бегали по деревне, стреляли по чердакам, бросали гранаты в пустые, без картофеля, погреба. Дед потом говорил, дважды заглядывали в тот хлевок, но пороть навоз не догадались, и она уцелела. С тех пор у нее не было брезгливого чувства к навозу, тем более что у нее не было коровы.

Выползок убежал куда-то, может, искать кого-то еще по хлевам, а бабы вышли на двор и стали возле ограды. Без вил в хлеву делать было нечего. Бабы не могли окончить своего взволнованного разговора об испорченном празднике, ругали председателя. «И гляди-ка ты — выжил в блокаду, — говорила Лузгина Ольга. — Не было его в нашем отряде!» — «А что бы ты ему сделала в вашем отряде? — усомнилась старшая невестка Коржа. — Соли бы на хвост насыпала? Он и там был гроза». — «Кому гроза — немцам?» — «Не так немцам — своим. Да шпионам этим»...

Ганка слушала и усмехалась — как особисты управлялись со шпионами, она немного уже слышала, помнила случай из своего отряда. Как-то с девками была в Плешне, где квартировал и бригадный штаб, — стирали начальству белье. Тогда же из лагеря бежало пятеро пленных красноармейцев, прибились в отряд. Ну, понятное дело, — проверка: может, завербован, заслан. Всех допрашивают в хате особого отдела, никто не признается. Командиры же знают наверняка: кто-то заслан — и принимают решение: если к утру никто не признается, всех — в расход. Ночью перед расстрелом один из беглецов по фамилии Окунев требует лично командира, которому сообщает, что завербованы все, кроме него, Окунева. Мол, ему о том по секрету признался земляк, который тоже завербован. Возмущенные командиры день спустя расстреляли всех, кроме Окунева. Рассудили так: если Окунев выдал даже земляка, значит, он — свой, честный. Послали Окунева в группу подрывников, в которой он пустил под откос три поезда, а затем на станции Парафьяново перебежал к немцам. Оказалось, что именно Окунев и был завербован, остальные ни при чем. Но начальнику особого отдела за тех разоблаченных и расстрелянных уже дали орден — не отнимать же обратно. Тем более у заслуженного кадрового чекиста. А чтобы не очень удивлялись в отряде, его перевели в соседнюю бригаду, говорили — на повышение.

Спустя какой-нибудь час Ганка выкинула за порог все, что было в хлеву. На чистое, влажное еще место перевела молодую

коровку сестер Барашковых. Но возчики с телегами все не ехали, в хлеву уже делать было нечего, и Ганка вышла во двор. Бабы стояли поодаль вдоль ограды, похоже, работать сегодня не собирались.

— Перекур, Ганка! — вроде подобрев, сказала Ходоска и улыбнулась.

Ганке это понравилось, даже подумалось: может, они еще и помирятся. Хотя и так обижаться подруге не было за что, — на Выползка они могли обижаться обе.

Воткнув вилы в землю, Ганка прислонилась к ограде рядом с Ходоской. Бабы почему-то все разом умолкли, как только она к ним приблизилась. Ганка заметила это, и ей стало неловко, — возле них она по-прежнему чувствовала себя чужой. Как-то настороженно с крыльца за ними наблюдали сестры Барашковы.

Неожиданно из-за угла хаты появился бригадир Козич — молодой парень в ловко подпоясанной гимнастерке и празднично начищенных сапогах — вроде сам собирался праздновать. Сгребая рукой раскудлаченный ветром чуб, расслабленно улыбался.

— Вкалываем?

— Вкалываем! — с вызовом ответила Ходоска. — Но ты же вчера обещал...

— Ну, обещал. Пусть бы не шли. Я же вас не гнал.

— Глядите на него — он не гнал! — сразу осерчала Ходоска. — Выползок выгнал.

— А зачем слушались?

— Как же не послушаешь, если с наганом? Вон Косачеву застрелить хотел.

— Этот может, — сдержанно согласился бригадир. Видать по всему, чувствовал он себя неважно, может, еще выдыхал вчерашнее или принятое с ночи. — Если овцами будете...

— Будешь овцами. Вы же — сила, партия. Как с вами обходиться? — горячилась Ходоска.

— Мы с такими обходились, — многозначительно вытиснул сквозь зубы Козич. — На фронте.

— Так то на фронте. А мы тут в тылу. Как в тюрьме.

— Ну как хотите, — бросил бригадир и, вдруг заторопившись, пошел со двора.

— Такой парень! — мечтательно сказала Ходоска, как только он исчез за углом. — Сопьется!

И пригорюнилась. Ганка тоже пригорюнилась — больше, нежели в хлеву, когда ковыряла навоз. Нет, счастья у нее больше

не будет, думала она, судьба ее обошла стороной. Остается одно — горевать в одиночестве до конца дней...

— Долго он тут жить будет? — спросила баба от изгороди. — Потеплеет и съедет. В город.

— Я б тоже съехала,— вздохнула Ходоска. — Завербовалась бы в Карелию, на лесоповал. Если бы не мама. Больную не бросишь.

— Ты еще можешь. Пока детей не нарожала...

Стоя молча у изгороди, Ганка думала, где теперь ее девчачки, может, плачут на улице? И словно в ответ на свои заботы вдруг увидела их — по двору шла Волька, ведя за ручку малую — босую, в длинной незастегнутой кофте, уже заплаканную. Завидев мать, та выдернула у сестренки ручку и бегом припустилась по двору. Ганка, присев, протянула навстречу руки, в которые с искреннею детскою радостью уткнулась малая. Ее заплаканное личико прояснилось добротой и покоем.

— Ну, что ты плачешь? Ну что?

— Она собаки испугалась. Той, что у дядьки Панкрата, — объяснила Волька.

— Вот же человек! — возмутилась Ходоска. — Сам где-то прячется, а собаку спускает, чтобы детей травить.

Но малая уже улыбалась на материнских руках, готовая забыть свои детские страхи. Ходоска, подобрев, улыбалась Вольке, которая ласково подалась к ней. Старшая из сестер Барашковых сошла с крыльца.

— Иди со мной. Что-то дам...

Волька, словно дожидаясь предложения, охотно побежала за черненькой приветливой женщиной, а Ганка сразу почувствовала, как на ее руках напряглась в ожидании младшая. Вскоре обе вышли из хаты, — Волька впереди, а Барашкова сзади. В обеих ручках Волька бережно несла два красных яичка, личико ее сияло торжественной радостью. Подойдя к матери, одну ручку протянула сестричке:

— На тебе — Христос воскрес!

— Ай, молодец! — восхитилась Ходоска.—Малая, а знает, как надо. Ну, что надо сказать? Что? — ласково добивалась она у малой.

Стиснув в руке яичко, та молчала, не понимая еще, что надо сказать.

— Спасибо скажи, — подсказала мать.

Нет, все же она не несчастная, подумала Ганка, у нее есть детки, ее единственное приобретение в жизни, подлинное ее

счастье. Уж этим счастьем она не поступится, потому что ее девочки и есть продолжение ее самой, ее судьбы. Не такой уж и горькой, если подумать. Рядом всегда будут ее девчатки... Ганка не знала, что человек может тревожиться или может пребывать в покое или благодати, а беда караулит его всегда. Беда никогда не спит, иногда дремлет только, выжидая момент, чтобы ужалить крепко и в самое больное место. О котором и не помышляет человек.

Может, только впервые за это праздничное утро Ганка ослабилась, вольно вздохнула, готовая поверить в свое женское счастье, как во двор вбежал запыхавшийся Выползок. Наган свой он уже спрятал, и тот тяжело болтался в оттопыренном кармане обвисших галифе. При виде стоявших без дела баб у председателя сразу передернулось лицо, его квадратная челюсть отвалилась для очередного мата.

— Стоите, мать вашу...

— Так воров нет, — виновато откликнулась Ходоска. — Мы что — в подолах понесем?

— Понесете в подолах! — рявкнул Выползок. — Если понадобится. А это что? — вдруг заметил он в руках у девочек неожиданные подарки. — Праздновать? Воров нет, а яйца нашлись! Чтоб подкупить? Советскую власть не подкупишь! Дай сюда! — повернулся он к Вольке, и та испуганно протянула ему красное яичко. Выхватив его, председатель изо всей силы ударил им о бревенчатую стену хлева. Затем молча вырвал яйцо из рук младшей — также швырнул о стену. Малая сразу залилась в горьком безутешном плаче.

— Зверь! — иступленно крикнула Ганка. — Зверь!!

И пока он нашелся, что ответить жене, та, ухватив вилы и почти не ощущая себя, изо всей силы ударила ими Выползка. Грязные, с остатками навоза вилы легко вошли в его худощавое тело, и председатель сразу обвьял и молча рухнул наземь.

— Ой, ой, бабы! Она же убила его... Ой, божечка, что нам делать? — запричитала какая-то из баб, но Ганка не слышала ее. Подхватив на руки младшую, взяла за ручку старшую и пошла прочь со двора...

16-я бригада 142-го лагпункта системы Главпечорлага возвращалась с работы в лагерь. Построенные в колонну по три, женщины устало брели по не слишком утопанной, присыпанной свежим снегом дороге. Над безбрежным снеговым пространством, окутанным серыми сумерками, висела светлая полярная ночь.

За короткий день бригада не управилась с заданием на лесоповале, и начальство дало команду прихватить часть ночи. Зэчки вымотались что надо. Даже конвоиры, двумя группами шедшие впереди и сзади колонны, не очень покрикивали — за день устали от собственного крика и мата. Женщины брели словно зимние призраки — молча, лишь бы не остановиться, не упасть. Ни на что другое сил у них уже не было. Конвоиры понимали это и не донимали строгостью.

Пути к баракам оставалось не много, уже самое тяжелое — работа, мороз и стужа — на сегодня остались позади, впереди их ожидали заветные пайки и — сон. На подходе к лагерю колонна невольно оживилась, конвоиры привычно прикрикнули:

— Подтянись! Не отставать...

И в это время откуда-то из задних рядов на обочину вышла тощая женская фигура, решительно свернула с дороги на снежный простор. Идущий позади конвоир с испугом крикнул: «Стой, стрелять буду!» и клацнул затвором длинной, со штыком винтовки. Но зэчка вроде не слышала его. Проваливаясь по колёно в снег, она брела все дальше от дороги. Конвоир торопливо приложился к винтовке и выстрелил.

Выстрелил всего один раз, и женщина упала.

Колонна сразу остановилась, все замерли в ожидании, шевельнется или нет. Нет, не шевельнулась. Стрелявший конвоир побежал по снегу к неподвижной фигуре, склонился над нею и что-то крикнул офицеру, начальнику конвоя. Тот раздраженно, как на виноватого, прокричал свой приказ.

Немного выждав, конвоир поднял винтовку, запрокинул ее вверх прикладом и сильно ударил женщину — штыком в грудь. Потом ударил еще. Та не вскрикнула, — похоже, ей было безразлично.

Давно и все безразлично.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Рассказ

Не бойся гостя сидящего, а бойся стоящего — эта поговорка несколько раз приходила в голову хозяину, пока он стоял у порога, провожая позднего гостя. Они уже раза три обменялись рукопожатиями, и хозяин раза три собирался отворить дверь, а гость все не мог закончить мысль, вернее, заканчивал, но за нее тут же цеплялась другая, не менее важная или интересная. Был он по виду на изрядном подпитии, хотя выпили они по три рюмашки под кофе, говорил возбужденно, эмоционально и как будто искренне, — словом, у хозяина не хватало решимости положить этому конец.

— Поверьте, мы как услышали, словно бы внутри что-то перевернулось. Жена говорит: ты должен позвонить, поддержать человека, все же несправедливость вопиющая, как так можно в наше время.

— Что ж... Значит, можно, — вяло соглашался профессор Скварыш, думая об одном — как бы закончить разговор.

— Вот-вот. И главное — все молчат. И на кафедре, и в печати. А у вас же столько учеников! Одних аспирантов...

— Что делать...

— Вот я и думаю: подъеду вечерком, как стемнеет. Так вы уж не обижайтесь, что без звонка...

— Да нет-нет, ничего...

— А то позвонишь — сами понимаете... Что скажешь по телефону?..

В четвертый, может быть, раз пожав хозяину руку, гость ступил за порог, и Скварыш с огромным облегчением запер за ним дверь. В душе у профессора была сумятица чувств: досада от этого затянувшегося визита мешалась с благодарностью за слова, полные, кажется, искреннего сочувствия. Да-да, Краснянский говорил от души, действительно хотел утешить его и воз-

мушался несправедливостью властей. Но вот полного удовлетворения от всего этого не было, что-то мешало, глодало, создавало внутренний дискомфорт.

Оставшись один, Скварыш выключил верхний светильник в прихожей, вернулся в кабинет, где на низеньком столике у дивана стояли две чашки с недопитым кофе, полбутылки «Белого аиста». Скварыш все переживал встречу. Краснянский не был его любимым аспирантом, не отличался ни особыми способностями, ни биографией. Вообще Скварыш знал о нем не много — ну, родился где-то на Полесье, вроде на Туровщине, служил в армии, работал на металлообрабатывающем заводе, окончил вечернюю школу. В аспирантуру пришел не из комсомола и, кажется, без «волосатой руки». Жену его он видел однажды, встретил в выходной на проспекте всю семейку с маленькой дочуркой — жена так себе, ничего, не красавица, но довольно милостивая особа. Шли, ели мороженое. Жена вежливо, даже немного заискивающе поздоровалась, — видимо, Краснянский успел ей шепнуть, что этот мешковатый толстяк с портфелем и есть его научный руководитель. За последние годы через руки Скварыша прошло их немало, будущих кандидатов наук: были способные, были так себе, не шибко. Отношения с ними со всеми Скварыш старался поддерживать ровные — и со способными, и с теми, что не шибко, никого особенно не выделяя ни в каком смысле. Те, кто защищался, «остепенялся», как-то малопомалу отдалялись, шли в свою жизнь. Иные уезжали в близкие или далекие города, где находили работу, поначалу писали, звонили, присылали к революционным праздникам открытки с поздравлениями. Но с течением времени эти связи глохли, усыхали, потребность в общении уменьшалась, пока не сходила на нет. Возможно, так было бы и с Краснянским, не приключись с его научным руководителем несчастье. Самое тяжкое несчастье, хуже которого может быть только тяжелое увечье или смерть. Да это и была смерть, разве что не физическая — гражданская. Но от нее недалеко и до физической, Скварыш чувствовал это со всей ясностью.

Верхний свет из кабинета через открытую дверь падал в прихожую и отчасти в большой зал, где косым пятном лежал на пестром ковре. Мягко ступая по нему, Скварыш прошел к темному окну, выглянул во двор. Внизу под темными кронами тополей слабо отсвечивал асфальт от единственной в фонаре лампы, белели крыши нескольких автомобилей, приткнутых на ночь в ряд у бордюра. Он знал эти автомобили: два белых «жи-

гуля», зачуханный «запорожец» и новую «Волгу», принадлежащую недавно вышедшему в отставку полковнику. Иногда там появлялись и незнакомые машины, время от времени оставались на ночь, если кто-нибудь приезжал в гости к родне, обитающей в этом большом доме. Сейчас чужих автомобилей, кажется, не было, не видно было и «Волги», — наверное, полковник ночует на даче. Жена Скварыша с внуками тоже вчера уехала на дачу, а он остался в городской квартире, сказал, есть дело. Хотя дела у него не было никакого, просто хотелось побыть одному, наедине со своею бедой. Да вот этот визит занял весь вечер и наконец разрушил столь любимое им чувство одиночества. В конце концов, может, и хорошо, что разрушил: одиночество тоже с каких-то пор перестало быть для него спасением, как не было им и многолюдье. Настало время, когда людей вокруг него становилось все меньше, а порою они и вовсе исчезали, особенно из числа друзей, сослуживцев; одиночество разрасталось, заключая его в плотный глухой пузырь. Это было непривычно, пугало, и он не знал, где ему лучше: дома без людей или на людях вне дома.

То, что чужих автомобилей внизу не было, несколько его успокоило, хотя, подумал он, машина могла уже и отъехать, пока он прощался с Краснянским. Но поскольку тот предварительно не позвонил, они могли и зевнуть. А может, обосновались где-нибудь в другом месте, дальше по двору, где тень от тополей была гуще и куда свет фонаря не проникал. Как-то весною Скварыш вышел пройтись перед сном; вечер был на славу, он далековато зашел в задумчивости — даже оставил позади стройку на соседней улице, и возвращался напрямик, задворками. В конце двора наткнулся на незнакомую машину, обычные серого цвета «жигули», и, наверное, миновал бы ее в сумерках, да услышал оттуда приглушенный голос: «Объект удалился на противоположную сторону. Прекращаю наблюдение». Скварыш все понял, похолодел и быстро пошел прочь, втянув голову в плечи. В стороне, прямо за газонами, светились десятки окон, с занавесками, без занавесок и даже открытых в этот погожий вечер, и кто-то, видимо, и не догадывался, что его подслушивают. Да и как ты догадаешься?

Скварыш не стал задерживать шторы, занавешивать окно — его тут, в темноте, не могли видеть снаружи, он же кое-что видел. В размытом пятне света под фонарем беззвучно скользнула женская фигура с сумкой, свернула в крайний подъезд; из среднего подъезда выбежал мужчина с собачонкой — оба исчезли

напротив под тополями на газоне. Оттуда же, из-под тополей, слышались молодые приглушенные голоса и смех. Скварыш не видел отсюда, но знал: там, в беседке, около детской песочницы, собирались к ночи парни, иногда с девушками, женихались, бывало, далеко за полночь. И, видно, не только женихались. Однажды один из них, видимо крепко поддав, прошел вдоль шеренги спящих автомобилей, оставляя на каждом отметку арматурной железякой. Так, без всякой цели, из озорства. А может, из классовой ненависти к их владельцам. Скварыш еще постоял у окна, посмотрел с восьмого этажа вниз, потом — в вечернее небо, где над плоскими крышами ближних домов засветилась и печально висела одинокая звездочка. Невольно его тянуло отсюда, из собственной квартиры, куда-нибудь туда, на волю, ибо здесь он без остатка утратил покой, душевный комфорт, а этот визит Краснянского еще больше взбудоражил его, выбил из колеи, и как он ни успокаивал себя, все было тщетно. Чего приезжал аспирант, что у него было на уме? То ли действительно, чтобы выразить сочувствие, согреть человеческой теплотой в трудный час. То ли... Именно это «то ли» болочей занозой засело у Скварыша в душе, не давая хоть мало-мальски успокоиться на ночь глядя.

Он еще не отошел от окна, как в прихожей затрещал телефон, заставив его вздрогнуть. Напрягся, замер в неподвижности — нет, трубку он, разумеется, не снимет. Теперь он боялся телефона, уже второй месяц не разговаривал ни с кем — с того времени, как его позвали на бюро райкома. Памятное, проклятое бюро, оно подкосило его, всю судьбу повернуло в какую-то неведомую устрашающую сторону, вместе с партийным билетом отняло, кажется, волю к жизни, оставив только вот это — тайные страхи, ожидание неизвестного, вероятно, еще худшего. Ибо на исключении они не остановятся, давно известно, что они действуют по законам стаи: если кто-то захромал и не может отплясывать наравне со всеми, то его надо разорвать и сожрать — выбраковать, чтобы не портил общей картины.

Но этот Краснянский... Ну чем он, Скварыш, мог вызвать у него такое сочувствие, заставить рисковать? А это вечернее посещение, разговор — на грани риска. Конечно, Скварыш уже был научен и не очень-то раскрывался в ответ на в общем толковые, но и небезопасные пассажи аспиранта. Особенно насчет Афгана. Но совсем отмолчаться было нельзя, приходилось то кивнуть, то согласиться где одним словом, а где всего лишь намеком. И только когда аспирант заговорил про давнишнюю лек-

цию Скварыша, где тот высказал некоторые сомнения относительно политики коллективизации, профессор заметил, что он вовсе не в смысле отрицания, а скорее конструктивного осмысления — конечно же, в рамках политики партии, разве что в несколько ином аспекте. Но Краснянский словно не услышал и продолжал горячо говорить про многомиллионные закупки зерна за рубежом как последствия коллективизации. Да, так оно и есть, думал Скварыш, это всем известно, но зачем же вслух? Разве он не понимает, этот разговорившийся аспирант, что профессор не может ему ответить с той же степенью открытости, вынужден отмалчиваться? А если понимает, тогда что это? Очень уж похоже на провокацию, опасную, даже страшную для человека, исключенного из КПСС.

А если нет? Если все это от наивной прямоты, элементарного человеческого сочувствия? Что ни говори, Скварыш был неплохим профессором, студенты его любили, он знал это и дорожил своей репутацией, часто замечая приятное отношение к себе. Ибо старался не кривить душой, не доказывать того, что было понятно каждому. Не лез из кожи ни за Ленина, ни за Брежнева, хотел оставаться умеренным марксистом, насколько было возможно в это проклятое время. Да не удалось...

Телефон опять прозвонил раз и второй, — должно быть, кто-то точно знал, что он дома, но Скварыш все равно не подошел к трубке, хоть и встревожился еще больше. Вместо того он тихонько прошел в кабинет, налил из бутылки в свою рюмку и выпил, не закусывая. Странно, не очень тянуло и выпить, хотя для этого были все условия: не надо ни готовиться к лекции, ни ехать с утра пораньше в институт. А выпив, как вот сейчас, он не пьянел, голова оставалась трезвой, депрессия не проходила, возможно, даже усиливалась. Коньяк, который вообще любил, сейчас показался резким, невкусным, почти противным. Профессор сел у стола на диван, уставился незрячим взглядом в круглые пятна на блестящей поверхности, думал. Очень его смущал визит Краснянского, чуял: это не просто так, видимо, за этим что-то таится. А что именно — догадаться было не трудно: Краснянского подослали.

Что он под колпаком, Скварыш понял еще до исключения, может быть, даже зимою, когда получил однажды письмо из-за рубежа, из Кембриджа. Пакет был из плотной бумаги, но с одной стороны он, похоже, вскрывался, ибо заклеен был слишком тщательно и столь же тщательно заглажен. Тогда он стал приглядываться к другим конвертам и обнаружил, что с оборота

все они словно были когда-то намочены и старательно высушены. Вероятно, нечто подобное происходило и с его телефонными переговорами — на кафедре, дома: перепады в звучании, посторонние щелчки, чего прежде не было. Он почти перестал писать знакомым, лишь изредка открытки. По телефонам говорил коротко и о самом необходимом. Но именно тогда заметил, что к нему зачастили со звонками и знакомые, и малознакомые, и совсем чужие люди. Иные говорили сдержанно, лишь изредка касаясь рискованных тем, другие же напрямую спрашивали, как он относится к преступной гибели наших парней в Афганистане, к тому, что ограниченный контингент наших войск за столько лет не может одолеть мерзких наймитов империализма — афганских душманов. Он как мог изворачивался, старался говорить обтекаемо, но некоторые требовали от него прямых ответов. Было неловко, противно, хотелось выругаться и бросить трубку.

Теперь этот Краснянский...

И вроде же хороший хлопец, так искренне благодарил за честность, которая теперь не часто проявляется в людях, говорил, что правильно он это — про Афган. У него самого, у Краснянского, недавно в Афганистане погиб двоюродный брат, привезли в цинковом гробу, хоронили всем колхозом, мать была в обмороке, гроб не вскрывали — запретил военкомат, и как узнаешь, кто там, — может, совсем другой человек. Скварыш уже слышал о таких случаях, когда хоронили чужих вместо своих, военные почему-то путали, даже в таком деле не было порядка. Но сейчас, думал он, это, может быть, не столь и важно. Это война несправедливая во всех смыслах, даже с точки зрения марксизма-ленинизма, а те, кто ее начал, рано или поздно будут названы преступниками и прокляты. Но какая от этого радость ему, Скварышу: пока все проклинаят того, кто посмел на этот счет заикнуться. Его исключили из партии, кажется, скоро погонят с работы. Хотя он и подал апелляцию, и уже написал немало бумаг, «объяснительных», доказывая, что ничего подобного не говорил и даже не думал. Что он целиком и полностью поддерживал и поддерживает внешнюю и внутреннюю политику партии, интернациональную помощь братскому афганскому народу. До омерзения лъстиво и верноподданнически. Было противно вспоминать, как на бюро райкома, где его исключали, фальшиво оправдывался, что ему, видно, плохо удавалось, райкомовцы вряд ли верили ему. В какой-то момент он не выдержал, заколотилось сердце, пришлось при этих самоуверенных

молодых функционеров доставать валидол, руки тряслись, таблестки посыпались на колени, раскатились во все стороны по блестящему полу. Молодой мордастый секретарь на минуту прервал допрос и, словно подводя итог, сказал: «Жаль, не хотите вы разоружаться перед партией». — «А я и не вооружался. Я ничего против моей партии не имею», — сказал тогда он и сам удивился деланной вкрадчивости своего голоса. Секретарь лишь криво ухмыльнулся, сидя за столом с шестью телефонами на тумбочке: «А у нас есть материалы, свидетельствующие как раз об обратном. Например, в марте вы утверждали, что нашим ограниченным контингентом в Афганистане уничтожено около миллиона афганцев. Откуда до вас дошла эта ложь?» Все они, сколько их там было, человек, может, двадцать, рассевишиеся вокруг длинного стола и вдоль стен, враждебно уставились на него. А он молчал, мучительно припоминая, кому говорил об этом. Откуда сам знал эту цифру, помнил точно — передавало радио «Свобода», которое он по ночам слушал, разбирая кое-что сквозь густой треск глушилок. Мерзким, писклявым голосом он принялся оправдываться, готов был поклясться, что ничего подобного не говорил, хотя именно тогда внезапно все припомнил. Но как можно было признаться?

Долго сидеть без движения Скварыш не мог — давила ночная тишина. Не находя себе места, пошел слоняться по небольшой трехкомнатной квартире. Забрел на кухню, включил свет. Мог бы сварить себе кофе (все-таки занятие), но кофе он уже выпил три чашки, пожалуй, на сегодня хватит. Открыл холодильник, где были кое-какие припасы: кусок колбасы в рыжей бумаге, бутылка кефира, несколько плоских банок консервов. Ничто у него не вызывало аппетита, желания съесть. Ничего варить он, разумеется, не хотел, не хотел даже изжарить яичницу, которую вообще любил и ел с удовольствием, когда жарила жена. Разбитое стекло в двери на кухонный балкон напомнило о себе, но в этот момент он подумал, что стекло вставит не скоро. Было не до него. Он осторожно приоткрыл дверь и вышел на балкон, положил руки на еще теплые от дневного солнца поручни и вздрогнул: на соседнем балконе спиной к нему стоял такой же позы сосед и курил. Скварыш отпрянул назад, тихонько проскользнул на кухню и закрыл дверь. Сейчас он не хотел никого видеть, ни с кем разговаривать, все казалось, что на него слишком пристально смотрят и — это уж точно — его слишком внимательно слушают. Или подслушивают. Интересно, подумал Скварыш, был ли слышен с балкона их разговор в

кабинете и особенно в прихожей. И давно ли он стоит там, этот сосед в майке?

Он опять возвратился в кабинет. Убирать с низкого столика ничего не стал, устало опустился в кресло за письменным столом. Включенная настольная лампа осветила свободный от бумаг угол стола... Мугорно, ох до чего же мугорно было на душе у профессора, все сильнее точило его сомнение: так просто или же нет заходил Краснянский? А что если в это время он уже сидит в КГБ и описывает их разговор? Или, может, записал все на магнитофон и завтра отнесет в тот самый дом на проспекте? В таком случае единственное спасение — опередить его. Иначе всему конец: и работе, и карьере. Если не жизни. Но опять же — как тут напишешь? А если все это ему только кажется, если Краснянским двигали простые человеческие чувства, та же доброты?..

Проклятое положение! Скварыш ошущал это каждой извилиной мозга, каждым кончиком нервов. Надо что-то придумать, что-то сделать — есть же, наверное, выход. И он думал, напрягал мозг, а выхода не находилось. Или его так-таки и не было? Нет, с этим невозможно смириться.

Он снова принялся бродить по квартире, полосатой дорожкой прошел к запертой на два замка, обитой дерматином двери, повернул назад. С большого календаря на стене привычно — с Нового года — улыбалась ему хорошенькая японка, ниже чернели два ряда цифр летнего месяца. Черная пора, проклятые месяцы, подумал профессор, сколько они задали хлопот, переживаний, мучительной неуверенности. Если парткомиссия ЦК, куда он обратился, утвердит его исключение, это будет конец. Кранты! Неужели такое возможно?

А почему бы и нет?

Исключили же доцента Куликовича, неплохого, толкового человека, ветерана войны, только за то, что тот выступил на собрании против ввода советских войск в Чехословакию и не взял своих слов назад, когда его вызвали в горком. Не покаялся. Вообще же исключили даже не за это, а якобы нашли, что, будучи в немецком плену, он не слишком хорошо себя вел. Раскрылось это именно после его выступления на партийном собрании, а прежде будто бы ничего не знали. И сгорел доцент. Поговаривали, устроился грузчиком на овощную базу, другой работы в городе ему не нашлось. Потом куда-то уехал. А может, увезли.

В прихожей лежал мягкий дремотный полумрак, слегка отблескивал паркет у порога, и он начал расхаживать туда-сюда — пять шагов от двери до зеркала и столько же обратно. В тапках было удобно и почти неслышно. Интересно, разрешают ли в тюрьме ходить в тапках, внутренне морщась, подумал профессор. У него давно болели ноги, и дома он предпочитал пользоваться тапками. Но про тюрьму он, конечно, подумал зря. Этак можно накаркать на свою голову.

Ходить так — взад-вперед — даже понравилось, это отвлекало, давало занятие ногам. И он припомнил, как когда-то, еще мальчишкой, впервые увидел в зоопарке медведя, вот так же расхаживавшего в своей клетке туда-сюда. Тогда он пожалел косялапого бедолагу: видно, очень уж ему не по себе, коль мечется целыми часами. А теперь не в таком же ли положении и сам. В клетке. Только посочувствует ли ему кто-нибудь? Кроме разве что этого аспиранта Краснянского.

Задал ему задачку Краснянский.

Все же, видимо, надо написать. Не может быть, чтобы этот аспирант, с которым у него не было никаких отношений, кроме чисто служебных, так уж растаял от сочувствия к его беде и приехал утешать с другого конца города. Да еще с риском для себя. Сперва профессор подумал, что он по какой-нибудь нужде, скажем попросить денег или заступничества за кого-нибудь. Или насчет квартиры (с такими просьбами к нему обращались чуть ли не каждый месяц). Однако нет. Ничего не просил Краснянский, так и сказал: только поблагодарить за правду и честность. За правду? Хорошая, конечно, штукавина правда для того, кто ее потребляет, к кому она обращена. Но наша правда... Вот и тогда он обронил два слова правды, которые, кажется, пустят насмарку всю его жизнь. И надо же было... Он и впрямь забыл, что если и можно что-нибудь сказать одному человеку, то никак не больше чем одному. Если же тебя слышали двое, трое, то плохи твои дела. Это уж точно.

Вообще, дело было в бутылке — проклятой бутылке, кажется, армянского, которую они выпили втроем. Выпивали не первый раз, после парилки. Рюмка-другая вечером неплохо действовали на сосуды, распаренное тело, ополоснутое в бассейне при сауне, словно обновлялось, молодело, проходила накопленная за неделю усталость, голова работала легко и свободно. Этот разговор произошел по пути к троллейбусной остановке. Они закурили, Бокач обронил что-то про Афган, ему что-то неопределенно ответил Волохов, и тогда он, Скварыш, припомнил

ночную передачу «Свободы» и с несвойственной ему горячностью пересказал ее. Конечно, все из-за коньяка да парилки, иначе он бы, скорее всего, промолчал. Бокач с Волоховым как-то нахмуренно слушали его, а он еще добавил о преступности этой войны, за которую кому-то когда-то придется отвечать. Теперь ломай голову, кто из двоих стукнул. Ловко стукнул, ничего не скажешь, взялись за него на совесть. А ни тот ни другой и не позвонили, ни слова больше не сказали ему. Словно не слышали и не знали, что с ним происходит.

А может, они стукнули вместе? Почему бы и нет? Что из того, что друзья, что Бокач и Скварыш когда-то вместе учились, а дочь Волохова он устраивал в институт — просил за нее декана, ублажал злую экзаменаторшу Попрышку, всех подряд резавшую на физике. Поступила девчонка, а ее отец сделался его другом, сколько бутылок с ним выпито — на праздники, в сауне, на рыбалке. Поди же, не должен Волохов его так продать? Но и Бокач не должен. Все-таки старый, многолетний друг, когда-то, еще будучи бедными студентами, ездили летом к его отцу на Витебщину, купались в озере и пили отменный отцовский самогон. Нет, не должен Бокач его продать. Да вот продали. Кто из двоих, видно, не узнаешь никогда.

Теперь этот Краснянский.

Очень смелыми были его мысли — и насчет Афганистана, и Беларуси с ее насквозь лакейским партруководством. И насчет Брежнева что-то закидывал. Передразнил, как тот называет себя по телефону: «Дорогой Леонид Ильич слушает». Скварыш сидел как на иголках, ему было не по себе, все старался перевести разговор на другое, расспрашивал о семье, о жене — не помогло. Что жена, что с нею станется, слышал в ответ. А вот эта гонка вооружений... Дался тот час Скварышу, прямо вспотел весь, прежде чем закрыл за Краснянским дверь.

Нет, все же он еще не в камере-одиночке, чтобы вот так топтаться без конца взад-вперед, и не медведь в клетке. Прошел в зальчик, включил телевизор и вытянулся на диване. Когда засветился экран с каким-то старым черно-белым фильмом, он хотел было переключиться на Москву, да поленился вставать. С минуту силился уловить смысл пафосного диалога двух рабочих — молодого, длинношеего с пожилым усачом, — но быстро потерял к нему интерес, отдавшись все тем же своим беспросветным мыслям. Пожалуй, надо все же написать. Пока помнит. Не то забудешь, а они сочтут — утаиваешь. Видно же, у них все на учете — и слова, и мысли, и намерения. На то они специа-

листы, в академиях учатся. Наверное, у них есть кандидаты и доктора по этой части — по части тайных полицейских делишек, гори они гаром, как сказали бы в деревне. Да не сгорят — они совершенствуются год от года, доходя до уровня искусства. Как с этим доносом на него. Донес кто-то один или оба? А если один, то кто именно? Ему никогда об этом не узнать. И он будет обоим пожимать руки и молчать, чтобы не обидеть невинного. Ведь обидятся же. Сам бы обиделся за одно только необоснованное подозрение. А тот, кто виноват, доносчик, так разыграет обиду, что еще станешь просить у него прощения.

Между тем на экране были уже не рабочие в комбинезонах, а три девушки на берегу симпатичной летней речушки на фоне живописной сельской идиллии; на головах белели веночки из ромашек, девушки держались за руки и, проходя бережком, пели трогательную песню. Личико одной из них очень напомнило кого-то... Так и есть, давнее, почти тридцатилетнее знакомство. Кажется, ее звали Валя. И он был даже слегка влюблен в нее, в эту статную хохотушку, как-то неожиданно затесавшуюся в их компанию. Теперь уже трудно и припомнить, кто привел ее — Бобков или Сельмашинский. Кто-то из них, неразлучных друзей, фронтовиков-орденоносцев, кандидатов в члены партии. Оба кончали институт, сидели на дипломах и готовились к приему в члены. И именно в то время органы завербовали их в сексоты. Но произошло это сразу после войны, еще в цене была фронтовая дружба, и ребята в одночасье признались друг другу, что завербованы. Были удивлены, конечно, но удивляться пришлось и еще раз, когда выяснилось, что первым заданием этих органов Бобкову было что-то выведать о родителях Сельмашинского, а Сельмашинскому — что-то разузнать о его друге. Дружья, конечно, своевременно просигналили, но сигналы эти были предварительно оговорены и согласованы между ними, чтобы невзначай не нанести друг другу вреда. Должно быть, органы что-то все же заподозрили, и тогда среди них появилась Валя, веселенькая такая хохотушка в вельветовой жакеточке. Она как-то ловко втерлась между ребятами и так повела себя в отношениях с тем и другим, что они оба влюбились в нее. А влюбившись, вскоре, видно, рассорились между собой и уже не согласовывали свои сигналы, стали писать иначе, чем прежде. Это кончилось печально: в один прекрасный день оба пропали и никто из их общих знакомых не мог сказать — куда. А Валю Скварыш как-то повстречал в поезде Москва—Тбилиси: ехала с маленькой дочуркой, сказала, переводят по службе. А по какой

службе, если не секрет, поинтересовался он. Да так, по воинской, по линии мужа, сказала она и отвела взгляд. Возможно, и по воинской, подумал он, но зачем тогда озабоченно отводить взгляд?

Он и не заметил, как фильм закончился и на экране резко замельтешило серебро. Встал, нажал выключатель. Час был неранний, пожалуй, пора было садиться писать. Все начистоту. Кто, что и как говорил. Хотя вообще-то почти все время говорил Краснянский. Значит, так и писать. Но ведь это донос на Краснянского? А что делать? Все равно тот даст полный отчет об этом разговоре. Дело не в форме. Важно, чтобы те не подумали, будто он что-то утаивает. Не хочет разоружаться перед родной партией. А так — пожалуйста, он поднимает обе руки, он сдается. Сам, по доброй воле. Наказывайте, если хотите. А может, все же помилуете? Будь проклято это чувство надежды на краю гибели, этот рудимент пещерного оптимизма. Знал же, что не простят, взыщут по всей строгости. А вот надеялся... Будто ему не было известно, что именно этой человеческой слабостью с успехом пользовались немцы-фашисты. Выгоняя людей на уничтожение, они заботились, чтобы те взяли теплые вещи, одежду, на три дня пищи. В лагерях их встречали оркестром и перво-наперво вели в баню, на медосмотр к квалифицированным специалистам, которые поодиночке стреляли им в затылок. На ростомере. Люди надеялись до последней минуты и вели себя соответственно. Наверное, так же будет вести себя и он: цепляться до конца, будучи обречен, за все подряд — за партбилет, за работу. Ибо они же не говорят, что назначили ему. А может, может?..

Может, они и учтут его откровенность, поймут ее как абсолютную лояльность и как-нибудь спустят все на тормозах, думал он, без лишних подробностей, но в целом точно описывая свой разговор с Краснянским. Конечно, в основном слова и реплики Краснянского. Под самый конец, когда почти все было выложено на бумагу, мелькнула упрямая мыслишка-сомнение: а если все же это — от наивной искренности? Из сочувствия к нему, старому дурню-книжнику? Что тогда?.. Он же погубит человека. И его семью. И его девчущку, кажется Ирочку, с мороженым на палочке, сжатой в маленьком кулачке... Вот чертовщина, вот положение! Что же он тогда делает?

Но что еще было делать?

Скварыш отодвинул от себя эти две страницы убористого текста — ничего худшего он, пожалуй, не писал за все свои

пятьдесят лет. Подлые страницы, ничего не скажешь. Вылез из-за стола, налил рюмку коньяку. Налил вторую... Эту отставил, не выпив. Что-то надо было делать. Вымотанные чувства упрямо требовали какой-то определенности, окончательного решения, которого все не находилось: варианты были один хуже другого. Хотя и вариантов-то было всего два. И оба ни к черту... Между тем наступила глубокая ночь. Дом притих, перестали гудеть лифты, стучать двери. За стеною, в соседней квартире, заплакал и смолк ребенок, — наверное, уснул. Жильцы в своих сотах-квартирах мало-помалу угомонились, отделись сну, лишь в трубах водопровода время от времени слышалось какое-то тоненькое жалобное скуление. Скварыш опять стал выхаживать по квартире, подошел к темному окну в зальчике. Во дворе внизу словно бы ярче, чем с вечера, горел на мачте фонарь, сильнее светились кузова автомобилей в прогалах черных тополиных крон. Было сонно и пусто. И так же пусто и устало-сонно делалось на душе у профессора.

Может, лучше бы, если б дома, а не на даче была его жена, Леокадия Адамовна, было бы кому сказать слово, не глохнуть от этой обволакивающей ночной тишины. Хотя, может, и не лучше. С женою он уже вдосталь наговорился о своей беде, жена ему не сочувствовала. Знай попрекала за его длинный язык, за детскую доверчивость. Может, она и права, он не возражал. Жену он знал хорошо, прожил с нею жизнь, они вырастили дочь, растили внуков, но... Было в их жизни небольшое «но», которое всегда в деликатных случаях заставляло его притормозить, вспомнить, замолчать, чтобы не переступить последнюю черту откровенности. За той чертою подстерегала опасность, он чувствовал это, хотя формулировать ее избегал, даже боялся. Невысказанное табу долгие годы лежало за той чертой.

Он тогда был еще довольно молод, только что испеченный кандидат наук, жили они на частной квартире, естественно, без телефона. Как-то летом пришла телеграмма, что заболела мать — упала, сломала ногу, просит, чтобы приехал. Он быстро собрался, поехал, зашел в районную больницу, устроил туда мать. Обрато выехал дня через три, опоздал на рейсовый автобус, добирался попутными и под вечер с легким портфельчиком в руке шел пешком на свою окраинную улицу. Тогда и увидел жену: поминутно оглядываясь, она вела какой-то торопливый разговор с молодым человеком в голубой тенниске. Было это в каких-нибудь двух кварталах от дома, где они квартировали, на перекрестке двух улиц, у водоразборной колонки. Леокадия сыз-

малу была близорука, но очков тогда не носила и не заметила его приближения. Поговорив, они поспешно разошлись: жена, в очередной раз оглядевшись, повернула за угол на свою улицу, а тот, в тенниске, направился в другую сторону — к центру. Скварыш не спеша дошел до колонки: жены уже не было видно, а тот маячил вдалеке, никуда не сворачивая. Чем-то неприятно задетый, Скварыш пошел не за женой, а в другую сторону, за тем незнакомцем. Держался за ним на некотором расстоянии, не приближаясь и не отставая. Ближе к центру незнакомец зашел в гастроном, купил пачку сигарет, потом недолго звонил из уличного автомата. У Скварыша было одно подозрение, оно вело с определенной настойчивостью и в конце концов привело именно туда, куда он и думал. И чего боялся. Это был боковой вход в здание КГБ — неприметная такая дверь без вывески и часового. Человек в тенниске бросил короткий взгляд в одну сторону, в другую и исчез за дверью. Скварыш не скоро добрался до дома. Жена встретила его, как обычно, он ни о чем ее не спрашивал, ждал, что сама скажет о своем свидании у водоразборной колонки. Не сказала. А как-то уже под осень, когда они возвращались после дневного сеанса из кино, навстречу попался молодой парень, похоже, в той самой тенниске. Только на этот раз на нем был еще и пиджак. И жена, как заметил Скварыш, коротко кивнула ему, как знакомому. Кто это, немного погодя, спросил Скварыш. Да так, сказала жена, учитель один. Ничего себе, подумал Скварыш, учитель, а бегают в КГБ. Но тогда он смолчал, и больше разговора с женой о том человеке у них не было. Оставался только вопрос, ответа на который до конца своих дней будет бояться Скварыш. Так, может, оно и лучше, что сейчас он один, что вся эта маета — без свидетелей.

Со страхом и отвращением он перечитал свои две страницы — мерзкие страницы мерзкого текста-доноса. Именно доноса, ибо как же еще их назвать, — это Скварыш понимал отлично. Он ничего не придумал, ничего не добавил к тому, что говорил Краснянский, все изложил так, как оно и было. Был правдив до конца. Но чего стоит эта его правдивость, какова ей цена? Может, разорвать, сжечь и никуда не ходить? — в который раз пришла неуверенная мысль. Но что из этого будет? Вышвырнули из партии, вышвырнут с работы, отнимут дипломы. Что отнимут дипломы и звания, это определено. Отняли же кандидатский диплом у доцента Шавякова — за перерождение. В диссертации обосновывал преимущества колхозного строя, а потом в лекциях высказал сомнение относительно этих преиму-

ществ. Задали жару доценту — не перерождайся! Не умничай. Оставайся в жизни пнем и колодой — без глаз и ушей, тогда будешь соответствовать всем ученым званиям. Благо Шавякову было тридцать лет от роду, парень дюжий, он мог работать грузчиком на овощной базе. А где станет работать он, Скварыш? Что он умеет, кроме как пересказывать установки марксизма-ленинизма, в который давно и убежденно не верит. Но что делать, нужда заставляет. Учить студентов, принимать экзамены, нести заведомую чушь, ибо она кормит, дает хлеб и к хлебу. И все было хорошо, пока молчал, пока ничего — никому, кроме того официального, проверенного и утвержденного, что уже почти бездумно и механически пробалтывал на лекциях. А тут вот не удержался, сказал всего две-три фразы на темной улице близким друзьям. И все его многолетнее прежнее приспособленчество — насмарку. Если это действительно провокация, устроенная органами при посредстве аспиранта Краснянского, экзамен, то эти две странички помогут. Должны помочь. Как-никак они засвидетельствуют, что он человек открытый и ни от партии, ни от КГБ ничего не скрывает. Ну ляпнул там что-то, может быть, не совсем трезвый, может, его слегка переврали, утрировали. Но он не держит зла на доносчиков и теперь раскаивается. Возможно, исключение заменят строгачом. Строгач — не чахотка, год поносит и снимут. И снова все пойдет, как шло до этого. Тихо и спокойно. А профессору будет наука. Тогда уж и впрямь до конца жизни ничего — никому.

А если нет? Если Краснянский исключительно по доброй воле? По собственной дурости наконец. Тогда его вышвырнут из кандидатов, лишат университетского диплома, заставят распрощаться с карьерой. А то и посадят. Как тогда ему, Скварышу, жить? Что скажут о нем в институте? Как посмотрит ему в глаза дочь?

Дочь, пожалуй, была в его жизни главной заботой, большей проблемой, чем даже жена. Уже не маленькая, студентка, выросшая у него на глазах и на руках, она тем не менее таила в себе неразгаданную загадку: какая она? Происходящее в общественной жизни страны, разумеется, не могло не трогать ее, отличницу-школьницу, а затем студентку, но он до сих пор ни разу не слышал от нее ни слова одобрения, ни слова осуждения. Даже недовольства. Все эти реабилитации, репрессии, борьба с космополитами и безыдейностью, даже распарывание или сужение брюк у парней, брань в адрес евтушенкинской поэзии — все это внешне никак не отражалось на его Людке. Во всяком случае,

при родителях она была к этому словно глуха. Однажды он резко заговорил с нею о комсомоле, нарочито провоцируя ее на ответ, но дочь только сверкнула на него оробело-удивленным взглядом и не сказала ни слова. Боже, подумал он, — и она? Или она остерегается его, отца, или сама уже там, у них на крючке в свои девятнадцать лет? Неужели и сейчас, в эпоху развитаго социализма, ничего не изменилось ни в обществе, ни в психологии его членов? Ну, ладно, он жил в страхе, но чего уж бояться им?

Вероятно, боялись, потому что страх был жив.

Он опять принялся мерять полосатую дорожку — до двери и назад. Шло время, а ничто ни в голове, ни в душе не прояснялось. В конце концов все оборачивалось банальнейшей ситуацией — кому пропадать? Либо ему, либо Краснянскому. В таких случаях прочь отлетала мораль, срабатывал только инстинкт, животный эгоизм как средство биологического выживания. Разумеется, это скверно, это некрасиво, это аморально. Но делай, что нужно, и будь что будет, многозначительно учил когда-то Толстой, этот величайший моралист всех веков и народов. Хотя хорошо было Толстому учить, у него была Ясная Поляна. А что есть у него, профессора Скварыша? Кроме зарплаты да этих вот клетушек — квартиры?

Нет, должно быть, правда все же за Протагором с его выводом о человеке как мере всех вещей, именно человек всегда определяет, как ему жить. За человека этого не может сделать никто — ни Бог, ни дьявол, только он сам. Плохо, однако, что он, Скварыш, не относился к числу людей, делающих свой выбор решительно и бесповоротно. Но человек, поставленный перед необходимостью такого вывода, теряет свободу. Он не свободен. Свободным же становится тогда, когда перестает существовать ситуация, требующая выбора.

Беда еще в том, что людям слишком многое нужно, видимо, природой им не дано ограничивать себя, как дано это животным. Они от Бога наделены свободой мысли, а им еще нужна и свобода слова, как когда-то не без ехидства заметил Кьеркегор. Действительно, не слишком ли большая это роскошь в тоталитарном обществе — свобода слова. В условиях демократии другое дело. Там о свободе не мечтают, там ею пользуются так же естественно, как дышат воздухом. Здесь же даже помыслы о ней — крамола, за которую неизбежна расплата. Расплата все тем же — свободой и судьбой. Дьявольское общество, дьявольское время! И когда это утвердилось? Или, может, существова-

ло и прежде? Может, и правда, что гибель современной культуры началась давно. Не в ночь ли на 25 июня 1820 года, когда умник Гегель, этот философ тоталитаризма, родил свое знаменитое: все действительное — разумно. Универсальное оправдание тирании. Неудивительно, что этот детерминизм одинаково пришелся по душе как его землякам-фашистам, так и российским коммунистам. Удобная философия двадцатого столетия... В сонном сознании Скварыша мысли текли безостановочно, не очень логично цепляясь одна за другую. Но со времен Декарта известно, что в духовной жизни стоящие мысли занимают весьма малое место. Куда больше тех самых путаных, сонливых и нелогичных, от которых мало проку. Так, сорняки, духовная мякина, сквозь которые лишь изредка прорастает что-нибудь значительное и даже гениальное. Но это — если нет страха. А может, именно в атмосфере страха наиболее напряженно и трудится ум? Хотя бы в поисках выхода...

Остаток той ночи он не расхаживал по квартире — сидел во вращающемся кресле за письменным столом, уставившись незрячим взглядом в свои проклятые строчки. Настольная лампа ярко и привычно освещала часть заваленного бумагами стола, голова и лицо Скварыша тонули в тени. Так было удобно. Под гнетом переживаний он устал, но сон не шел, и он не ложился. Тяжкая забота донимала его — как лучше поступить? Чтобы не сделать ошибки и не кусать потом локти. Когда будет поздно. Но эта проклятая задачка вообще, кажется, не имела решения. Сколько над нею ни бейся. Были два варианта, и оба никуда не годные. Значит... Значит, тщетное занятие ломать голову, думать. Тем не менее думал и ломал голову — искал, перебирал в дремотном сознании возможные и невозможные, по существу, фантастические варианты. И вполне очевидные последствия. Последствия все были безрадостно горькими и чудовищными. Ярко освещенные страницы на столе делались все более фантазмагорическими, наполнялись ужасным смыслом, и он уже боялся к ним прикоснуться, чтобы не накликал новой беды. Они обретали все большую власть над ним, он очутился в полной от них зависимости. Как избавиться от проклятых листков? Видимо, есть один-единственный способ — сдать туда, где в них нуждаются. И — вздохнуть свободно. А если это окончательно закабалит его?..

Что наступило утро, он догадался по неясным звукам в соседней квартире, где-то тихонько запел водопровод. Встал, раздвинул шторы на широком окне. Небо над крышами уже зали-

вала рассветная синева, стало светлее в кабинете, и он выключил лампу. Идти в КГБ лучше было до девяти часов, чтобы не встретиться ни с кем по дороге, ничего не объяснять. Сдать и — назад. Наверное, там разберутся — куда, кому. В какой отдел, какому майору или подполковнику. Надо думать, это у них налажено. Доносы не пропадают. Не то что заявления в горисполкоме.

Он вышел в прихожую с твердым намерением идти, не откладывая, тем более что нужный ему дом был недалеко. Пока дойдет, утро будет в разгаре. Но если бумаги передавать через дежурного, пожалуй, нужен конверт. Пришлось возвращаться за конвертом, на котором он вывел четкими буквами: «КГБ БССР». Заклеивать не стал, вероятно, так будет лучше. А то подумают, что в конверте пластиковая бомба, и задержат самого. Задерживаться он там не хотел ни на минуту. Лифт необычно гулко грохотал в рассветной тишине подъезда, пока он спускался со своего этажа. Внизу у длинного ряда почтовых ящиков столкнулся с соседом, отставником-военным. Тот в спортивных шароварах и кроссовках, видимо, возвращался с утренней пробежки и лишь удивленно округлил глаза, увидев Скварыша. Скварыш ничего объяснять не стал, поспешил к выходу. Сейчас он не хотел видеть никого.

Из троллейбуса вышел за два квартала до знаменитого в городе здания, и тут решимость начала оставлять его. Чем ближе он подходил к боковой двери КГБ, тем меньше ее оставалось. Напротив двери совсем замедлил шаг, матовое стекло в створке не давало рассмотреть, что там происходит. Но он знал, что там стол и дежурный, — как-то зимой заглянул случайно. У косяка на стене отливала красным табличка: «Прием посетителей круглосуточно». Она обнадеживала. Но именно у самой двери он лишился остатков смелости и прошагал мимо. Дошел до угла здания, свернул на другую улицу и остановился. Что же, в конце концов, делать? Очень хотелось плюнуть на все и поехать домой. Может быть, допить бутылку, завалиться на диван, и гори оно все ясным пламенем.

Но, пожалуй, это не сгорит. Это все в огне не горит и в воде не тонет. Тут у него не было сомнений. Если он сейчас не решится — окончательно и бесповоротно — его ждет незавидный остаток жизни. Значит, хочешь не хочешь, а надо возвращаться.

И он вернулся. Опять нерешительным шагом приблизился к двери за матовыми стеклами, на этот раз держась ближе к гранитному цоколю. Чтобы не отступить. Чтобы не было возмож-

ности отступить. И с ходу рванул длинную отполированную ручку двери.

За столом у двери не было никого, дежурный — мордастый, откормленный прапорщик с портупеей через плечо — от скуки дефилировал по проходу. Скварыш поздоровался. Тот, ничуть, кажется, не удивившись раннему посетителю, даже как бы улыбнулся: давай, мол, входи. И Скварыш сунул ему в руки конверт.

— Кому?

— Там разберутся. От Скварыша.

— Это вы? Подписано, да?

— Все подписано.

Чтобы разом оборвать этот разговор, Скварыш, не разворачиваясь (как будто очень спешил, что ли), задом толкнул дверь и очутился на улице. Неверным шагом пошел по тротуару вдоль самого бордюра, и жуткая явь содеянного все больше открывалась ему. Как же так, зачем?.. А если он дал маху? Подставил порядочного человека? Что же тогда он натворил?

Да, видно, натворил...

На углу здания он опять остановился, оглянулся на стеклянную дверь. Ну, что делать? Вернуться, взять заявление назад? Но отдадут ли? Наверное, прапорщик-дежурный уже регистрирует его в какой-нибудь толстой книге. А если уж зарегистрирует, то никакая сила его оттуда не вырвет. Будет храниться вечно. Вот так!

Бедный, несчастный аспирант Краснянский.

Бедный, несчастный профессор Скварыш.

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ

Рассказ

С поля к деревне вела хорошо утоптанная стежка, которая в конце кукурузной нивы поворачивала к сельской околице. Но этот привычный для сельчан путь теперь показался чересчур длинным, и Иван, по прозвищу Снайпер, чтобы его спрямить, повернул в кукурузу. Тем более что поблизости никого не было, а кукуруза тут выдалась дохлая, как, впрочем, и всюду в их захудалом колхозе. Кроме разве придорожного участка, о котором особо заботился председатель, да и бригадиры, с явным намерением втереть начальству очки. Ни о ржи, ни о яровых, ни о картошке так не заботились, как о кукурузе, которая, однако, упрямо не хотела родить на здешних клятых подзолах.

О кукурузе заботились, но скотину все же кормили сеном, хотя и сена запастись на зиму было непросто. Прежде всего негде — всю мало-мальски пригодную землю распахали под посевы той же кукурузы, оставались болота да ольховые заросли. С утра Иван Снайпер косил свою пайку в кустах ольшаника, но между кочек и пней не много накопишь, только намахнешься косой до ломоты в плечах. А тут, как назло, у Ивана кончилось курево, едва дотянул до вечера. Когда солнце склонилось к лесу, плюнул на эту чертову пайку и с косой на плече потащился домой. Помнил, в ватнике со вчерашнего дня оставалась начатая пачка «Примы».

Шурша резиновыми сапогами в низкорослой кукурузе, он думал, что захиревшая с весны кукуруза вряд ли оправится к осени, будет скошена на силос. Вообще-то на этом подзоле не очень росло и в прежние, доколхозные годы. Иван не забыл, как, бывало, ворчал отец, раскидывая по весне навозные кучи: сколько ни удобряй — урожая не будет. Такая земля. Невдалеке, за кукурузной нивой, был их надел, где подростком Иван впервые сжал в ладонях гладкие ручки плуга и провел свой пер-

вый загон. Скупой на похвалу отец одобрительно сказал о сыне: мол, будет хозяином, есть на кого оставить землю. Однако хозяйина из Ивана не получилось — вышел снайпер, а земля осталась никому не нужной, так же как и бывший ее хозяин, которого взяли следующей зимой. Вскоре старшему в семье подростку Ивану понадобился не отцовский надел, а дрова, чтобы обогреть хату да сварить картошку для трех всегда голодных братьев, с утра сидевших на остывшей печи. И он с топором в руках шел в окрестные заросли, рубил две-три олешины и волок их по снегу к хате. Ни тогда, ни позже об отце, польском шпионе, старался не думать, и даже не вспоминать, — отца он стыдился. Так продолжалось до тех пор, пока однажды не вызвали его в район и не вручили странную такую бумагу о «реабилитации за отсутствием состава преступления». Спустя еще год он получил в райфо 650 рублей — за смерть отца, которая, как было написано в бумаге, последовала в сорок втором году от паралича сердца. На те деньги Иван-Снайпер купил себе новый ватник и бутылку «Московской» — помянуть отца.

Перейдя околицу, Иван перелез через изгородь и оказался в своем огороде. Прежде чем направиться по картофельной борозде к хлевкам, привычно повел одним глазом по огороду — нет ли где кур? Второго глаза у него не было, вместо выбитого в партизанщину осколком уже после войны в госпитале вставили стеклянный. Но стеклянный Ивану не нравился, и он вставлял его редко, когда собирался в район или к докторам на инвалидскую комиссию, куда его исправно вызывали раз в год. Возле дома обходился своим одним и видел не хуже двуглазых. Вот и теперь сразу заметил на огороде жену Стасю, которая, согнувшись, ковырялась в свекольных грядках. Заметив его, жена выпрямилась, минуту всматривалась, наверно, недоумевая, почему так рано вернулся, когда другие мужики еще усердствовали на пайках.

— Что, скосил?

— Неужто тебе оставил?..

Жена промолчала, уловив его настроение, хотя и не догадывалась о причине неразговорчивости. Он ничего ей объяснять не стал, молча повесил косу на угол и вошел в сени, где на косяке висел его новый ватник. Но в карманах ватника было пусто, и он не сразу сообразил, что два дня назад они докурили эту пачку в Волчьем логу, когда выпивали с Леплевским. По случаю... Иван-Снайпер уже не мог и объяснить, по какому случаю состоялась та пьянка, каких в ту весну случалось у них немало.

Помнил лишь, что кроме Леплевского там был еще младший Цыпрук, зять, милиционер из района, потом появился Дубчик, без которого не обходилось ни одно подобное дело. Хорошо погудели тогда, едва добрались до околицы, когда гнали уже с пастьбы коров.

Неудача с куравом вызвала глухое раздражение. А тут еще, ласково мурлыкая, вертелась у его ног молодая кошечка, Иван со злостью поддал ей сапогом: пусть не лезет к человеку, у которого нечего закурить. Во дворе прислушался: невдалеке раздавался дробный металлический перестук, это трудяга Савченко отбивал на бабке косу. Однако завтра воскресенье, и уж он, Иван, завтра косить не пойдет, разве что в полдень поворошит скошенное. Савченко же, конечно, будет вкалывать и в воскресенье, как и каждый день, таков уж этот жадный до работы человек. Что значит — из семьи подкулачников! У него уж точно найдется закурить, подумал Иван-Снайпер и сошел с низкого крыльца. За изгородью в грядах снова распрямилась его дебилая женка.

— Слышал, к Косатому Усов приехал, — негромко сообщила она.

— Усов?

— Ну, Усов. Тот самый...

— К Косатому?

— Ну.

Вот это новость, удивился Иван-Снайпер. В деревне этого Усова не забыли многие, особенно те, кто постарше, вспоминали о нем редко когда добрым словом, больше злым, с болью и проклятием, — так он насолил здесь за несколько предвоенных лет классовой борьбы и чекистских репрессий. После того как в канун войны незаметно исчез из этих мест, нигде его никто не встречал и даже не слышал о нем, многие его считали погибшим. А он, гляди ты, оказывается, жив-здоров и даже приехал к своему другу и помощнику Косатому.

— Под вечер Манька Володева видела, как с автобуса через околицу шел, — рассказывала жена. — Огородами, чтоб не узнали. Справный такой, в шляпе.

— В шляпе?..

Взволнованный услышанной новостью, Иван-Снайпер не спеша побрел меченной коровьими лепехами улицей к хате Савченко. Он даже забыл о том, что хочет курить, когда шагнул в раскрытые ворота его усадьбы. Савченко, крупный, широкогру-

дый мужик с седой чуприной, в белой расстегнутой сорочке, закончив отбивать косу, прилаживал ее к косовищу.

— Слышал? — спросил его в воротах Иван-Снайпер. — Усов приехал.

Внешне спокойный, будто безразличный к его словам, Савченко поднял косу, попробовал прочность ее крепления к косовищу и отставил к стене сарая.

— Приехал, ага.

— К Косатому?

— К Косатому.

— И что ему надо?

— Видать, что-то надо, — уклончиво отозвался Савченко.

Но, судя по всему, он тоже не знал, с какой целью приехал гость. Хотя, если бы и знал, от Савченко не много услышишь. Иван-Снайпер знал характер соседа и не очень стремился вызывать его на разговор.

— Закурить найдется?

Савченко молча вытащил из тесного кармана штанов помятую пачку «Примы», протянул соседу. Потом и сам взял сигарету.

— Так что же это получается? — закурил, никак не мог чего-то понять Иван. — Или поворот учуяли?

— Может, и учуяли.

Савченко был старше Ивана-Снайпера, неразговорчив и сдержан в чувствах, может, потому, что таким родился, а может, жизнь научила быть молчуном. Возвратясь пять лет назад из ссылки, где он отбыл едва ли не двадцать пять лет, он так и не почувствовал себя ровней с земляками-колхозниками, старался держаться в стороне. Не то что его сосед Иван, который так загеройствовался в войну и особенно после нее, что готов был забыть свою настоящую фамилию Ярошевич, откликаясь исключительно на партизанскую кличку Снайпер. Большой славы в партизанку он не обрел, зато теперь любил поговорить о собственном бесстрашии и обижался, если кто-то сомневался в том.

— Я ему, сволочи, покажу, такую его мать! — выругался Иван-Снайпер и пошел со двора.

На улице, однако, остановился, еще не зная, как реализовать свою угрозу. Потоптавшись возле изгороди, вспомнил, что есть еще человек, с которым следовало бы поделиться новостью про Усова. Это учитель Леплевский, что жил в районе, но вчера приехал на косьбу — помочь одинокой матери. Старая Леплевская

жила на краю деревни, у пруда, и Иван-Снайпер решительно двинулся туда.

Всю дорогу его распирало от внезапно вспыхнувшей злости и застарелой обиды. Когда-то этот энкавэдэшник пересекал у них половину деревни, работая на пару с помощником из местных, счетоводом Косатым. Особенно расстаралась эта пара в тридцать седьмом, когда загребла и отца Ивана, и многих других. На Косатого у сельчан злобы уже не осталось, перегорела за то время, пока этот стукач пребывал там же, куда спровадил земляков. Правда, в отличие от многих ему повезло, вернулся, хоть и с нажитым в лагере туберкулезом. Теперь тихо доживал век в большой старой хате вместе со своей старухой. Большое семейство Косатого рассыпалось после войны и жили кто где; никто к нему не навещался, даже дети отвернулись. Косатый своего греха не скрывал, скупко рассказывал, что на сотрудничество с органами его вынудил тот же Усов, узнав, что за Косатым грешок имелся со времен революции, когда, будучи в армии, он из любопытства раза два посидел на партийных сходах левых эсеров. Эта любознательность дорого обошлась солдату Косатому, а следом за ним и его вовсе не любознательным землякам.

На не отгороженном от улицы дворе старой Леплевской никого не видно было, но возле сеней у стены стояли рядышком две косы с блестящими лезвиями, заметив которые Иван-Снайпер понял, что учитель дома. И еще кто-то, судя по всему, тот, кто помогал ему на косьбе. Неторопливо перейдя заросший лопухами двор, Иван оказался по другую сторону хаты и сразу увидел двух мужиков. Возле глухой стены под старой раскидистой грушей стоял небольшой столик с лавкой, за которым сидели молодежавый, хотя и лысоватый учитель Леплевский и его гость, местный колхозник Дубчик. Последний напоминал преждевременно состарившегося подростка с худой шеей и сморщенным личиком. Оба молча уставились на незваного гостя. На застланном газетой столе лежали сорванные с грядки луковицы и стояли два стакана. Бутылку они, конечно, предусмотрительно убрали в траву, что не укрылось от зоркого взгляда одноглазого Снайпера.

— Пьем? — вместо приветствия строго констатировал гость.

— А что — нельзя? — с вызовом ответил Леплевский. В его глазах, однако, мелькнула тень озабоченности — мало ли что? Все же Леплевский недавно вступил в партию, к чему стремил-

ся не один год, и потому имел все основания остерегаться. — И тебе можем налить. Дубчик, давай стакан.

Дубчик сидел с полным ртом и не сразу подвинул свой пустой стакан, в который Леплевский бережно отмерил ровно до половины. Потом немного плеснул в свой.

— Вот докосили и решили отметить, — сдержанно пояснил учитель.

Иван-Снайпер молча выпил водку — одним глотком, закусывать не стал, взял со стола пачку болгарских «БТ». Затянувшись, расслабленно опустился на узловатые корни груши.

— Знаете, кто к Косатому приехал?

— А кто? Племянники? У него в Орше племяши живут, — спокойно пояснил хозяин, тоже закуривая.

— Племяши! Усов, вот кто приехал. Тот самый. Из НКВД. Который твоего брата смылил. И твоих, Дубчик. А то — племяши...

За столом замерли. Леплевский молчал, словно проглотил язык, а Дубчик даже перестал жевать.

— Это что же ему понадобилось? — наконец проговорил учитель.

— Значит, что-то понадобилось. Может, кого-нибудь тогда недобрал?

— И вправду недобрал. Мы же вот остались.

— Мы-то остались и радуемся. А скольких не осталось? У меня отец, у тебя брат. Такой славный мужик был... Грамотный, все учился... И партийный. У него вон, — Иван кивнул на Дубчика, который сидел, откинувшись к бревенчатой стене. — У него, считай, вся семья пропала.

— Батька, — тонким голосом уточнил Дубчик.

— Батьку взяли, а мать померла. Почему померла — не знаешь? Потому, что надорвалась с кучей малых. Ты вот старший, так выжил. А младшие твои где?

— Под крестами...

— Вот-вот, под крестами. С голодухи дошли. Помню, как по деревьям попрошайничали...

— Попрошайничали, — уныло подтвердил Дубчик.

— Но ведь реабилитировали, — вставил Леплевский и заученно бодрым тоном продолжал: — Партия допустила ошибки, она их и исправила.

— Что исправила твоя партия? — вспыхнул Иван-Снайпер. — По шестьсот пятьдесят рублей заплатила? За душу человеческую.

— Это компенсация, — уточнил Леплевский.
— Это не компенсация, а — чтобы отделаться от людей.
— Но ты же взял? И он тоже взял, — кивнул Леплевский в сторону пригорюнившегося Дубчика.

— А как не взять? Ты бы не взял?

— Мне не платили. За брата не полагается.

— А я взял. Я на те деньги кухвайку себе купил.

— Ты купил фуфайку, а Дубчик поллитровку.

— Три бутылки, — тихо возразил Дубчик.

— Ну вот, даже три бутылки. И все пропили. В райфо снова вернули. И ты фуфайку пропьешь, — учитель вроде подтрунивал над Иваном-Снайпером, который ерзал на жестких корнях.

По всей видимости, простая логика учителя его обезоружила, и он не сумел возразить. Хотя и очень хотел.

— А что, больше нет? — после непродолжительной паузы спросил он почти спокойно.

— Больше нет. Кончилась, — показал хозяин пустую бутылку. — Разве что у Дубчика...

— Была у собаки хата! — бросил Иван-Снайпер, с усилием поднимаясь. — Пойду к Баранихе схожу.

Обычно при срочной надобности они бежали к бобылке Баранихе, у которой всегда что-нибудь находилось — бутылка самогона или кислого болгарского вина. Вино колхозники не любили, потому что слабое, «плохо брало». Однако пили и вино, хотя в меньших количествах, потому что, как говорили в деревне, вино — не водка, много не выпьешь.

— Так нам подождать или как? — спросил Леплевский.

— Ждите!

Иван скрылся за углом хаты, а двое остались на своих местах. Молча курили, не хотелось разговаривать. Леплевский хотя и не был молчуном от природы, но, оторванный от жизни в деревне, с односельчанами разговаривал редко и мало. Со многими это было ему неинтересно — учитель наперед знал, от кого что услышит. Иное дело за бугылкой, в застолье. Правда, жаль, что нельзя выпивать молча, приходилось высказываться. В общем, и в застолье было небезопасно: среди собутыльников вполне мог оказаться сексот. Сегодня вот молча выпили с Дубчиком, но приволокся этот балабон Снайпер, и Леплевский почувствовал: теперь надолго. Он уже не мог ограничиться одной бутылкой, появилось естественное желание добавить, а главное — встревожила принесенная Снайпером новость об Усове. На трезвую голову, возможно, все выглядело бы иначе, — на хмель-

ную же Леплевский становился чересчур чувствительным, старые обиды остро оживали в его незаживающей памяти. С нарастающим гневом он думал об Усове. Гляди ты — явился, по существу, на место своего преступления, значит, здешних, тех, кто пострадал от него, ни во что не ставит. Или восстанавливает старые связи с сексотом Косатым? Или там, наверху, наметился новый поворот в большой политике? Как здесь, в деревне, узнаешь?

Всю жизнь Леплевский страдал за старшего брата Сергея, который когда-то первым в их немалой семье выбился в люди и тянул за собой остальных. После школы устроил младшего в учительский институт в Орше, учил и воспитывал. Воспитывал, конечно же, в коммунистическом духе, как и надлежало сознательному педагогу-большевику. Учиться в институте было нелегко, не хватало ни времени, ни учебников. Каждый раз после выхода очередного постановления ЦК партии брат советовал ему основательно проштудировать первоисточники, использовать дополнительную литературу, труды классиков марксизма-ленинизма. И еще приучал выступать на собраниях, проявлять активность, вырабатывать в себе классовую бдительность. Все это непросто давалось младшему Леплевскому, но он старался. В институте стал членом комсомольского бюро, агитатором, сдал нормы на значки ГТО, ГСО, «Ворошиловский стрелок». Раза два его уже вызывали на беседу в органы, похоже, имели что-то в виду. Что-то хорошее, может, решающее в его судьбе. И он ждал.

Все рухнуло однажды в полночь. Едва он прилег, засидевшись за конспектами «Краткого курса ВКП/б/», как в окно постучали. Брата не было дома, за день до того поехал в деревню помочь матери с дровами да и прихватить кой-каких продуктов для двух городских сыновей. Леплевский открыл, в комнатушку ввалилось человек шесть энкавэдэшников, подняли жену брата с грудным ребенком, потребовали хозяина. Леплевский сказал, что старшего брата нет дома. «Где он, отвечай быстро!» — приказал главный чекист с короткими, щеточкой усиками под ноздреватым носом. Леплевский некоторое время колебался, раздумывая, говорить правду или соврать. Но не стал врать, сказал честно, как было: брат в деревне, на днях должен вернуться. В деревне той ночью его и взяли. Но брал уже не тот с усиками, а местный уполномоченный Усов.

Потом много лет (до и после войны) Леплевский жалел, что сказал правду, может, надо было направить их по ложному сле-

ду — в Минск или в Витебск, пускай бы искали, теряли время. А самому предупредить брата, пусть сматывается куда-нибудь подальше. Некоторые в то время так и поступали. Но что ждало бы его самого, если б обман раскрылся? И без того несладко, временами он даже завидовал брату: если тот жив, то его хотя бы кормят. А каково прокормиться ему, отчисленному из института, оставшемуся без жилья, без прописки, без работы? Хорошо еще, что после нескольких месяцев скитания по чердакам и садовым будкам у знакомых приняли на железную дорогу путевым рабочим, что дало возможность дотянуть до войны. В войну, как железнодорожника, не мобилизовали, но оказался он в оккупации, едва не умер от тифа в родной деревне. Потом угнали в Германию на рурские шахты. А после войны завербовался в Карело-финскую, строил гидроэлектростанцию, учился заочно и лишь три года назад устроился учителем в районе.

В прошлом году его приняли в партию.

Леплевский встал из-за столика, подошел к изгороди. Солнце уже закатилось за лес, из ольшаника надвигались вечерние сумерки, сильнее запахло картофельной ботвой, потянуло дымком из соседней трубы. Спину в легкой сорочке пробирал озноб. Надо бы сходить в хату да накинуть пиджак, но учитель тянул время в ожидании посланца за добавкой. Дубчик в заношенной серой свитке также терпеливо ждал, подпирая худыми плечами еще тепловатые бревна.

— У тебя из родни кто-нибудь остался? — после долгого молчания спросил Леплевский.

— Никого.

— А сестра старшая? Клавдией, кажется, звали?

— Померла.

— А младшая?

— Тоже померла.

— Где старший сын Кондрусевича? Он же тебе двоюродным приходился?

— Тот в партизанку погиб.

— Так что же ты — один?

— Ну, — тихо подтвердил Дубчик.

Он и впрямь жил бобылем в старой хате, скотины никакой не держал, даже курицы, работал в колхозе по специальности «куда пошлют». Питался тем, что дадут, пил, сколько нальют. Вел себя тихо, неприметно. Если, случалось, где-нибудь перебирал, то там же и засыпал — хоть на лавке в хате, хоть под кус-

том в поле. Мужики его недолюбливали за неполноценность, а больше за склонность к дармовой выпивке и куреву; бабы, те даже любили — за безотказность. Если которой выпадала нужда в мужской работе — наколоть дров, забраться на крышу к трубе или выкопать могилу для умершего, бежали за Дубчиком. И тот никогда не отказывался. Про оплату не спрашивал, да ему редко и платили, — обычно совали на бутылку или саму бутылку, которую он тут же и выпивал с первым попавшимся собутыльником. Но и сам не упускал случая, если у кого-нибудь назревала выпивка. На нее Дубчик имел особый, почти совершенный нюх, никогда своего не прозевал.

Спустя каких-нибудь полчаса из-за угла появился Иван-Снайпер, за ним неторопливо шел Савченко — он молча вытащил из карманов пиджака две поллитровки, с подчеркнутой важностью поставил их на стол.

— Ого! — вырвалось у Леплевского.

— Вот тебе и ого! — передразнил его Иван. — Дубчик, а ну давай нарви лука. Что у тебя, учитель, хлеба нет?

— Хлеб есть. Наверное...

— Так принеси!

Пока хозяин ходил в хату, искал хлеб и надевал пиджак, Иван-Снайпер и Савченко, не утерпев, налили по стакану и выпили. Дубчик тем временем нарвал на огороде большой пучок лука, и они на пару с хозяином выпили из тех же стаканов. В бутылке оставалось немного.

Выпивать можно было и стоя, но, чтобы покурить и покалечить, надо присесть. На этот раз за столиком примостились Иван и Савченко, хозяин устроился под грушей, а Дубчик скромно примостился возле угла на выступе фундамента. Он не курил и в беседе почти не принимал участия. Если спросят, ответит. Сейчас, правда, его ни о чем не спрашивали. Иван-Снайпер все не мог успокоиться.

— Приехал, подлюга! Думает, тут о нем забыли. Нет, я ему, падле, этого не прошу.

— А что ты ему сделаешь? — равнодушно спросил Леплевский. — Соли на хвост насыплешь?

— Да уж отомщу, собаке.

— Как? В газетку напишешь? — с ехидцей допытывался Леплевский. — Вон один написал, так из партии исключили. За поклеп!

— Нет, я писать не буду! Я убью его! — неожиданно для себя решил Иван-Снайпер. — А что? Чего так смотрите?

— Какой решительный! — покрутил головой Леплевский. — Гляди, чтобы штаны не упали.

— И то правда, — сдержанно вставил Савченко. — Такому отомстить не грех. В Сибири одного вертухая к кедру в тайге привязали. Через месяц нашли скелет. Комары заели.

— Так это в Сибири! — отмахнулся Иван-Снайпер. — А тут где привяжешь? Свои же и отвяжут. Которые сексоты.

— Не все же сексоты, — тихо заметил Леплевский.

— Хватает. И у нас тоже.

Леплевский помедлил, пытаясь понять, на что намекает Снайпер. Учитель всегда был чуток к малейшему намеку такого рода, потому как за намеком могла скрываться опасность либо близкий ее сигнал. То, что когда-то помогло ему в жизни, дало возможность окончить институт и даже вступить в партию, теперь очень просто могло раздавить. Наступило иное время, началась новая политика, и неизвестно еще, как там, наверху, отнесутся к институту сексотов. Могут тайно отблагодарить, а могут и открыто взыскать. Каждый из вариантов порождает неуверенность и беспокойство, тяготил и вызывал тревогу.

Постепенно совсем стемнело. Ночные сумерки окончательно поглотили огород, двор, звездной пеленой накрыли деревья и крыши домов. Все вокруг притихло, затаилось, приготовилось к встрече короткой летней ночи. Только за хатой под грушей слышался прерывистый разговор выпивших людей да мелькали в темени красные огоньки сигарет. Один, изогнувшись крутой дугой, упал в огороде. Так прошло время — час или больше, Иван-Снайпер, матюгнувшись, решил:

— Хватит пить! Выходи строиться!

— Так ведь еще осталось, — напомнил Леплевский.

— Тогда разливай. По последней. Сперва Дубчику...

— Мне, может, хватит, — неуверенно заперечил Дубчик, однако придвинулся поближе к столу.

— Ладно, выпей. Может, в последний раз. И ты, сосед, выпей, — повернулся Иван к Савченко. — Там, брат, сила понадобится.

— От водки сила? — усомнился Савченко.

— А думаешь, нет? Выпивший сильнее трезвого. Наукой доказано, читал.

— Да, но нехорошо ночью. Будто бандиты, — сказал Леплевский, которому не очень хотелось встречать в сомнительное дело. Но учитель не мог устоять перед напором Ивана-Снайпера.

— Нам, значит, ночью нельзя? Да? А им можно было? Всегда ночью старались, чтобы свидетелей не было. Я ведь помню, пятнадцатый год шел. Приехали втроем: Усов и с ним еще двое. Косатый за понятого, конечно. Подняли всех в полночь, только уснули. Отец как раз поставки возил на станцию, приехал озябший, усталый, чуни разул, онучи у печи развесил. Вставай, ты арестован. И обыск. Все перевернули, в кадку с капустой шомполом тыкали — контрреволюцию щупали. Польский шпион! А я, понимаешь, не очень-то испугался, потому что знал: я же не шпион, меня они не возьмут. Почему так думал, дурень безголовый? Они же не только шпионов брали. Вон у вас, Савченко, всех забрали, тебе тоже было не много лет...

— Так это же в тридцать третьем, — рассудительно заметил Савченко. — В ссылку всех брали: и старых, и малых.

— А мне откуда было знать: в ссылку или на расстрел? Си-дел с ребятами за печью, чтобы обыску не мешать, а батьку они у порога с поднятыми руками под винтовкой держали. Вижу, этот Усов вытаскивает из сундука мою буденовку с красной звездочкой. Ту, что отец на Рождество с ярмарки привез, очень она мне нравилась, та буденовка, с маленькими такими пуговичками тоже со звездочками. Я же сызмальства к военному склонность имел, жалко, из-за увечья до сержанта не дослужил...

— Вот почему гимнастерку полюбил. Третий год не снимаешь, — усмехнулся Леплевский.

— А что — уважаю. Только не о том разговор. Надел однажды эту буденовку в школу, ну, пацаны и налетели: дай да дай померить. Одну пуговицу и оторвали. Отец вечером увидел и отобрал, говорит: сначала ушанку доноси. Обидно было, но, думаю, ладно. Скоро двадцать третье февраля, День Красной Армии, уж тогда выпрошу. Да вот — кукиш, а не День Красной Армии. Усов этот мою буденовку милиционеру отдал: не позволим, говорит, польскому шпиону красноармейский убор компрометировать. Эта буденовка мне потом два года снилась.

— Потому ты и снайпером стал? — спросил Савченко.

— Нет, снайпером не потому. Снайпером — это по слабости характера. В партизанке глаз осколком выбило, потом немного зажило, а тут немцы блокаду начали. Приказ: всех, в том числе инвалидов, в строй. Как раз снайпера нашего Биклагу убило, винтовка с прицелом осталась. Кому ее отдать? Все отказываются: то не могу, то не умею. Известно, дрейфят, потому что тут

отваги побольше надо, чем с обычным ружьем. Вот командир и говорит: «Ивану Ярошевичу, у него один глаз цел, другого нет, прищуриваться не надо. Будет бить немецких захватчиков». Вот я и бил, как снайпер. Двух полицаев шлепнул и одного захватчика. Как теперь помню: утречком на опушке вылез из люка в танке, всматривается в дальний лесок из бинокля. А я в ста метрах от него под кустом лежал. Ну и гвозданул ему под бинокль, так и обвис в люке.

— Герой! — тихо сказал Леплевский.

— А ты думал! Медаль «За отвагу» не каждому давали.

— Ну и команду. А мы за тобой.

— Лады, хлопцы! Еще по глотку — и завязали. А то... Не знаю, какой он теперь, а тогда здоровый бугай был.

— Не отошал. Такие не тощают, — сказал Савченко.

Они еще выпили — на этот раз молча, уже охваченные новой заботой, которую обрушил на них этот неуемный Снайпер. Потом Леплевский ненадолго отошел к забору и снова вернулся к столу. В другое время они бы уже стали расходиться, все же купальская ночь коротка, новый день нес немало новых забот. Но какая-то сила держала их вместе, как заговорщиков, сообщников по небезопасному делу, которое неведомо еще, чем могло кончиться. И они все сидели за столиком, на котором в темноте едва серела газета и два пустых стакана. Савченко неловко двинул локтем, сбросил кусок хлеба и тут же полез его искать под столом. Долго не мог найти, пока Дубчик не нашупал хлеб на стержке.

— И чтоб все вместе! Чтоб никто не сачканул, — строго предупредил Иван-Снайпер.

— А чем мы его? — простодушно поинтересовался Дубчик.

— А кто чем. Бери кол или камень. Ножа нет?

— Ножа нет, — произнес Леплевский без тени юмора.

— Так притащи! В хате-то нож есть?

— Нет. И в хате нету.

— Ну и хозяйство! Даже ножа нет! А если зарезать кого-нибудь?

Дубчик коротко хохотнул от этой Ивановой остроты, а может, вспомнил, что у него тоже не было ножа. Года четыре тому назад сломался отцовский нож-самоделка, выкованный в местечковой кузнице. С тех пор в своем бобыльском хозяйстве Дубчик обходился топором, правда, тоже старым и заржавленным, с неудобным расшатанным топорщиком. Еще его отец, колхозный сторож, все собирался починить топор, да так и не со-

брался до ареста. Топая морозной зимой около колхозного амбара, старик для бодрости пел частушки — где-то услышанные, а также собственного сочинения, порой бессмысленные, а порой с очень определенным смыслом. Наверно, кто-то его подслушал. Когда арестовывали ночью, этот самый Усов не удержался, даже процитировал одну, которая на всю жизнь врезалась в память подростка-сына: «А в колхозе справно жить, кто на кладбище лежит». Отец в ответ застенчиво улыбался, тронутый вниманием к его творчеству. В ту ночь вряд ли он мог предвидеть, что скоро и сам ляжет на каком-то кладбище, умрут маленькие три его девочки, раньше времени состарится сын, а топор-инвалид с расшатанным топорщиком по-прежнему будет служить человеку.

— Я, это, за топором сбегая, — предложил Дубчик.

— Давай. Только быстро. А, едри его лапоть, кажись, светает?

— Однако, светает, — согласился Савченко. — А у меня в Кутах еще пайка не скошена.

— Скосишь, успеешь. Ат, давай разливай, допьем, и хватит, — неожиданно решил Иван. — Оставлять — совесть не позволяет.

— Не позволяет. Совесть — она тонкая вещь, — с готовностью присоединился Леплевский и, звякая рыльцем бутылки о пустой стакан, принялся разливать водку.

— Мне хватит, — остановил Савченко.

— Хватит так хватит...

— Нам больше достанется. Правда, учитель? — подхватил Снайпер.

— Я уже пас!

— Что так? Али брата не жалко? Я же твоего Сергея помню — вот как вчера видел. Грамотный мужик был.

— Да, грамотный.

— И очень партийный. Тоже в колхозы загонял, — поддел Савченко.

— Что ж, такая политика была.

— Ну и его загнали. Чтобы не обидно было, — снова с намеком произнес Савченко.

— Кому не обидно? — удивился Леплевский.

Все же они здорово выпили, и мысли у них путались, пугались и слова, что не в лад с мыслями слетали с языка.

— А всем — и коммунистам, и беспартийным, — туманно пояснил Савченко.

— Мой брат был честный большевик, — разозлился Леплевский. — Это его энкавэдэшники сгубили.

— Он тут двенадцать человек сгубил, — уточнил Иван-Снайпер, имея в виду Усова. — И еще хватает нахальства приезжать сюда. Или не знает, что всех реабилитировали?

— А может, считает, что реабилитировали неправильно. Потому если правильно, то это брак в их работе, — предположил Савченко.

— Мы ему покажем брак! Я ему самолично череп раскрою! — разошелся Иван-Снайпер и вскочил из-за стола. Но тут же упал, запутавшись в траве, с усилием поднялся на ноги. В это время в сумерках показался Дубчик с топором в руках, который у него сразу выхватил Снайпер.

— Вот этим топором голову снесу!

Наглядно демонстрируя остальным, как он это сделает, Иван широко размахнулся, и топор, слетев с топорщища, тупо шлепнулся где-то в огороде.

— Что это? Что ты мне принес, паскуда? А ну ищи!

Дубчик молча перелез изгородь и стал шарить в грядках, но найти ничего не мог. Тогда Иван-Снайпер решительным рывком выломал из ограды кол, отбросил прочь остатки ссохшихся лозовых перевязей.

— Пошли!

Он был на хорошем подпитии, но, пожалуй, не чувствовал этого. Остальные, видно более трезвые, уже начинали понимать серьезность происходящего и не сразу поспешили за самозванным командиром. Хотя и не удерживали его. Первым проявил готовность следовать за Иваном Дубчик, потом из-за стола с заметным усилием поднялся Савченко. Леплевский пытался что-то нащупать на газете, да оставил это занятие и тоже подался следом за всеми.

— Вперед, народные мстители! — крикнул Иван-Снайпер.

Они вышли на пустую утреннюю улицу. Деревня еще спала, солнце не взошло, но вокруг было уже хорошо видно. Недалеко в хлеву прокукарекал петух, перебежала улицу чья-то серая кошка, возвращаясь с ночной охоты. Свернув в свой двор, Савченко прихватил заточенную с вечера косу — пригодится. За канавой под изгородью паслась пегая коза Баранихи. Проводив мужиков недоуменным взглядом, она продолжала свое привычное дело. Бобылки Баранихи поблизости не видно было, зато в своем дворе Иван сразу заметил жену. Как обычно, когда хозя-

ин где-нибудь загуливал, она не ложилась спать и терпеливо дожидалась его в воротцах.

— Куда это вы?

Иван сделал вид, что не замечает жены, и с колом на плече прошагал мимо.

— Авдей, Дубчик, куда это вы?

— Чекиста убивать, — не сразу ответил Дубчик.

— О боже, вы что, сдурели?

Женщина выбежала на улицу и запричитала в предчувствии скорой беды.

— Остановитесь, не трогайте его! Себя погубите, не ходите туда!

— Тихо, тетка! — прикрикнул на нее Леплевский.

Тетка осталась позади, больше никто их не останавливал, и мужики не слишком решительно двинулись к усадьбе Косатого.

Ими руководила застарелая обида, давно дремавшая жажда мести. Неожиданно они получили возможность сквитаться. Четкого расчета, плана у них не было. Всех подчиняла безоглядная решимость Ивана-Снайпера, и они следовали за ним.

Правда, на улице Леплевский держался несколько поодаль от Ивана, его решимости вроде поубавилось. Хотя был не менее других пьян, но не мог не чувствовать опасности замысла и легко предсказуемых последствий. «Наверно, надо остановить Снайпера», — думал он, но все не мог улучшить для этого момента и шел вместе со всеми следом за Дубчиком. Дубчик же, может, впервые в жизни ощутил силу своей правоты и готов был ради нее на все. Особенно если вместе с хлопцами да во главе с отважным заводилой Иваном-Снайпером.

Так они приволоклись в конец деревни. Далее лежал пустой выгон, а к усадьбе Косатого вел кое-как огороженный тыном переулочек. Пройти по этому переулку мужики почему-то не решились.

— А если он из нагана через окно, — опасно сказал Леплевский.

Все на минуту смолкли, прислушиваясь, однако ни во дворе, ни в хате ничего не было слышно. После вечернего застолья, наконец, в доме еще спали.

— Я же говорил: надо было ночью, — сказал Иван-Снайпер.

— Подождем, когда выйдет! В девять автобус, — уточнил Савченко.

Иван согласился.

— Правильно! Подождем. Будто в засаде на шоссе.

Они перешли на другую сторону пыльной дороги и остановились возле канавы. Недолгая прогулка после бессонной ночи, похоже, утомила их, и Дубчик, перейдя канаву, сел на скосе. Следом на чахлую загаженную курами траву опустился Иван-Снайпер и остальные. Иван не выпускал из рук свое оружие — кол.

— Я ему как врежу! — грозился он. — А вы не зевайте. Упадет, сразу наваливайтесь и душите. Главное, чтоб вместе. Мы ему покажем репрессию... А закурить? Есть у кого закурить?

Все, однако, молчали, похоже, курева ни у кого не было. С досады Иван-Снайпер выругался и притих. Очевидно, следовало потерпеть, сделать дело, а потом уже думать о куреве или о чем-либо еще.

Из-за соломенных и шиферных крыш выглянуло наконец низкое спящее солнце. Савченко глубже насунул на глаза кепку. Его обычно задавленные жизнью чувства готовы были вырваться наружу, хотя он и сдерживал их. Понимал, если бы удалось осуществить задуманное, то, на что они отважились, пришло бы облегчение. Только вот этот Снайпер... Савченко стал сомневаться в способностях самозваного командира и все больше поглядывал не на двор Косатого, а на стежку в поле. Там, сразу приметил, с косой на плече показалась Бараниха. На огороде женщина стала, постояла, недоуменно вглядываясь из-под руки в их группку. Она шла косить пайку, тем самым напомнив Савченко и о его надобности.

— Ну где он там? Мне тоже косить надо...

— Да подожди ты! В Сибири не накопился? — грубо оборвал его Иван-Снайпер. — Убьем, тогда и скосишь.

Они еще посидели немного, напряженно всматриваясь в ненавистную усадьбу, которая продолжала мирно спать.

Тем временем начинался день, и его дневные заботы все больше занимали людей. На соседних подворьях замелькали женские платки — хозяйки принимались за утреннюю дойку, выглядывали на улицу в ожидании, когда станут выгонять скот. Старательно ощипывая на канаве траву, к мужикам помалу приближалась коза Баранихи. За ней на улице появились три мальчугана, — усевшись поодаль под изгородью, молча поглядывали на мужиков.

— Ну что он так долго?! — забеспокоился и Леплевский. — Может, на день решил остаться?

— А может, он огородами? Струсил — по улице, — рассуждал Савченко.

— Догоним! И ноги поломаем.

— Ну-ну.

Еще посидели немного. Наконец Савченко решительно поднялся:

— Да ну его в дупу! Пойду косить...

— Сдрейфил? — зло сощурил единственный глаз Иван-Снайпер. — В штаны наложил?

Вместо ответа Савченко вскинул на плечо косу и пошагал краем улицы. Оставшиеся заметно приуныли, почти без надежды поглядывая на огороженную усадьбу Косатого. Солнце тем временем поднялось над деревней, пригревало остывшую за ночь землю. Иван-Снайпер вытянул длинные ноги в серых, высохших от ночной росы резиновых сапогах и устало откинулся на локоть. Немного полежав, вспомнил:

— Леплевский, а там не осталось?

Леплевский лениво повернул в его сторону лысоватую голову.

— Откуда...

— Ты не темни. Должно остаться. В бутылке. Дубчик, а ну сбегай. Голова раскалывается.

Дубчик послушно встал и молча побрел улицей в другой конец деревни, где что-то должно было остаться. Иван-Снайпер немного посидел, борясь с дремотой. Его голова стала клониться на грудь, и наконец он расслабленно опустил спину на траву.

— Так что теперь мы — вдвоем? — вопросительно произнес Леплевский.

Иван-Снайпер не ответил. Ковыряя травинкой в зубах, Леплевский поглядел на него и понял: их заводила спал.

— Ну вот — дождались!

Он, однако, продолжал наблюдение за двором напротив, но там ничего пока не менялось. Коза между тем приблизилась к ним и, недоуменно подняв голову, уставилась на двух мужиков, которые нежданно оказались на ее привычном пути. Леплевский замахал рукой: «Пошла прочь!», но коза и не думала уходить. Мальчуганы засмеялись, наверно хотели посмотреть, как учитель станет отгонять бодливую козу. Он хотел встать и шугануть ее, но вдруг во дворе напротив увидел людей. Ну, конечно, тот, что в ватнике, сгорбленный и белоголовый, — главный деревенский сексот Косатый, рядом его баба, а спиной к улице стоял рослый плечистый мужчина в черном пиджаке, с портфелем в руках. Они прощались. Обменявшись рукопожатием с хо-

зяином, гость легким движением руки коснулся шляпы на голове и, не оглядываясь, пошел к улице.

— Иван! Иван! — Леплевский толкнул в бок товарища. — Идет! Он идет!

Иван-Снайпер лишь пробормотал что-то и вытянул ноги. С досады Леплевский выругался, не зная, что делать. Усов уже заметил их за дорогой, и Леплевскому показалось: сейчас повернет обратно — может, на огороды...

Однако Усов не повернул на огороды, только замедлил шаг, выходя из переулка, и тотчас уверенно направился через дорогу. Несомненно, к ним. От неожиданности Леплевский медленно поднялся на ноги, попытался застегнуть пиджак, но почему-то не мог нащупать верхнюю пуговицу. Не мог оторвать взгляда от внушительной фигуры Усова, его твердого, решительного лица, коротенького галстука на груди и — особенно — от пестрых рядов его многочисленных наград на левой стороне груди. «Как у маршала», — мелькнула нелепая мысль в разворошенном сознании учителя.

— Здравствуй, учитель! — бодро поздоровался Усов. — На косьбу собрался?

— Да нет, знаете, — невнятно выдавил из себя Леплевский.

— А это кто? — кивнул Усов на распластанную фигуру Ивана-Снайпера.

— Да так. Сосед...

— Ну, а как жизнь?

— Ничего вроде.

Усов смотрел ему прямо в лицо, и в этом взгляде не было ни враждебности, ни настороженности, одна спокойная уверенность безгрешного праведника. Растерянный Леплевский никак не мог найти верный тон и не знал, как вести себя. Иван-Снайпер спал, словно убитый, а что мог он один? Да и вообще стоило ли что-нибудь делать? Спокойная уверенность гостя обезоруживала, и Леплевский про себя посмеялся над своей недавней решимостью. А они еще беспокоились, как бы Усов не убежал огородами. Зачем ему куда-то бежать?

— Я в курсе, — сказал Усов, сверля его испытующим взглядом. — Всех реабилитировали, выплатили деньги...

— Спасибо, — неожиданно выдавил из себя Леплевский.

— Главное теперь — не озлобиться. Работать, работать надо! Для страны, для народа, для партии.

— Конечно же, партия...

— Правильно! Партия всегда права! Человек может ошибиться, партия — никогда. Ну, учитель, желаю успеха.

Он протянул Леплевскому руку, и тот с облегчением слабо пожал ее. Пока он спокойно удалялся по улице, обходя засохшие и свежие коровьи лепехи, Леплевский не сводил взгляда с его крутоплечей фигуры. С запоздалой злостью пнул ногой распластанного Ивана-Снайпера, возле которого в канаве валялся сухой кол с обломанным концом.

Потом тихо выругался и потащился домой.

ТРУБА

Рассказ

Черт бы ее подрал, такую дорогу, — колдобина на колдобине, грязь по колено, лужи, — и когда ее так размесили? Хотя было время — огромные «мазы», трактора и трубовозы в слякоть и дождь изуродуют любую дорогу, а не только этот заброшенный проселок. Жаль его им, что ли? Они свое дело сделают и смоятся на другое место, а вы тут кувыркайтесь до зимы по этим колдобинам. А впрочем, Валере сегодня наплевать на дорогу, колдобины и на все поле разом, уж до дома он как-нибудь доберется. Правда, два раза уже падал, поскользнувшись, полы его плаща в грязи, ноги до колен тоже. Но он неплохо выпил сегодня в районной забегаловке «Рица», Семен Рудак раскошелился, да и вся его, Валерия, выручка за бутылки осталась там же. Вот на буханку хлеба да на кило сушек только и сберег, чтобы вернуться не с пустыми руками. Теперь, хотя и припозднившись, он придет домой с хлебом, не надо будет завтра зябнуть в бабьей очереди у порога местной лавчонки в ожидании хлебовозки. Все-таки Валера интеллигент с высшим образованием, сельская элита. А что его дом в шести километрах от райцентра, так в том ли вина Валеры? Конечно, некоторым повезло больше и они устроились поудобнее, даже в самом местечке; у него же в местечке не получилось, приходится довольствоваться тем, что имеет. А имеет он должность завклубом некогда передового колхоза «Путь к коммунизму», — скромная, правда, должность, но лучшей не нашлось, спасибо и за эту. Вот и бреди теперь из местечка домой вполне коммунистическим путем, пытался пьяновато иронизировать над собой Валера.

Как всегда под градусом, он чувствовал себя умным и смелым, иногда великодушным по отношению к другим и к себе тоже. Собственные пьяные промахи его мало уязвляли, он их помнил недолго. Конечно, из местечка можно было идти и

большаком, но большаком было на два километра дальше, а он и без того задержался в районе, вот и спрямил путь на свою голову, побрел напрямиком по трассе строящегося газопровода. Кто думал, что здесь так размесили газовики...

Пожалуй, однако, напрасно он о том не подумал прежде, не предусмотрел, каким может быть путь к коммунизму. Если не получилось у всей страны, вряд ли следовало ждать удачи для отдельно взятого гражданина, сельского культурника. Теперь вот купайся в грязи. Хорошо еще, что он выпивши, а будь трезвый, стало бы и вовсе тоскливо. Трезвые всегда слишком благо-разумны, осторожны и трусливы. Валера же трусом себя не считал — ему ли пасовать перед этим болотом! Решив так, он уже не разбирал дороги и бодро шагал по лужам, благо его резиновые сапоги были еще новые. Хотя и в новых уже подозрительно хлюпало.

Не добрался он и до середины пути, как стало смеркаться, лужи превращались в непролазную топь, вдали уже ничего не было видно. Держать направление помогали земляные хребты вдоль трассы, от которых на поле плыла рыхлая, хлюпкая грязь. Местами хребты прерывались — это там, где трасса закончена, труба уложена и траншея зарыта. Но так было не везде. На некоторых участках только недавно в траншею уложили трубы — широченные, изолированные в битум и бумагу, диаметром едва ли не в рост человека. В рост подростка — это уж точно. Недаром деревенские школьники, возвращаясь с занятий, а то и убе-гая с уроков, устраивали в трубах недетские забавы — дрались, курили, нюхали всякую дрянь. За местечком на прошлой неде-ле нашли тело какого-то жмурика, утопленного в траншее. Го-ворили, тоже детки постарались. Впрочем, может, и не детки во-все...

К лугам Валера добрался уже впотьмах, почти выбиваясь из сил в этой бесконечной борьбе с бездорожьем. И вроде даже на-чал трезветь. Теперь он ясно сознавал, что лучше бы ему заночевать в местечке. Но у кого заночевать — вот в чем проблема. У Сеньки Рудака было бы сподручно во всех отношениях — до-брый человек, и места в новой избе хватало. Но у Семена — злая жена, ненавидевшая всех мужиков-выпивох. У Каменецкого же-на вроде бы и ничего баба, не крикливая, но в квартире повер-нуться негде — трое ребят, неизвестно, где сами спят. У мили-цейского землячка Пустового Валера и сам бы не остался, если б тот и пригласил. Таких, как Пустовой, следовало обминать за сто верст — пригласит, а потом еще сдаст в вытрезвитель — бы-

вало и такое. Нет, в местечке он не остался правильно, вот только пошел не по той дороге. А вся страна идет правильно? Последнее соображение несколько утешило Валеру, который подумал, что, как в капле воды отражается океан, так и в его дурном выборе отразилась политика. Очень на то похоже. Так на что же тут нарекать?

Разве что на погоду.

Погода в самом деле сволочила с каждым часом все больше. Мало того что рано стемнело, так еще пошел дождь — да такой напористый, с холодным ветром. Даже в плаще Валера скоро почувствовал, что промокает. По такой дороге недолго было подхватить простуду, а то и чего похлеще. Как его друг ветеринар Кругляков. Промок на рыбалке, под утро выпал снежок с морозцем, и схлопотал ветеринар чахотку. Спустил год похоронили — не помогли ни минские доктора, ни черноморские курорты. Хотя Кругляков и без того был хлипкий здоровьем, не пил. Валера же на здоровье пока не жаловался. Однако понимал, что все до поры до времени, может найтись и на него проруха. Особенно если не пить водку. А по нынешним временам с водкой становилось все хуже — подводили финансы. Зарплату платили нерегулярно, задерживали до полугода, порой не на что было купить хлеба, не только водки. Вот и теперь, хорошо, что сдал в магазин собранные после дискотеки пустые бутылки, а то... Сегодня, однако, выпил, отвел душу. Теперь только бы добрести домой, где его ждали двое подростков и не очень ласковая жена, учительница Валентина Ивановна. Не очень ласковая, но своя. А что иногда критикует, так на то она и жена, чтобы критиковать. Отдел районной культуры? Там одни бабы, а начальник Кобзев Семен Игнатович сам не прочь поддаться, особенно на халяву. Так что, хотя для страны настали трудные времена, для выпивох — еще поглядеть. В чем-то даже и благодатные. Только бы больше денег.

Дождь к ночи, похоже, еще усилился, и Валера подумал, что надо где-то укрыться. Но где укроешься в поле? Правда, он вспомнил, что впереди пригорочек, к которому с двух сторон вели газотрассу. Там должен оставаться еще не сваренный стык. В совершенной слякотной темноте Валера добрал до пригорка и взобрался на вязкую земляную гору. Как он и предполагал, стык еще не сварили, конец одной трубы лежал в траншее, а задраный конец другой покоился на перемычке-бревне, брошенном через траншею. С сумкой в руке Валера храбро пробрался по бревну к трубе, ухватился за ее шершавые края и вскарабкался

внутри. Здесь было сухо, затишно, только сильно воняло битумом, но вони Валера не боялся. Главное, не лило за ворот и то благо. Сначала на четвереньках, а затем немного привстав, он пробрался в гулкую глубь трубы и свалился задом на ее покатуую выгнутость.

Отдохну, дождь затихнет — пойду.

Сразу стало удивительно тихо и покойно, даже вроде уютно в металлическом чреве трубы. Он надыхал себе на грудь под сползший на голову плащ и уснул. Снов еще не успел увидеть, как через какое-то время услышал тревожные голоса: показалось, кто-то лезет в трубу. Встретаться с кем бы то ни было у Валеры не было никакого желания. Полусонный, он поднялся и, пригнувшись, полез по трубе — подалее от встревоживших его голосов. Потом свалился, сморенный усталостно-алкогольной дремой. Благостно вытянулся вдоль трубы и безмятежно-сладко уснул.

Сон увидел нестрашный, даже в чем-то приятный для души. Привиделось Валере, будто заседает бюро райкома и его, как было уже когда-то, исключают из партии. В общем, обычное дело, но райкомовские начальники слишком уж расположены к нему, не порицают, а лишь тепло, по-отечески улыбаются. Вроде он космонавт, только что вернувшийся из космоса на землю. Вот только чувствует он себя не как космонавт и не как эти райкомовцы, а как загнанный, озлобленный уголовник. Особенно ненавистен ему секретарь Степан Николаевич, который ведет бюро и которому Валера все порывается отвесить пощечину. А тот вроде не понимает и даже не отстраняется от него. Но и Валера плохо владеет собой, хочет ударить и не может. Сведенная в судороге правая рука его не слушается, и Валера распаляется все больше. По-видимому, зря, так он представляет это себе во сне. Потому что, хотя его и исключат из КПСС, но, по существу, для его же, Валеры, пользы, для блага партии и, следовательно, для всего советского народа. В таком случае стоит ли возмущаться и так дерзко вести себя. Хотя Валера вовсе не почитал славную партию большевиков, ее безмозглое руководство, но никак не жаждал быть исключенным. Для себя и для людей, может, честнее было бы самому из нее выйти, но и этого Валера не мог позволить себе — выход из партии, пожалуй, был равносильно самоубийству. Все-таки партбилет для него, как и для многих, — хлебная карточка, она и кормила. Странно, однако, казалось во сне, что его дружно исключили и столь же дружно потом поздравили — все по очереди, включая и Степана Нико-

лаевича, который на прощание обнял Валеру. Всегда надутое лицо партсекретаря при этом стало и вовсе бульдожьем, что, однако, никого не смущало.

Странное впечатление произвело на Валеру это исключение, сонные чувства его смешались. И смешались еще больше, когда он затем очутился на площади перед райкомом. Из пыльного переулка к райкому хлынула овечья отара (и откуда она взялась?), прижала его к штакетнику райкомовского палисада; на его глазах овцы стали превращаться в злобных разнопородных псов, готовых наброситься на него. Валера оглянулся, ища защиты у благорасположенных к нему райкомовцев, но те враз куда-то сгнули, и он остался один перед разъяренной псарней. Правда, беснование продолжалось недолго, собаки стали исчезать, будто растворяться в пространстве неширокой площади, остался один престарелый Бобик, несколько лет обитавший в колхозе при его клубе. Этот беззлобный ушастый пес с сожалением в слезливых глазах уставился на Валеру, будто вопрошая о чем-то. Может, просил есть? Скорее всего, именно так, как это он делал обычно возле клубного крыльца, когда по утрам дождался хозяина. Но сейчас у Валеры не оказалось с собой ничего съестного, только тогда он вспомнил о сумке с хлебом и сушками и, озабоченный, сразу проснулся.

Сумку с гостинцами он нащупал под боком, но его смутили голоса — вроде недалекий мужской разговор. Валера не сразу понял, где он, а сообразив, удивился, озадаченный вопросом: сколько же он проспал? Голоса явственно доносились откуда-то поблизости, хотя разобрать, о чем шла речь, не удалось. Он подхватил сумку и живо подался по трубе в ту сторону, откуда ночью взобрался в нее. Хотя не представлял теперь, как далеко уполз от того места, помнил только, что уходил подальше от каких-то голосов в трубе. Все происходило по пьяни, конечно, и он не запомнил расстояния. Теперь пробрался довольно далеко, — иногда привставая, а больше на четвереньках, — но разрывая в трубе не находил. Голоса же снаружи стали глуше, временами пропадали вовсе, где-то слышались тарахтенье трактора, хлопки глушителя. Поразмыслив, он решил, что спутал направление. Следовало двигаться в обратную сторону. Подосадовав на свою несообразительность, полез обратно.

Все-таки дурное это дело — пьянка, уже совершенно потрезвому думалось Валере. Протрезвев, начинаешь все понимать по-иному, чем под градусом. Не сказать, лучше или хуже, но иначе. Кажется, вчера недалеко ушел от конца трубы, а вот се-

годня нужного стыка найти не мог. Совсем заплутал, пьяная морда, подумал о себе Валера. Похоже, проспал ночь, а может, и день. То, что снаружи светло и работают трубоукладчики, было точно. Только где же к ним выход?

В неловкой, обезьяньей позе, с помощью рук Валера одолел добрый отрезок трубы, а вчерашнего стыка все не было, и это стало его пугать не на шутку. Или он так далеко забрался ночью, или теперь снова пошел не туда? Не в тот конец. Но тогда что же получалось? Похоже, спятил мужик, крыша поехала...

Недолго повременив, отдохнув от обезьяньего способа передвижения, он снова прошел вперед и остановился. Здесь голосов совсем не слышно было, сколько он ни прислушивался, замерев в темноте. Может, они там поговорили и уехали, предположил он. Так куда же все-таки пробираться — взад или вперед? И где они здесь, эти взад-вперед? Впервые Валера ощутил страх от одиночества и покинутости. Всерьез не мог еще допустить и мысли, что, пока он спал, его заварили в трубе. Сколько же это надо было проспать? Хотя газовики работали быстро, а от него можно ждать всего. На сон он с молодых лет мастак, особенно после выпивки. На военных сборах когда-то проспал день и две ночи в кустах за лагерем. В роте его обыскали, посчитали за дезертира. А он просто дрыхнул. Также после выпивки, конечно.

Но если теперь он действительно долго спал, то его дела могут быть плохи. Даже так статья, что очень и очень плохи.

А может, он просто пошел не в ту сторону и еще не дошел до того стыка.

С еще большей прытью он подался по трубе обратно. Пригибаясь, бежал, карабкался, то и дело опираясь руками о покаптые стены трубы, казалось, бесконечно долго, стараясь наверстать по-глупому упущенное время. Часы на его руке продолжали исправно идти, было слышно их тихонькое тиканье, но какое показывали они время, в абсолютной темноте не различить. Стыка все не было. Перестали доноситься и голоса. Почувствовав, что обессиливает, Валера упал боком на выгиб трубы и затих.

Может, надо было кричать?

И он стал кричать, во все горло тянуть бессвязное «А-а-а», которое, расходясь в оба конца трубы, слегка отдавалось дальним приглушенным эхом. Отзвука с поверхности, однако, не было никакого, и он смолк. Конечно, если траншею засы-

пали, никто его здесь не услышит. Никогда! Но что же получается тогда?..

Ерунда получается, завклубом Валерий Сорокин. Осиротеет твой клуб некогда передового колхоза-маяка «Путь к коммунизму», сиротами останутся хлопцы-двойняшки Коля и Дима. Может даже, для блезиру, погорюет жена — суровая женщина Валентина Ивановна. Все-таки не совсем уж нукудышный был он человек, непутевый ее Валера. По крайней мере ему хотелось так думать. Еще поразмыслив, Валера решил, что надо все-таки попробовать докричаться в другом конце трубы, именно там, где он впервые услышал голоса. Но где был тот, нужный ему конец, определить он уже не мог. Кажется окончательно теряя ориентировку в этом подземелье, Валера заметался, запаниковал. А паника, как известно, — прямой путь черту в зубы.

Нет, надо взять себя в руки и не думать о худшем. Выбираться, думать о чем-нибудь постороннем. О том, например, какой сволочью оказался их колхозный ветеран, фронтовик, партизан и так далее Кузьма Зудилович. Тот, который и в будни и в праздники ходит по селу, увешанный медалями во всю грудь своего замызганного кителя. Дурак он, Валера, еще пригласил его на выпивон в честь концерта приезжих из Минска артистов-юмористов, которым при расчете вместо уплаченных трехсот рублей в ведомости значилось четыреста. Так всегда поступали с артистами, потому что, кроме концерта, надо было позаботиться об угощении с участием и кое-кого из начальства, парторга например. (Как же без парторга.) Тогда он пригласил еще и Зудиловича, который выступал с приветствием от имени ветеранов, участников ВОВ. Тот, конечно, охотно закусил-выпил, а завтра (кто бы мог подумать) стукнул в райком, а может, и в КГБ тоже. Несколько дней спустя приехала комиссия, стала копать. Ну и накопала завклубом на кругленькую сумму. Тут и началось, будто эта сотня рублей последняя в колхозе. Вон на коровник вбухали шестьсот тысяч, а тот и ныне стоит заброшенный, как памятник колхозной системе, не охраняется государством. Местечковые потиху растаскивают его на дачи.

Нет, зря он тогда спустил этому Зудиловичу, побоялся надевать шума, поднять руку на коммуниста. Сам к тому времени уже коммунистом не был, партбилет у него отобрали на заседании бюро райкома. Лишившись партбилета, он долгое время чувствовал себя весьма неуютно, порой даже сиротливо, особенно когда прежние его дружки-товарищи, они же собутыльники, собирались в клубе на партийное собрание, а посторонних про-

силы освободить помещение. Он и освобождал, частенько в единственном лице посторонний. Кто мог предвидеть тогда, что лет десять спустя большинство из этих людей побросают свои партбилеты за ненадобностью или запрячут подальше, на всякий случай. Он же был беззащитен перед ревизорами, парторг отвернулся от него, сделав вид, что не имеет никакого отношения к финансовым махинациям завклубом. С Валеры причитался громадный начет, и пришлось ему полгода без зарплаты сидеть. Хорошо Валентине платили в школе, и она кормила ребят. Валентина в любых условиях соблюдала кристальную честность коммунистки, получая за нее все, что можно было тогда получить: престижную должность, квартиру вне очереди, путевки в дома отдыха и даже в цековский санаторий в Ялте. Правильно сказано, однако, что за все надо платить, и Валентина старалась.

Когда молодой Валерий Сорокин работал в школе, его, как и всех учителей, называли по имени-отчеству — Валерием Павловичем. Став потом завклубом, он незаметно потерял отчество, превратясь просто в Валеру. Шли годы, подрастали дети, набиралась партийной дородности жена, а завклубом так и оставался Валерой. Для ровесников, для старших и даже для молодых — нагловатых завсегдаев дискотеки. Впрочем, Валера не обижался, он уже знал, что не в имени счастье. Для него в этой жизни счастьем было не влипнуть в историю. Так вот же влип!

Черт возьми, неужто в самом деле ему отсюда не выбраться? Просто анекдот какой-то. И все по пьянке. А по пьянке чего только не происходит. Валере это более чем знакомо. Но знакомо на примере других, а когда пришлось самому, оказался полным балбесом. Не мог сообразить, в какую сторону двигаться. Все время казалось, то в ту, то в другую. Самый элементарный выбор — одного из двух — и тот оказался ему не по силам. Это для одного, отдельно взятого человека, а чего ждать от общества с его запутанной зависимостью причин и следствий, учено подумал Валера. Да еще такого сумбурного общества, как наше. Тут, чтобы разобраться, требуются мозги гения. А где его взять? Здесь даже Бог — не помощник, — бессилен. Видно, уж такая мы самобытная нация. Что ни сделаем, все не впрок. Все по-другому и во вред. Себе и другим.

Ну что, — снова надо кричать? Другого не остается. Да и устал Валера от этих дурацких метаний под землей в темной железной западне. Уперев подогнутые ноги в противоположный скат трубы, он принялся орать что-то несусветное, малосвязное.

Однако это ему быстро надоело, потянуло хоть на какой-либо смысл в его спасительном крике жалобы и обиды.

— Эй, там, наверху! Тут засыпали! Замуровали в трубе! Слышите? Человек погибает! Вы погубите человека, люди вы или нет?!

Как ему казалось, кричал он вполне разумно и убедительно, но ответа с поверхности не последовало. И он, печально ухмыляясь в темноте, подумал: напрасно стараешься! Так они и кинутся тебе на выручку — пригонят бульдозеры, трактора, автоген, спецмашины, начнут копать, рушить сделанное, может даже и оплаченное. У них — государственной важности задача, интересы транснационального концерна, качающего для страны валюту, необходимую нищающей экономике, разорившего ее ВПК. Всем надо доллары, доллары, доллары, а тут какой-то неудачник, по пьянке вляпавшийся в происшествие завклубом Сорокин.

Значит, здесь ему и загибаться?

Значит, загибаться, если он этакое, ничего не значащее ничтожество. Хорошо, если скоро пустят газ и он не долго будет страдать, сразу отбросит копыта. А если станут медлить, тянуть с испытаниями, да еще торговаться с тарифами, — сколько тогда ему тут доходить? Сколько вообще может выдержать человек под землей без воды и пищи? Сколько он может обитать в космосе — мы знаем, этому обучают и тренируют особо отобранных героев-космонавтов. А вот под землей? Да в тесной железной трубе? Этого, наверно, не знает никто. Целые народы столетиями обходятся без хлеба и свободы и вроде пока не вымерли. Но где предел их живучести? Ни у кого нет ответа. Вот почему марксизм — навряд ли наука. Будь он наукой, его бы прежде, чем внедрять в массы, смоделировали на компьютерах или проверили на мышах. А эти сразу — без пробы на миллионах людей, вот ничего и не вышло, грустно размышлял терявший уже надежду Валера.

То, что из такой ненаучной затеи ничего путного выйти не может, Валера чувствовал едва ли не со студенческих лет. Было странно, однако, что этого не понимали другие — все эти доктора и академики, кандидаты и секретари, всю дорогу только и знавшие, что одобрять и поддерживать все, что идет сверху. Некоторые уповали на народ, который, мол, разберется, ну-трот почует, как надо. И народ разобрался, всякий раз голосуя на 99 процентов, тем и демонстрируя невиданную сплоченность блока коммунистов и беспартийных. И как результат,

единственное средство добыть на бутылку — сдача пустой бутылки. Не сдашь, не на что купить ни хлеба, ни курева. Странно, но бутылки находились всегда, словно камни, которые росли из земли. Сколько их ни убирай, меньше на полях не становится. Так и бутылки.

— Эй, люди! Вы слышите? Подлые ваши души, что же вы делаете? Спасите, не то я взорву всю вашу трассу. Весь газопровод! У меня взрывчатка! — перешел на угрозы Валера. Так, ему показалось, будет доходчивее для онемевших газовиков, может, хоть угроза аварии проймет их.

Но все было тщетно.

От крика запершило в горле, он закашлялся. Спичек или взрывчатки, конечно, у него не было, в свое время бросил курить. Это когда случился пожар в клубной кинобудке, сгорел замечательный советский кинофильм «Кавказская пленница» и едва не сгорел клуб. Если по правде, то загорелось во время выпивки от небрежно оброненного им окурка, но об этом никто не узнал. Присланная из района комиссия оказалась на высоте и, распив две поллитровки, подписала акт, что всему причиной — неисправная электропроводка. Пришлось менять в общем не старую еще проводку, ухлопав на это семь тысяч рублей. Но его тайный грех иногда тихонько саднил душу, особенно с похмелья. Все Валерины грехи с похмелья имели обыкновение обостряться, и тогда требовалось утихомирить уязвленную совесть — бежать за бутылкой. Что, в общем, понятно.

Засосало под ложечкой, и Валера вспомнил о своей брошенной где-то сумке. Может, стоило поискать ее, подкрепиться. Все-таки там хлеб, а хлебом кидаться негоже. Да и сколько ему торчать здесь, кто знает.

Неспешно шаря по дну трубы подсохшими от грязи сапогами, он прошел сотню метров и действительно наткнулся на сумку. От измятой зачерствевшей буханки отломал ладный кусок и сжевал его. Разумом Бог, может, и обидел его за несомненные прегрешения, но аппетита пока не лишил, и Валера даже подумал: кабы еще и бутылку. Или хоть чекушку, может, стало бы не так тоскливо, может, и скрасил бы завклубом свой нелепый конец. Но о чекушке пока не приходилось мечтать. Как и о многом другом, нелепо и безвозвратно для него утраченном.

Интересно, какая там сегодня погода, не в лад со своим горестным настроением поинтересовался Валера. Выглянуло солнце или все еще идет дождь? Если дождь, совсем зальет площадку перед входом в клуб, не пробраться будет к крыльцу. За

лето он так и не собрался подвезти самосвал щебенки, засыпать лужу, чтобы, собираясь в клуб, не надо было надевать сапоги. Разгильдяй он, а не заведующий, покаянно размышлял о себе Валера.

Полбуханки он все-таки умял, обойдясь без чекушки, мог бы съесть и больше, но остановился. Еду следовало экономить, отсюда в лавку не сбегаете даже с полной бутылкой сумкой. Сушки пока оставил. Если что — ребятам...

Если что... А если ничего? Скорее всего, именно ничего. Что еще он мог здесь предпринять? Разве снова кричать. И он опять завопил заметно осевшим голосом:

— Э-э-э-эй! Вы там, строители газопровода, капитализма или социализма — черт вас разберет! Вы слышите? Я не шучу, я действительно погибаю!..

Как и прежде, ответом ему была непроницаемая немая тишина. Скорее всего, наверху поблизости просто никого не было.

По тому, как его все настойчивее одолевала усталость, Валера понял, что, видимо, день переходил в ночь, клонило ко сну. Что ж, здесь, в трубе, время текло иначе, чем на поверхности, может, там давно уже ночь? Тем хуже — ночью он наверняка ни до кого не докричится. Но как тут угадать, когда ночь, а когда день?

Хорошо, что в общем было не холодно, провонявший битумом воздух в трубе неподвижен, иначе Валера живо бы почувствовал, откуда тянет. Но, похоже, ниоткуда не тянуло, похоже, трубу основательно замуровали, закупорили задвижками-заслонками. Может, в самом деле собираются испытать на герметичность? Не могут же они допустить, чтобы их драгоценный газ бесплатно уходил в атмосферу. Тогда ему уже точно крышка.

Что ж, он был готов ко всему.

Недолго посидев на дне трубы, Валера задремал и, похоже, наконец заснул. Особенных снов не увидел, приснилось что-то из детства — и мать. Всякий раз, когда он видел ее во сне, встревоженно просыпался, — мать была укором, его больной совестью. С этим горестным чувством он жил все последние годы, отчетливо сознавая свой грех, не в состоянии его замолить. Хотел и не мог. Валера был единственным сыном старенькой пенсионерки-учительницы, вся жизнь которой с молодых лет заключалась в нем, ее малоудачливом сыне, его судьбе. Из-за него она страдала и радовалась, больше, однако, страдала — радости он

ей доставлял немного. Последние десять лет жила одна в селе за двадцать километров от его «Пути к коммунизму», часто болела; иногда звонила по телефону, но домашнего телефона у него не было, а в клубе не всегда можно застать его в кабинете. Давно следовало забрать маму к себе, в свою семью, он чувствовал это непрестанно (хотя она никогда не просила его о том), может, со внуками ей было бы лучше. Но жена, Валентина Ивановна... За десять лет их совместной жизни Валера так и не решился заговорить с ней о матери, хотя та, может, и не отказала бы свекрови в приюте и хлебе. Но подкоркой Валера чувствовал, что ничем хорошим эта его затея не кончится, как хорошим не кончалась ни одна его затея в семье. Уж очень разные они были, эти две сельские учительницы — одна воспитанница местечкового педтехникума тридцатых годов и другая — выученица не столько столичного пединститута, сколько общественных и партийных органов, в которых ее угораздило перебивать. Так повелось, что вовсе не просвещение ребятишек стало увлечением жены, а, скорее, ревностное исполнение партийных ритуалов. Отработав половину дня в школе, Валентина Ивановна заседала — то на колхозном партбюро, то в какой-либо из многочисленных общественных комиссий, то на семинаре политагитаторов. В выходной обязательно отправлялась либо на предвыборное совещание в райцентр, либо для подведения итогов соцсоревнования в соседний колхоз. Несколько раз в квартал уезжала на сессию областного совета, депутаткой которого состояла без малого пять лет. Валентина активно продолжала традицию сельской активистки давних годов и тем немало гордилась. Валера же оттого немало страдал, периодически и бесплодно возмущаясь, когда, придя поздно из клуба, не находил чего-либо поесть, не имел чистой сорочки к смотру клубной самодеятельности, когда вечером не на что было выпить и не у кого занять на бутылку. Кошелек жены давно уже для него под запретом. Но за годы он постепенно привык к своей незавидной участи раба коммунизма, как втайне называл себя.

Его же старенькая мама, выйдя на пенсию, перестала признавать советскую власть вообще, которую и до того ненавидела, особенно за безвременную гибель мужа в тридцатые годы, разговаривала с деревенцами по-белорусски и ходила по праздникам в католический костел за отсутствием в округе униатского. Валентина Ивановна только в прошлом году забросила свои измятые конспекты по научному атеизму, с которыми выступала в районе, и вслед за районным руководством на Пасху со све-

чой в руках направилась в отремонтированную церковь. «Нельзя отрываться от народа», — объяснила она свою внезапную религиозность. Валера лишь криво усмехнулся, в церковь он не пошел. Во-первых, к тому времени стал беспартийным, а во-вторых, с него хватало и клуба с портретом сурово насупленного президента, который обязали его водрузить над сценой. Такие же портреты висели в каждом классе школы, о чем позаботилась член бюро райкома КПБ (или ПКБ) его Валентина Ивановна.

На трезвую голову нетрудно было понять, что по-настоящему Валера упал в западню не вчерашней ночью или на днях, и даже не в годы перестройки, а гораздо раньше. По молодости или недомыслию им был совершен поступок, который в то время мог даже показаться удачей, но со временем стал давить на него незримой чугунной плитой. Особенно в последние, перестроечные годы, когда гражданские пороки прошлого были названы своими именами. Не все, кого это касалось, прониклись раскаянием, но вряд ли кто и возгордился своим прошлым хотя бы из страха перед возможными последствиями. Некоторым перестала помогать и водка.

В канун отбытия на работу после окончания пединститута секретарша декана как-то позвала его в кабинет — заглянуть на минутку. Дело происходило вечером, он задержался в учебном корпусе по какой-то надобности и удивился неурочной встрече — думалось, декан давно уже должен быть дома. Слегка заинтригованный, зашел в приемную, оттуда в кабинет, где за чисто прибранным от бумажных завалов столом сидел вовсе не декан, а незнакомый молодой человек с высокими залысынами в светлых, аккуратно причесанных волосах. С радужным, прямо-таки сияющим от встречи лицом он пожал Валере руку и предложил сесть. Тут же поинтересовался, как Валерий Сорокин сдал госэкзамены, какие у него дальнейшие планы, доволен ли своим распределением. Валеру распределили к черту на куличики, удовлетворения у молодого выпускника не было, что, наверно, и отразилось на его настороженном лице. Незнакомец все понял сразу и сердечно ему посочувствовал. А посочувствовав, вызвался помочь. Как можно было это сделать, Валера не понимал: студенческие списки уже утверждены и, может, разосланы по областям. Незнакомца же данное обстоятельство ничуть не смутило, он усмехнулся и сказал, что, если потребуется, все можно устроить. «Госкомиссия, конечно, власть, но есть власть и повыше. Надеюсь, вы понимаете, о какой я говорю влас-

ти?» — «Понимаю», — выдал из себя Валера, пока еще мало что понимая. «От вас требуется помощь. Не очень большая, но важная для органов. Вы — согласны?» — незнакомец не отрывал глаз от лица смущенного выпускника. Кажется, только теперь тот стал соображать, в чем дело.

В случайных разговорах с людьми ему приходилось слышать о работе этих таинственных органов. Кое-что он уже читал в газетах и книгах. Но главное — вспомнил сейчас скупые рассказы матери об отце, — как его взяли неизвестно за что и он пропал, даже не подав вести о себе. Некоторое время Валера опасался последствий, но, видно, переживал напрасно. Его приняли в комсомол, он легко поступил в институт, никто никогда ему не напоминал о репрессированном отце. Да в институте мало кто и знал об этом факте его биографии. За четыре года учебы Валера привык чувствовать себя наравне со всеми, с органами ни разу ни в чем не сталкивался и в общем полагал, что их работа к нему не относится. Все его друзья в группе и на курсе были хорошие ребята сплошь трудового происхождения, никто не занимался ни спекуляцией, ни фарцовкой; в низкопоклонстве перед гнивающим Западом также никого невозможно было заподозрить. Хотя, как оказалось, теперь от него и не требовалось кого-либо подозревать или выслеживать. Просто надлежало дать в общем-то формальное согласие на сотрудничество, подписать соответствующее обязательство и выбрать псевдоним. Любой, по своему усмотрению. Хоть «Толстой», хоть «Пушкин». Недолго поколебавшись, Валера подписал бумажку и, взглянув в окно на развесистые ветви клена, нерешительно предложил: «Кленов». — «Ну и хорошо, пусть будет Кленов, так и запишем, — согласился незнакомец. — Теперь вы в нашем активе. Если что, мы с вами свяжемся». — «А как же с распределением?» — хотел спросить Валера. Но его шеф будто позабыл, с чего начал разговор, и Валера не решился спросить. Может, действительно еще позовут и благополучно перераспределят.

Увы, больше не позвали и ничего не перераспределили. Моложавого человека с залысынами он никогда больше не видел, а к назначенному сроку уехал в школьную семилетку на краю болота, где и проработал четыре года. Там женился на разведенной, постарше его учительнице Валентине Ивановне. За пять лет, минувших после памятного разговора, у него не было ни одного контакта с кем-либо из органов, похоже, никакого интереса к нему у них не появилось. Но от других, более опытных людей он уже знал, что эта служба — не загс, развода никому не

дает. Так что листки с его подписью и псевдонимом будут где-то лежать, украшенные грифом «Совершенно секретно» и «Хранить вечно». Сознание своей причастности к делу столь огромной и устрашающей важности порой зимним холодом обдавало Валеру — и в минуты благодатные, и особенно в минуты трудные. Это не раз удерживало его от легкомысленных по молодости поступков, но и немало сковывало волю, подчиняя ее неведомой грозной силе. Разве только когда выпьет, расслабится и попытается излить душу в доверительном разговоре с собутыльником. Не забывая, однако, о пределах откровенности, то и дело гадая, кто перед тобой — какой-нибудь Кленов или Березин, а возможно, и Дубов. Сексотов повсюду хватало, как деревьев в лесу. К тому времени он уже знал силу этих людей и всегда имел это в виду. Когда его друга зоотехника Кириллина вроде ни за что сняли с работы, он сразу почувствовал, чьих это рук дело, и не вступился, не попытался помочь, хотя почти каждый день до этого они проводили на рыбалке и немало выпили водки. Но Валера сам ощутил опасность: мало ли что его словоохотливый друг мог сказать за бутылкой. Ему, например, он наговорил столько, что лет по пятнадцати хватило бы обоим.

Что же касается его давнего, почти забытого псевдонима, то о нем все-таки вспомнили.

Осенью в школу приехал новый учитель физики Лукашевич Павел Иванович, одинокий, странноватый немолодой человек, после занятий безвылазно сидевший в своей каморке. Каморка была частью квартиры соседки, акушерки Клавдии, с общей кухней, где до сих пор единолично хозяйничала акушерка. Холостяк Лукашевич за три месяца работы, наверно, ни разу не вышел из-за дощатой перегородки, и это обстоятельство, по всей видимости, показалось соседке подозрительным. Однажды, после какого-то совещания в районо, Валеру, в то время учителя белорусского языка, попросили задержаться и зайти в библиотеку, где его дождался некий Тип с квадратным подбородком и густыми, брежневскими бровями. Тип был старше Валеры, но как с равным завел с ним малозначащий разговор о ловле леща, в которой был знатоком, как определил Валера. Как бы между прочим, Тип поинтересовался, общается ли К л е н о в с новым учителем физики, и заметно насторожился в ожидании ответа. Валера сразу понял, ради чего его позвали сюда. Молча, про себя выругался: его отрывали от товарищей, которые в это время устраивали выпивон в ресторане. Подумав, однако, ответил, что с Лукашевичем не встречается и почти не знает его, что фи-

зик — человек замкнутый, в школе, кажется, ни с кем не сошелся. Выслушав это сообщение Валеры, Тип согнал с твердого лица расслабляющую улыбку и сказал, что Валерию Павловичу все-таки придется поближе сойтись с учителем, поговорить по душам. Можно даже покритиковать власть, лучше местную, на районном уровне. Очень это не понравилось Валере, и он напряженно соображал, как быть? Похоже, что гулянка в ресторане для него уже ляснула, этот скоро не отвяжется, и Валера занервничал. Он решительно объяснил, что Лукашевич свой предмет знает, обладает немалым педагогическим опытом. После этих слов Тип сделал продолжительную паузу, затем со строгой секретностью в голосе произнес: «Я не должен это сообщать, но для вас сделаю исключение. Разумеется, с условием абсолютной неразглашаемости. Дело в том, что ваш Лукашевич во время войны сотрудничал с оккупантами и на его руках — кровь советских патриотов».

Услышав такое, Валера опешил: оказывается, вон что! Если Лукашевич пособник оккупантов, это меняет дело. У Валеры двоюродный брат погиб в сорок третьем, оккупанты уничтожили соседнюю деревню вместе с ее жителями, его земляками. Но тут возникали вопросы: почему же органы, зная о преступном прошлом Лукашевича, так долго медлили с его арестом? Или не могли разоблачить? Примерно такое сомнение он и высказал. Тип, однако, предпочел не ответить и перешел к конкретному делу. Он сказал, что Сорокин все-таки должен наладить с Лукашевичем дружбу и при удобном случае завести разговор о Чехословакии. Узнать, как тот относится к вводу войск Варшавского договора в эту страну. Что по этому поводу думает? Конкретное задание несколько смутило Валеру, он подумал: сотрудничество с немцами и ввод наших войск в Чехословакию, — какая между ними может быть связь? Но, чтобы скорее отвязаться от этого Типа, промолчал, и они расстались. Условились встретиться через неделю.

В тот день, возвращаясь домой, Валера не переставал думать над неурочным заданием и в который раз приходил к мысли, что здесь что-то не так. Ясно, копали под старого учителя не за сотрудничество с немцами, которого, возможно, и не было, — их интересовало другое. Валера, конечно, выполнит задание, поговорит с Лукашевичем, но вряд ли они получат от него компромат на учителя. В памятное августовское утро Валера сам слушал по Би-би-си репортаж о вводе войск в Прагу и матерился,

пока Валентина не отобрала у него «Спидолу». В Чехословакии давили свободу, это было ясно. Правда, Валера только ругался. О своем отношении ничего никому не сказал. В школе об этом дружно молчали. Один только ветеран Зудилович ходил по деревне и, распаяясь, доказывал, что вот едва снова не проморгали, давно следовало ввести войска, как бы американцы не оттяпали у нас братскую Чехословакию, которую он освобождал.

В воскресенье, когда Лукашевич по обыкновению сидел в одиночестве в своей каморке, Валера постучал в дощатую дверь. Лежа на койке, учитель читал какую-то книгу и, заложив палец между страницами, нехотя поднялся навстречу. Валера бодро поздоровался и бегло заговорил о погоде, о скорой грибной поре. Но далее разговор почему-то не шел, Лукашевич словно что-то почувствовал. И Валера спросил напрямую, откуда учитель родом, где был в войну. Оказывается, родом он из Гомельской области, в войну попал в плен, бежал и партизанил в Словакии; инвалид с неизвлеченным осколком от немецкой гранаты в затылочной части головы. Как он относится к тому, что нынче происходит в Чехословакии? Да как к бесцеремонному подавлению чехословацкой демократии, — как же еще к этому может относиться честный человек? Лукашевич сказал без утайки и намеков, как о чем-то само собой разумеющемся, и Валере это понравилось. Он сам думал именно так, только никогда бы в том не признался даже Валентине. И Валера сразу подумал о Типе, встреча с которым предстояла через два дня: черта я вам об этом скажу. Я его вам не выдам.

И в самом деле, придя в знакомый библиотечный кабинет в райцентре, где его уже поджидал Тип, Валера, как тот и потребовал, набросал коротенький отчет о разговоре с Лукашевичем. Получилось полстранички текста с подписью Кленов. Тип прочитал и неожиданно пришел в ярость. «Вы что вздумали — морочить мне голову? Кого вы пытаетесь обмануть? Он разве так считает? Вот как он сказал...» — И Тип по другой бумажке, вынутой из его папки, прочитал настоящие слова Лукашевича. Валера был растерян. Разве он слышал их разговор? Ведь там было их двое. Или где-то находился третий?

Валере его неуклюжая попытка обмануть всевидящие органы обошлась дорого. Месяц спустя Лукашевича забрали из районного отдела милиции, куда вызвали будто бы по поводу прописки. А еще через месяц Валеру Сорокина на бюро райкома исключили из партии с лаконично-загадочной формулировкой «за перерождение» и тут же уволили из школы. Долгое время он

слонялся по селу без работы, пока председатель колхоза не взял его на должность завклубом — вместо молодой работницы, ушедшей в декретный отпуск. Он был благодарен председателю, бывшему партийному секретарю, в трудный час брошенному из райкома на подъем сельского хозяйства. В общем, он поднял колхоз, колхозники его даже полюбили. Но вот в минуту откровенности, когда с председателем была выпита не одна бутылка «Столичной» и Валера принялся пьяно и неловко благодарить председателя за его доброту, тот вдруг сказал: «Думаешь, это я ради тебя? Да кто ты такой! Только для пользы дела. Подмоченные всегда лучше работают. По себе знаю». И засмеялся.

Валера смолчал, все верно. Он, значит, подмоченный. Но кто его подмочил? Уж не сам ли себя. Хотя, может, и сам, кто знает...

Было время (особенно в начале учительской карьеры), когда Валера честно старался соответствовать идеальному образу коммуниста, что, в общем, было несложно. Надо лишь скромно себя вести, больше помалкивать. Это он и делал, хотя иногда подмывало высказаться, возмутиться. Особенно если случалось под градусом. Но скоро понял, что все это опасно. Редко выступал на собраниях, больше сидел и слушал, тем более что активных «выступак» всегда хватало и всегда поджимал регламент. Никогда не выступал против начальства, а на явные безобразия привык закрывать глаза и затыкать уши. Даже дома, в семье, в отношениях с женой, тем более такой, как его Валентина.

Во время недавних президентских выборов, когда районная номенклатура бросила настойчивый призыв: все за Лукашенку, его Валентина Ивановна по обыкновению вошла в состав избирательной комиссии и на неделю переселилась в райцентр, где непрерывно заседала комиссия. Просидев с ребятишками три дня без хлеба и без денег, он отправился в избирком поговорить с женой насчет десятки на хлеб. В избиркоме продолжали лихо радочно колдовать над результатами выборов, в помещение никого не пускали, он вызвал Валентину в коридор, и там, на подоконнике, она торопливо раскрыла свою хозяйственную сумку. Среди прочих бумаг и разных мелочей он сразу увидел объемистую пачку каких-то бюллетеней и удивился — что это? «Не твое дело!» — испугалась жена, ударив его по руке. Ну, все ясно, понял Валера и потом по дороге в магазин мучительно думал: что делать? Стоило людям тащиться по грязи в местечко, голосовать, выбирая из пятерых одного, если эти в закрытой, охраняемой милицией комнате сделают какой им угодно выбор. И ко-

му пожалуешься, если члены избиркома строго подобраны райкомом с участием КГБ и несомненно действуют по их закону. Значит, молчать, делать вид, что все идет правильно, демократично. Иначе потеряешь и эту жалкую должность завклубом, особенно если придет к власти их избранник.

Впрочем, так оно и получилось. Они далеко глядели, эти районные заправилы, и не ошиблись; вместе с ними не ошиблась и его Валентина Ивановна. Интересно, что она думает теперь об его, Валеры, исчезновении? Обычно в таких случаях, когда он задерживался и дети спрашивали, где отец, отвечала с брезгливой улыбкой: «Придет, никуда не денется». Завидная уверенность! В нем и во всем прочем.

Но что же, так и сидеть в этой железной норе и погибать в полной покорности нелепой судьбе, думал Валера. Положение его, конечно, аховое, но в глубине сознания все-таки теплилась маленькая надежда. На авось или, может, на чудо. Когда другого не находилось, обычно полагались на чудо, так было всегда — в жизни и в истории. Чудо, конечно, выручало редко, больше подводило, особенно атеистов-большевиков, которые теперь так дружно стали взывать к христианскому чуду. Авось выручит! Чем дальше, тем усерднее коммунисты молились или делали вид, что молятся. Эти всегда были великими притворщиками. Валере же сейчас притворяться нет нужды, не перед кем, кажется, он предстал перед грозным ликом ее величества г и б е л и. Понимал, что никакие молитвы ему не помогут, надо выбирать самому. Он поднялся и на карачках, пригнувшись, полез по трубе — безразлично, в какую сторону, лишь бы не сидеть на месте.

В этот раз он полз по-собачьи долго, пока совсем не иссякли силы. И все без результата. Ни стыка, ни люка, ни какого-нибудь голоса снаружи — нигде ничего. Вполне возможно, думал Валера, что они заварили последний на том участке стык и поехали на новое место. На новую базу. Но где она могла размещаться, их новая база? И угораздило его влезть в эту западню! Испугался дождя. Да хоть бы промок до костей, схватил простуду, грипп или еще что, — может, в конце концов как-нибудь выкарабкался бы. А вот как выкарабкаться отсюда? Выход наверняка заварили, засыпали и заровняли.

Как же ему теперь быть? По-видимому, никак. Он уже не жилец на свете, он переселенец под землю. Оказывается, по пьянке возможно и такое. Непредвиденное даже для самого изощренного пьяного ума.

Долго лежал на дне трубы, отдыхал, потом подтянул ближе сумку и доел хлеб. Сушки рассовал по карманам, чтобы выбросить сумку, которая ему больше не понадобится. Свободным рукам будет легче. Хоть бы знать, сколько он прошел под землей, — при таком способе передвижения сделать это непросто. Все-таки идти было трудно, неловко, сильно согнувшись, на четвереньках. А может, уже и не стоило никуда идти, размышляя Валера. Лечь и умереть. Это было бы проще, стало быть, и разумнее.

Но неужели они там не беспокоятся его отсутствием, не поднимут тревогу? Не догадаются, куда он делся. Хотя бы Семен Рудак. Он был последним, кто в местечке возле забегаловки виделся с Валерой. Еще долго прощались — не могли проститься. Хотя Семен что — у Семена своих забот полон рот. Недавно открыл торговый киоск с разной мелочью — «сникерсами», галантереей и его обчистили ночью. Теперь бегает в милицию, ищет взломщиков. Милиция так и сказала: ищи сам, найдешь — доложишь, примем меры. Не найдешь — оштрафуем за ненадлежащую безопасность запоров. Вот такие порядки. Могла бы всполошить начальство Валентина, но от этой дождешься! Еще порадуется, что пропал с глаз долой. «Придет, никуда не денется», — ответит ребятам, если те беспокоятся долгим отсутствием родителя. А может, не беспокоятся и дети. Выросли, очерствели, не то что были малые. Теперь целиком под материнско-педагогической опекой. И дети, и муж. Был. Да весь вышел...

Но все-таки надо ползти. Куда? Кто его знает куда. Вперед. Прежде сказали бы: вперед, к коммунизму! А теперь, похоже, вперед к капитализму. Но к капитализму — президент против. Куда идти, известно лишь ему одному. Но это его президентский секрет. Скорее всего, однако, тоже не знает, лишь делает вид знающего. Вид он делать умеет. Какой угодно. Артист великолепный, всех убеждает. Только жизнь оттого не становится лучше. Теперь и вовсе зашла в тупик. А вот коммунисты, похоже, знают. Для них вперед — значит назад. Тут у самого умного голова пойдет кругом, крыша поедет. Как у него здесь, в трубе. Если бы он знал, где перед, а где зад, где выход — спереди или сзади. Он считал — впереди. А может так статься, что именно сзади и он удаляется от своего выхода. И от своего спасения.

Хотя он теперь полз, пробирался только в одном, наугад избранном направлении, никакой уверенности в том направлении у него не было. Временами накатывало сомнение: а может, по-

вернуть назад? Сколько же можно? Столько ползти и без результата.

Неожиданно обнаружил, что трасса пошла вниз. Ползти по трубе стало легче — под небольшой, плавный уклон. И он стал вспоминать знакомую местность, где такой уклон мог оказаться. Возможно, возле Ольховки. Но там склон не с этой стороны, похоже, с обратной; трасса трубопровода пройти туда не могла. Или он уже миновал Ольховку? Или не достиг ее?

Пока он так размышлял, упрямо продираясь вперед по шершавому днищу трубы, та незаметно изменила угол наклона, положила пошла вверх. Двигаться стало труднее. Все-таки это собачье движение было противостоестественным для человека, отбирало слишком много сил. Валера все чаще останавливался, замерев на боку, привалясь к вогнутости трубы. Он даже вспотел под мокрым плащом. Стащил его с плеч и отбросил, так стало сподручнее. Сушки, похоже, он растерял из карманов, оставшиеся сжевал во время своих продолжительных остановок, подкрепляя силы. Но стала все настойчивее донимать жажда. Воды ему здесь, разумеется, не добыть, он и не надеялся на это. Вода могла появиться вместе с освобождением из подземного плена, — он понимал это и печалился еще больше. Зачем он напился тогда с Рудаком? Зачем пил вообще? Лучше бы жил трезвым, расчетливым, прижимистым мужичком, хоть и заведующим клубом. Наверное, не загнулся бы до поры, прожил дольше. Как их коммунист-праведник Кузьма Зудилович, дотянувший до семидесяти семи лет. Но что это была бы за жизнь — вот в чем вопрос. В такой, как его, жизни только и радости что — выпить. Да и цель тоже. Плохо, когда у человека только одна цель, наверное, у общества тоже. Даже если эта цель — построение бесклассового коммунистического общества, все равно плохо. Цель может оказаться фальшивой. Или недостижимой. И тогда — крах! Как вот теперь. И нет виноватых — виновата идея. Или, как говорят, идея правильная, а вот ее воплощение... Но хороша же идея, если ее нельзя воплотить. И годится она лишь для библиотечных фондов и защиты диссертаций. Все-таки люди разные и человек — не телеграфный столб. Человек больше похож на дерево — кудрявый в делах и мыслях. Хотя и деревья бывают разные — разных пород, с различными судьбами. Самая неудачная судьба, наверно, у дерева при дороге. Как у старой березы на Курмаковской развилке. И сучья обломаны, и кора поободрана. И срамные слова вырезаны ножом по комлю. Кто ни идет, всякий норовит оставить свой след на березе. Вот та-

кая судьба при дороге. При пороге тоже. Как у Белоруссии. Уго-раздило же ее оказаться при самом пороге между Востоком и Западом. Нет, лучше всего жить в углу. В своем, Богом определенном углу, где вешают иконы. Где только у нас этот угол?

На длинный подъем в трубе он взобрался почти уже без сил, так его донял этот собачий путь. Но здесь стало легче, труба пошла ровнее, и он остановился. Видно, насквозь пропотела сорочка, пот заливал лицо. Нестерпимо хотелось пить. И он, может, впервые почувствовал, что не протянет так долго. Здесь и окочурится. Без помощи и надежды. Это действительно страшно, когда иссякает надежда. Хотя в жизни он себя не очень пестовал надеждой, но все же. Приятно успокаивало, когда другие вокруг надеялись. На выполнение невыполняемого плана. На лучшее финансирование в следующем квартале. На скорое выздоровление ракового больного или снижения цен. Черта с два они снижались — продолжали расти, но люди надеялись. Хорошая штука — надежда. А главное — ничего не стоит. Надежда всегда достается бесплатно и в любом количестве. Только не ленись, надейся. Вот и донадеялись. Теперь и от него уходили остатки его слабой надежды, он явственно ощутил себя сиротой. Обреченным сиротой надежды.

— Эй, люди! — вдруг сам не зная зачем, вскричал Валера. — Люди-и-и-и! Здесь человек! Или вам наплевать? Пощадите человека! Я не хочу в трубу...

Ну зачем он делает это, вопит под землей? Кто его услышит? Пожалуй, никто, а кричать все равно подмывает. Даже заведомо оставаясь неслышанным. Потому как слишком долго молчал. Боялся. Всего боялся. Даже самого себя. Теперь ему уже не страшно. Теперь он освобождался от всего. И от страха тоже.

—Эй вы! Могучий КГБ, что молчишь? Или теперь Кленов вам без нужды? Испугались разглашения! И разглашу все к чертовой матери! Довольно морочить головы, пугать народ! Запугали — аж сами испугались! То-то! Чекистский меч — он обоюдоострый! Не спасет и секретность... Только бы мне выбраться отсюда! — кричал он и вдруг подумал: ну вот и ляпнул, теперь хода назад не будет. Даже если выберется отсюда. Ну и черт с ним! Все одно пропадать...

От перенапряжения Валера закашлялся и долго откашливался. Понимал, что исторгнутый из души вопль вряд ли приблизит спасение. Как бы не наоборот. Но собственная отвага воодушевляла. Высказался, и стало легче. Как иногда на собрании. Но в те годы что бы он мог сказать на собрании? Лучше было

молчать. А когда стало можно сказать, некому стало слушать. Потому что каждый мог сказать то же самое. Начальство оглохло и потеряло дар речи. Правда, остались ветераны, но эти больше писали. Писали в КГБ и президенту. Об измене делу рабочего класса, об отходе от генеральной линии, определенной на их бесчисленных съездах. Или об искажении на местах политики президента, на которого они молились. В церквях и вечером возле телевизоров. У телевизоров молились больше, так как телевизорами обеспечены поголовно, а церковей не хватало. Разрушенные ими в молодые годы церкви не все были восстановлены — не хватало средств. Воинствующие безбожники дружно превратились в воинствующих верующих. Плохо стало тем, кто не хотел ходить в церковь или пошел в соседнюю. Католическую, например.

— Эй вы! Долго будете хватать за ноги молодых? Дайте им жить! Социализм ваш сдох, а вы и не заметили? От него вонь по свету. Не закопаете — начнется чума!

Вот высказался, как на митинге в городе. А что дальше? Ждешь аплодисментов, дурак! Дойдет до Зудиловича, он на тебя напишет. Отряд омона вытащит тебя из трубы, тогда запоешь иначе. И пусть вытаскивает, вдруг подумал Валера. Может, хуже не будет. Не вытащит — тоже неплохо, останусь безнаказанным, почти свободным. В трубе — свобода! Вот дожил — два варианта и каждый не хуже предыдущего. Свобода!

— Свобода! — вскричал он. — Сорокин свободен! А Кленов? А Кленов тоже!

Это вырвалось у него неожиданно, за отсутствием разумных аргументов, наверно, годились и эмоциональные. Если человек не может делом доказать, выходом для него становится слово. Наверно, слово — последний аргумент свободы. Дайте человеку слово! — хотелось крикнуть Валере, но он подумал, что это было бы уже чересчур.

Вот если бы только попить...

— Скоты вы, подлецы! И вертикальщики, и сексоты! И ты, Валька — сука! И твой муж — тоже! Постой, кто это? Вроде знакомая мне личность... Все равно подлец...

Похоже, он начал сходиться с ума, или это ему казалось. Все вокруг плыло и кружилось, словно он выпил пол-литра водки. Ему стало хорошо в трубе, покойно и... независимо. И появилась мысль никуда больше не идти. Не лезть, не ползти, не цепляться за жизнь. Что ему в жизни — дразги и неволя. Здесь же покой и свобода. Здесь он сам за себя и никого — против него.

Может смело обругать любого или молчать. Плюнуть на клубный ремонт и придирки Валентины. Не надо выискивать по утрам бутылки после дискотеки. Впервые в жизни Валера обрел свободу решений и стал с ней отважным.

Скверно было лишь то, что за это надлежало платить собственной жизнью, которая у него одна. А на одну, наверно, много не купишь. Даже на одну стоящую, а не такую непутевую, какой была жизнь Валеры Сорокина.

Он и в самом деле никуда не полез больше, остался лежать в трубе, пока не впал в полудрему или прострацию. Утомленным сознанием его все больше стали овладевать странные, бессвязные видения — собачья голова на большом Валентиновом блюде, на котором обычно винегрет для семьи. Потом привиделась какая-то рыба в кузове грязного самосвала — мелкая живая рыбешка, за которой выстраивалась суетливая женская очередь. Валера вроде нигде там не присутствовал, но все замечал, как бы наблюдая со стороны. Или сверху. Потом еще что-то виделось путаное и странное, как на картинах многих современных художников. Всего много, все странное, и ничего не понять. Пляска абсурда, сон разума. Может, Валера и спал, но не ощущал этого. Определенно было лишь то, что он пока жив, жизнь в нем продолжалась, хотя и в каком-то извращенном виде.

В конце он ощутил себя где-то под хрустальными сводами величественного дворца, полного людей, света и доброты. Приветливые, ждущие лица обращены к подиуму, где собирался держать речь Валера. Рядом стояли другие люди, вроде какое-то руководство и среди них — Позняк, знакомый ему лишь по газетным снимкам. Все ждали слова Валеры, и Валера ждал тоже. Но что он должен сказать, не знал сам. Заветное слово должно явиться откуда-то свыше, он напряженно ждет его, чтобы произнести в этом зале громовым голосом, и тогда произойдет что-то. Что-то невероятно важное и счастливое. Но слово задерживается, и это доставляет Валере волнение. Он уже почти знает это заветное слово, но что-то мешает ему произнести его. Валера нервничает, медлит. Приходит тревожное сознание того, что он умер. И ничего уже не скажет. Перед ним на подиум вступает Позняк, начинает речь. Валера как-то странно отплывает назад, в сторону, сжимается и растворяется в пространстве...

Валерия Сорокина обнаружили в трубе на восьмой день его заточения. Он не дополз до газокompрессорной станции каких-нибудь двести метров и был услышан монтажниками, которые

по мобильному телефону связались с техслужбой и та вызвала милицию. Двое милиционеров извлекли Валеру из трубы. Он был еще жив, но до реанимации не дотянул.

Похороны завклубом колхоза «Путь к коммунизму» финансировал «Газпром», это были приличные похороны. Вдова Валентина Ивановна на кладбище не поехала, так как завклубом был исключен из КПСС, и ей не рекомендовали афишировать свое участие в его проводах.

Валера об этом уже не узнал.

ВОЛЧЬЯ ЯМА

Повесть

Одинокая фигура человека то появлялась, то исчезала в негустом березовом подлеске, среди высоко вознесшихся к небу сосен. Это был молодой парень в замызганном солдатском бушлате, зимней шапке на голове. Из-под распахнутых воротников его одежек выглядывали несколько синих полосок давно не стиранный тельняшки. Исхудавшее мальчишеское лицо выражало крайнюю озабоченность, почти испуг. Солдат шел не спеша, то и дело останавливаясь, иногда меняя направление в лесу, оглядываясь по сторонам.

Сосновый бор между тем наполнился густым ветренным шумом, который, порой усиливаясь, заглушал собой все другие, разрозненные звуки леса. Впрочем, солдат уже научился в привычном шуме деревьев различать случайные звуки — хруст сломанной ветром ветки, падение наземь еловой шишки, — шум его не пугал. Хотя под соснами внизу в общем казалось тихо, ветер сюда почти не проникал, — опустив к земле разлапистые ветви, тихо стояли угрюмые елки, неподвижно высились зеленые пирамидки можжевельника, порой трепетала лишь свежая листва берез. Земля под деревьями была по-весеннему голой, без травы; местами, набираясь к цветению сил, зеленели лесные ягодники-черничники. На пригорках широко раскинулись серые поросли беломошника, ступать по которому было непривычно мягко, словно по ковру в комнате. Хотя по ковру в сапогах солдат никогда не ходил, единственный ковер в их квартире всегда висел на стене, да и сапог он не носил до службы. А эти как надел — тяжелые кирзачи с негнушимися голенищами, так и не снимал второй год. И в сушь, и в непогоду они были на ногах, неудивительно, что один уже «запросил каши». Хотя что сапоги — начали рваться брюки, прочные армейские «хэбэ» с заплатами спереди и сзади, на правом колене уже появилась дыра. Наверно, в

другое время все это причинило бы немало забот солдату, но не теперь. Теперь его донимала иная забота — солдат хотел есть.

Чувство голода и вело его через хвойный пригорок, заставляя обшаривать глазами ветви деревьев, оглядывать землю. В том был его конкретный интерес: под деревьями могли появиться грузди — вчера он нашел их три штуки и съел. Съев, испугался при мысли, что может отравиться и околеть в этой лесной глухомани. Однако обошлось, немного покрутило в животе и перестало, — значит, можно кормиться грибами, подумал солдат, лишь бы их попадалось больше. Еще он надеялся высмотреть в ветвях птичье гнездо. Когда-то в детстве, во время каникул в деревне ребята скинули с дерева маленькое волосяное гнездо, из которого выкатилось четыре серых яичка. Два из них разбились, а два он принес в хату к бабушке, и та разворчалась: зачем побурили птичье жилище, Господь накажет. Тогда он и в самом деле пожалел о глупом ребячьем поступке. Иное дело сейчас, когда давно уже нет бабушки и Бог, похоже, окончательно отступился от него. А главное — он успел убедиться, что голод — действительно не тетка.

Ни грибов на земле, ни птичьих гнезд на деревьях солдату нигде не попадалось. Не видно было и птиц, не слышалось их пения, и солдат подумал, что, возможно, это только в бору. Может, имело смысл поискать в ольшанике на берегу речки. Вчера он недолго бродил там, правда также с нулевым результатом, но вчера его выгнал оттуда дождь, от которого он укрылся в бору. В который раз за весну бор спасал его от непогоды, давал пристанище на ночь. Но съестного здесь ничего не было. Земля под соснами устлана слоем прелой рыжей хвои, полной лесных насекомых. Ночью, когда он уснул на пригорке, под одежду напозли муравьи, и солдат все утро чесал бока, пытаясь от них избавиться.

Сыроватые ольшаниковые места он недолюбливал и во время лесного блуждания обычно обходил стороной. Куда с большим удовольствием бродил бором, где стройные сосны зачаровывали своей поднебесной высотой, особенно в погожую предвечернюю пору, когда их вершины торжественно сияли в позолоте закатных лучей. А на опушке или где-нибудь на прогалине иногда попадалась старая суковатая сосна, на которую по-ребячьи хотелось взобраться и не слезать до ночи. Впервые в сосновый бор он попал во время учений, сразу по прибытии из «учебки» в полк. Автомашину связи тогда поставили под сплошной хвойный шатер, не потребовалось маскировать ее сетью.

Солдат работал на радиостанции и сквозь растворенную дверь три дня и три ночи дышал смолистым запахом бора, слушал пение птиц — особенно во время дежурства ночью. Жаль, учения скоро кончились, а потом началось такое, о чем не хотелось и вспоминать. Да и забыть было невозможно.

Ольшаник над речкой всю зеленел сочной весенней листвою; густо и широко разрослись кусты лозняка, — влаги было в избытке. Внизу, пробиваясь сквозь сухой прошлогодний бурьян, лезла к свету крапива, топорщились жесткие стебли малины. В зарослях кое-где оставалась приметной заброшенная с прошлых лет стежка. Солдат осторожно пошел по ней, не очень раздумывая куда — стежкой всегда хотелось идти куда-либо. В это время его обостренное голодом обоняние уловило в воздухе горьковатый запах дыма, и солдат остановился. По всей видимости, дым из леса, — где-то горел костерок. А может, дым доносился с поля, — усомнился солдат. Но поля все-таки далековато, за болотом. Деревни там почти все пожгли, особенно ближайшие к зоне, и в самой зоне тоже. Недавно еще там была проволока на кольях, но проволоку во многих местах посрезали и вывезли, оставшиеся деревни стояли покинутыми и разграбленными. Милиция иногда насакивала туда на своих «УАЗах», но у милиции вечно не хватало бензина, а главное — кому охота лезть в это атомное пекло? Не хотелось лезть и солдату, но вот влез. Когда его на хуторе едва не накрыла милиция, он не стал искушать судьбу второй раз. Да и хозяин-самосёл сказал: надо тебе уходить, сынок. Солдат не хотел беды ни себе, ни деду и ушел куда глаза глядят.

Глаза и привели его в зону.

Правда, может случиться так, что он сам наказал себя даже строже, чем это сделал бы военный трибунал. Все же зона — не рай, если отсюда всех давно выселили, когда сюда боится заезжать милиция, когда в газетах не перестают писать про цезий да стронций, которыми засыпаны соседние области. Весь мир встревожен. Запад гонит гуманитарную помощь, лекарства, приглашает детей на оздоровление. И это из ближних к зоне сел, а он влез в самую зону. Правда, и он вначале боялся, что заболит. Но вот пошел второй месяц, и ничего вроде, хотя самочувствие бывало всякое. Да и старый хуторянин Карп никуда не выезжал с хутора и за послеаварийные годы не чувствовал себя хуже. Говорил, может, даже лучше, чем некоторые из молодых. Потому что не пил, день и ночь работал один на немалом хозяйстве. Лошадь, корова с телкой, кабан, десяток куриц да со-

бачка Кудлатик, — и все живы-здоровы. Хуторянин Карп своим примером здорово обнадежил солдата, особенно когда сказал, что и по соседству за гравийкой также живут — по вечерам слышно, как лает собака; и за болотом, почти что в зоне, тоже появились самосёлы. Живут без электричества, без магазинов, без партии и без власти. То, что без власти, очень понравилось солдату, так же как хуторянину — жить без колхоза. Никто им не помогает, не проверяет и не мешает — живут как могут.

Может, это и неплохо, думал солдат, может, старики дождались своей поры. А вот молодежь... Даже внуки того же Карпа все поразъехались, на хуторе никого не осталось. Чего-то боятся.

Эти и схожие с ними мысли не первый раз вертелись в замороженной голове. Солдат и боялся и успокаивал себя, рассуждая и так и этак. Но как он мог поступить иначе — без документов, без знакомых и денег? Далеко ли уйдешь пешком, а на первой же автобусной станции тебя схватит милиция, которой развелось словно муравьев в лесу. Дома его никто не ждал, мачеха, если бы дозналась о нем, тотчас побежала бы в военкомат или в милицию — только и ждала случая, чтобы засадить его. Друзья? После того, что случилось, какие могли быть друзья?..

Полузаросшей тропинкой в кустарнике солдат прошел вдоль речки, осторожно выглянул из-за куста на берег. Всюду было пусто, да и дымом вроде перестало пахнуть, может, переменялся ветер? И он снова повернул от речки под сосны, взобравшись на пригорок, опустился на толстую подушку мха. Было тепло, даже припаривало. Свой замызганный бушлат он никогда не снимал, спал не раздеваясь. Тут на него сразу набросились муравьи, забегали по истертым голенищам сапог, — где-то поблизости, наверно, муравейник, и солдат подумал, что муравьи — точно солдаты в их роте. И гляди, никакая радиация их не берет, приспособились за миллионы лет. Вот если бы так человек! Но человек, пожалуй, так никогда не сможет — не тот организм. Хорошо это или плохо, солдат не знал. Может, и хорошо, думал он, иначе человек может превратиться в муравья. А если не приспособится и отбросит копыта? Вон мамонты не приспособились и все повымерли. Теперь их кости выкапывают из вечной мерзлоты. Может, такая судьба ждет и людей.

Но мамонты не сами себя погубили — их погубило какое-то изменение природных условий. А человек? Сам — себя.

Дал Бог человеку разум — на собственную погибель.

Как только солдат переставал думать про пищу, его сразу одолевала дрема. Однако днем спать он не решался. Хотя тут, в лесу, никого еще не встречал. Сперва это обстоятельство обнадеживало, но потом стало пугать, казалось: напрасно он прибежал сюда. Все-таки люди чувствовали опасность и старались держаться от зоны подальше. Опять же одиночество чем дальше, тем больше угнетало солдата. Порой становилось невтерпех. Но что делать? Убеждал себя, что иначе нельзя, что очутился он здесь не по своей воле, что лучше быть одному. Но, пожалуй, и одному становилось невозможно — не терпела душа.

Недолго полежав на пригреве, солдат снова учуял дым и не на шутку встревожился. Быстро подхватился и стал пробираться к речке. Показалось, дымом несло оттуда.

Где стежкой, а где напрямик через кустарник солдат выбрался на неширокую прибрежную лужайку, обошел ее краем ольшаника. К речке подступал обрывистый берег с соснами, и он пошел над обрывом, чтобы видеть реку. Еще издали на речном повороте заметил какое-то укрытие в обрыве — темный лаз в землянку-нору, прикрытую сверху палками. На конце одной из них моталась на ветру забытая тряпка, а поодаль, на самом берегу у воды лениво тлел костерок, дым от которого, наверно, и потревожил солдата.

Тут же на берегу он увидел человека.

Это был рослый мужик в распахнутой телогрейке, с шапкой на голове. Взмахнув над собой белым, наверно, самодельным удилищем, он на несколько секунд замер, а затем точным движением выбросил на берег рыбину. Рыба, как показалось издали, была не из мелких, наверно, не какая-нибудь уклейка. В тот момент человек тоже увидел солдата, которому, пожалуй, следовало смываться отсюда, но выуженная из речки рыбина словно загипнотизировала изголодавшегося парня, и он не спеша шел по берегу.

— Здравствуйте...

Рыбак не ответил, но и не наклонился за рыбиной, которая продолжала биться в траве. Вглядываясь в незнакомца, он изучал его, не зная, как отнестись к его появлению здесь.

— Лещ? — спросил солдат, чтобы не молчать.

— Подлещик, — скупое отозвался рыбак и решительно вскинул на гостя обросшее многодневной щетиной лицо. — А ты откуда тут взялся?

— Все оттуда же, — неопределенно ответил солдат и не в лад с прежней опаской беззаботно опустил на траву. Человек еще всматривался в него и спросил:

— А ты это — не из милиции?

— Из армии.

— Демобилизованный?

— Дезертир я, — сказал солдат и съежился. Никогда еще он не произносил этого слова, которое само сорвалось сейчас с языка.

Рыбак искренне удивился:

— Дела! Впервой вижу дезертира...

Он снял с крючка еще трепетавшего в руках подлещика, бросил на траву, где, как заметил солдат, уже лежало несколько ранее выловленных рыбин. Человек разговаривал громко, видно, чтобы показаться суровым, но солдат сразу почувствовал, что характером он вовсе не так строг, как хотел казаться.

— А дайте я, — вдруг попросил солдат, как только рыбак оснастил крючок новым белым червяком. Несколько помедлив, рыбак нерешительно протянул шершавое ореховое удилище:

— На. Коли умеешь.

— Когда-то ловил...

Человек отошел повыше и сел на берегу.

У солдата сразу клюнуло, и еще через две поклевки он выбросил на берег такого же подлещика. Поднявшись, рыбак снял с крючка рыбину, переставил ближе к солдату берестяной кулек с червяками.

За короткое время солдат вытащил еще трех подлещиков, и рыбак оживился:

— Ну, дезертир, оказывается, рыбацкое счастье у тебя! Я тут с утра — и три штуки. А ты за пятнадцать минут — четыре. Ну-ну! Лови больше.

Солдат сам удивился своей удаче. В детстве, случалось, ловил самое, может, большее пять-шесть плотвичек за день, а тут действительно повезло. Минут десять спустя он снял с крючка еще небольшого окунька. Но потом у рыбы, наверно, наступил перерыв, и сколько он ни бросал поплавок в прежнее и в иные места — ничего не взялось.

— Ладно! — сказал рыбак. — Придется эту пожарить.

Солдат невольно проглотил слюну и напомнил:

— А радиация?

— Хрен с ней, с радиацией! Вкусней будет, — рыбак впервые дружески засмеялся, обнажив шерстатую челюсть. Солдат с лю-

бобытством разглядывал его густо обросшее лицо, — человек был не стар, хотя и заметно помят жизнью, может, даже болен. Собрав в короткую полу телогрейки улов, он понес его к костерку, дым от которого продолжал тихо куриться над берегом. Солдат побрел следом, чувствуя и свое право на часть их общего улова.

— Спичек нету? — спросил на ходу рыбак.

— Нет.

— Это хуже. У меня тоже кончились. Так что — дуй за дровами.

Рыбак принялся разгребать угли в костерке, а солдат взобрался на невысокий обрыв и пошел в бор. Поблизости сушняка оказалось мало, пришлось пройти дальше, в молодой сосняк. Похоже, он был доволен неожиданной встречей, которая поможет ему утолить многодневный голод.

Спустя полчаса солдат приволок тяжелую охапку сушняка, бросил возле костра. Старательно перемешивая угли, рыбак пек рыб. Оба сосредоточенно молчали, напряженно дожидаясь вожделенного ужина. Однако ужин задержался, углей было маловато, и рыбак подложил в костер сушняка.

— Давно тут? — спросил он, когда костер стал разгораться.

— Второй месяц, — ответил солдат, и рыбак внимательно посмотрел на парня.

— Не скрутило тебя?

— Пока вроде нет.

— Тогда и не скрутит, — обнадежил рыбак. — Если за месяц не одолела, то и не одолеет. Она не каждого берет.

— Кто знает, — тихо сказал солдат.

— Я знаю. Я здесь три месяца околачиваюсь, и ни черта. Закаленный организм.

— Как же вы его закалили?

— Просто: водку пил. Так что меня никакая холера не возьмет. Ты тоже, парень, не трусь, держи хвост пистолетом.

Солдат не возражал, хотя и не спешил соглашаться, только удивился самонадеянности человека. Сам он выпил водки не много, поэтому не чувствовал себя хоть сколько-нибудь закаленным.

Они сидели так, больше молча, возле припекавшего костерка, который то вспыхивал шустрыми языками пламени, то начинал дымить, безбожно окуривая их лица. Солдат с непривычки отворачивался, рыбак же, почти не реагируя на дым, тщательно загребал в угли восемь рыбин.

— Эта уже скоро готова. Положим ее сюда, а эту — поближе к огню. Вот так...

Наконец он выгреб одну и, обжигая пальцы, торопливо отер с нее пепел.

— Ну во! Правда, сыровата, холера. Но есть можно...

Выхватил еще одну, но, не удержав, уронил на траву.

— Эта твоя. Угощайся.

Рыбина оказалась слишком горячей, чтобы удержать ее в руках, солдат, не поднимая, очистил на траве налипшую по бокам золу и стал отделять костистые кусочки. В общем, было вкусно, но мало, и рыбак сказал:

— Бери еще одну. Остальное на завтра.

«Что ж, и за то спасибо», — подумал солдат, втайне надеясь, однако, на иную дележку. Но рыбак и сам съел только две рыбины и задумчиво помедлил, что-то решая.

— Ладно, еще по одной. Остальное — утром.

Съели еще по одной, но все равно не наелись. В золе остались три последние, и рыбак принял неизбежное решение:

— А, черт с ними! Что оставлять! Еще до утра не доживешь — радиация!

Именно этого и дожидался солдат. Правда, упоминание о радиации уколело, — значит, не так уж застрахован от нее и рыбак. А тот по-хозяйски сгреб в кучу угли, побросал в костер недогоревшие концы сушняка.

— Ты заночуешь или пойдешь? — спросил он просто, как давнишний знакомый. — Хотя куда тебе идти, если дезертир.

— Заночую.

— Правильно. Будем на пару поддерживать огонь. Не дай бог, потухнет, понял?

— Так точно.

Кажется, солдат был доволен и даже припомнил книжку, читанную в школе, которая называлась «Борьба за огонь». Он забыл фамилию автора, но помнил события, происходившие в первобытном племени, потерявшем огонь. Похоже, к ним возвращалась давняя забота. Но все же он был не один, кажется, его одиночество кончилось.

— Тебя как зовут? — подобревшим голосом тихо спросил рыбак.

— Да солдат просто, — ответил парень, которому вовсе не хотелось называть свое имя, хоть и врать он также не имел желания.

— Ну а я божж просто, — в тон ему сказал рыбак и засмеялся. — Так что два сапога — пара.

«Что ж, — невесело подумал солдат, — действительно подобралась пара — божж с дезертиром. Интересно, что из этого получится».

— Такие дела! — неопределенно произнес божж и вытянулся на траве. Из распахнувшейся его телогрейки с торчащими в дырах клочками ваты выглянул худой, запавший живот, покрытый россыпью синеватых болячек. Солдат отвел глаза, подумав, что и у него тело, наверно, не лучше, столько недель без мытья. Полежав немного, божж поднялся, сел на траве.

— Не поели, а аппетит раздражили... Знаешь, солдат, бери ты уду и побросай. Может, еще что попадется.

Солдат послушно поднялся, взял не очень удобное, самодельное удилище с леской и пошел на прежнее место, где недавно еще клевало.

— И гляди мне крючок! — крикнул вдогонку божж. — Потеряешь — голову оторву.

— Ладно...

Весь остаток дня он бросал в тихую воду небольшой излучины вырезанный из сосновой коры поплавок, и все напрасно — клева не было. Потом перешел на другое место — подальше, за камыши. Но и там ни разу не клюнуло. Погода тем временем становилась все лучше, было тепло, над водой вились клубки мошкары. Ветер почти унялся. Речная излучина, будто тусклое зеркало, подробно отражала неяркую прелесть лесного берега с ольшаником, низко нависшими над водой кустами лозняка. Под ними в водяных сумерках наверняка есть рыба, подумал солдат, может, даже лещи, но как перебраться туда? Вокруг было тихо и покойно и уже не верилось в угрозу, которая нависла над землей, которой все так боялись. Может, напрасно? Может, этот страх преувеличен? Живет же возле речки божж, вроде здоров и даже похвально своей закалкой. «А может, он так, чтобы не думать о худшем, подбодрить себя, а заодно и меня тоже», — думал солдат.

Прежде чем солнце скрылось за вершинами сосен, он выбросил на берег шустрого крохотного окунька — и все. Больше до сумерек ничего не взялось. На воде уже трудно стало различить неподвижный поплавок, и солдат смотал удочку.

— Ну-у, а я думал... — разочарованно встретил его возле косяка божж. — Значит, такое и твое счастье тоже.

— Клёва не было.

— Оно как когда. Как-то за утро я выудил шесть штук. А потом два дня ни одной. Просто зло берет, да и жрать хочется.

— Больше здесь ничего? — спросил солдат, имея в виду пищу.

— А что же еще? Грибам рано. Ягод нет. Людей отселили. Что беглым бомжам остается?

Да, наверно, не много остается беглым бомжам, согласно кивнул солдат. Но что можно предпринять, чтобы раздобыть пищу, он не знал. По всей видимости, не знал этого и бомж.

— Тут, знаешь, такое дело: меньше есть будешь — дольше проживешь, — не понять, всерьез или в шутку сказал он. — Меньше радиации употребишь. Так что бомжам голод полезен.

Пожалуй, с этим солдат не мог согласиться. Он наголодался достаточно, но сил у него от этого не прибавилось, скорее наоборот. Все время в лесу он думал, где бы раздобыть поесть, и только тут у речки появилась такая возможность.

Уже в сумерках бомж поднял удилище и отвязал от лески крючок, который аккуратно прицепил к подкладке телогрейки.

— Надо беречь, а то... Спать хочешь?

— Не очень, — ответил солдат.

— Тогда покарауль огонь. А я кемарну пару часиков.

Зевнув, он на четвереньках забрался в свою землянку-нору в обрыве. Солдат остался возле костра.

Помалу подкладывая в огонь сухие еловые палки, он сонно следил, как их постепенно слизывали до черноты жадные языки пламени. Источив на угли дерево, они и сами опали, готовые вот-вот исчезнуть, — тогда следовало подложить несколько новых палок, чтобы не извести огонь. Вокруг лежала ночная темень, в которой едва просвечивало тусклое пятно речной излучины; рядом неровно горбился невысокий песчаный обрыв с черной норой. Бор почти перестал шуметь, вокруг царило ночное безмолвие.

К солдату вернулось привычное чувство одиночества, и он стал думать-рассуждать о своем незавидном положении. Впрочем, думал он об этом всегда, словно стараясь что-то решить или что-то понять. Но ни того ни другого до конца не удавалось, он не мог выбраться из той роковой безысходности, в которую его загнала жизнь. Или, возможно, загнал себя сам. Давно поняв цену физической силы, он обнаружил в себе ее недостаток, и это стало причиной его многих бед. Так случилось, что почти все дворовые ребята были старше его и потому

сильнее, а он оказался в незавидном положении слабака. Несомненно, у него имелись другие достоинства — он неплохо учился и никому не уступал умом, но это мало что значило перед решающим фактором силы. Если требовалось куда-нибудь сбежать, посылали его, потому что он младше других, если старшим приходило в голову над кем-нибудь поизгаляться, выбирали его. Если у него появлялся ножик, запросто можно было отнять или попросить посмотреть и не отдать. Все знали, что он жаловаться не побежит, потому что у него нет отца. А потом не стало и матери.

Детство — вообще малоприятная штука, солдат в этом убедился давно. Особенно если потеряешь родителей и окажешься на содержании престарелой бабушки. И все-таки он держался, он хотел учиться, была давняя мечта — институт иностранных языков. Английский язык, французский — безразлично, лишь бы уехать. Куда? Все равно куда, только бы выбраться из постылого «поселка городского типа», где после смерти бабушки его никто не любил и он никого не любил тоже. Но в институте он срезался на первом же экзамене — сочинении на тему «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвезть» и скоро очутился в армии.

«Учебка» запомнилась ему непрекращающимся годичным кошмаром, муштрой и гнетом, когда невозможно было понять, для чего вся эта формалистика, для какой надобности. Логика воинских уставов угнетала своей алогичностью, бессмысленность военных порядков отупляла чувства, на занятиях в классах и на плацу он вроде бы отсутствовал и всегда хотел спать.

Оказавшись после «учебки» в полку, он надеялся, что тут многое будет иначе, что тут — порядочные молодые офицеры, воспитатели и защитники солдат. Но скоро понял, что ошибся: офицеры жили собственной жизнью, зачастую далекой от скрытной жизни солдат. В казарменной толчее, в свободное вечернее время царили иные порядки, чем те, которые предписывались в уставах и были развешаны на стенах Ленинской комнаты. Как-то перед вечерней поверкой сержант Дробышев уронил под койку футляр от зубной щетки и обернулся к солдату: «А ну подними!» Вместо того чтобы беспрекословно исполнить приказ, тот коротко бросил: «Сам подними» и тут же полетел в проход от неожиданного удара в лицо. Он не догадался, что сержант умышленно уронил футляр, чтобы заставить его поднять, и эта недогадливость стоила ему багрового фонаря под глазом. На следующий день во время построения на развод ко-

мандир роты с притворным недоумением поинтересовался: «Что это у тебя?» В строю все напряженно замерли в ожидании его ответа, и он, несколько помедлив, сказал, что упал. «Надо смотреть под ноги», — глубокомысленно заметил ротный. А в отдалении из первой шеренги зло шурился, глядя на него, сержант Дробышев. Солдат решил тогда, что, наверно, поступил правильно, не сказав ротному правды. Но уже на следующий день он в том усомнился. В курилке, где он только присел с ребятами, появился Дробышев и молча двинул ему кулаком под дых — почему не встаешь, когда старший входит? Скорчившись от боли, солдат потащился в казарму, в то время как другие молча и безучастно глядели ему вслед. Никто не вступился, будто так и надлежало поступать с молодыми.

Еще хуже стало в начале весны, когда старшиной роты назначили прапорщика Зеленко. Этот взял за обычай после отбоя кучковаться с друзьями в каптерке, где они выпивали. Иногда кого-либо поднимали в казарме и также вели в каптерку. Както после полуночи оттуда вышел с потным покрасневшим лицом (может, даже заплаканным) его земляк Петюхов, молча лег на койку и укрылся с головой одеялом. «Что они там?» — но земляк не ответил, лишь вздрагивал от плача. Солдат уже догадывался, что там происходило, молчал, чувствуя, что, пожалуй, дойдет и до него очередь. Правда, пока не доходила, и парень в тревоге ждал, когда это случится. Несколько раз он замечал, как под утро из каптерки выходил явно пьяноватый Дробышев, торопливо раздевался и ложился в аккуратно разостланную для него койку. Однажды, ложась, Дробышев вынул из кармана брюк финку, которую, оглянувшись, сунул себе под матрац. Уж не намеревается ли кого-нибудь зарезать, засыпая, подумал солдат.

...Через несколько дней они, усталые, вернулись из наряда, и только солдат уснул после отбоя, как сразу проснулся от сильного удара в бок, — над ним в проходе стоял мордатый радист Подобед. «До прапора», — проворчал он, и парень понял, что его звали в каптерку. После другого такого же тумака вынужден был встать, начал натягивать брюки, потом сапоги. «Босой», — просипел Подобед, и он, помедлив, босой потащился по проходу в каптерку.

Там, еще сонного, с замутненным от страха сознанием, его нагло изнасиловал на полу все тот же ненавистный ему сержант Дробышев; Подобед и Зеленко держали. Истерзанный и униженный, как и недавно его земляк Петюхов, он добрел до сво-

ей койки и лег. Но не полез под одеяло, даже не закрыл глаза, а лежал, дожидаясь своего часа. Вокруг в ночном полумраке казармы сопели, ворочались, бормотали во сне, никому не было дела до того, что происходило за стеной в каптерке.

Спустя час или больше к своей койке тихо, словно крадучись, подошел наконец и Дробышев, разделся и лег. Еще через недолгое время послышался его негромкий храп, сержант спал. Солдат поднялся, оделся, аккуратно навернул портянки, натянул сапоги. Все делал не торопясь, основательно, будто тянул время. Оставалось надеть бушлат, но бушлат вместе с другими висел возле тумбочки дневального, который там пристроился кемарнуть в этот глухой час ночи. Виктор подошел к сонному сержанту, осторожно засунул руку под его матрац. Нащупав финку, без размаха, но с необычной для него силой вогнал ее по самую рукоятку в левый бок Дробышева. Тот лишь громче всхрапнул и, не просыпаясь, обвял в койке.

Едва держась на ослабевших ногах, солдат снял с крючка свой бушлат и, на ходу надевая его, выскочил в коридор.

— Куда? — сонно окликнул дневальный.

— Живот, — бросил солдат, закрывая дверь.

Он не побежал на проходную — знал, за уборной в ограде был тесный лаз, через который сержанты ходили в самоволку. Минуту спустя он очутился по другую сторону ограды и, тяжело дыша, побежал к недалекой городской окраине...

Бомж, как и обещал, спал недолго и, не дождавшись утра, задом выбрался из своей норы.

Была безлунная ночь, над речкой, клубясь, плыло белесое облако тумана. Бомжа сразу охватил сырой холод, содрогаясь, он подошел к костерку, где, воткнув голову в колени, дремал солдат.

— О, гляди, затухает, подложить надо...

Бомж бросил в костер несколько палок, от которых слабый огонь и вовсе готов был потухнуть, но потом, словно одумавшись, стал разгораться. На пустынном берегу посветлело, из темноты проступило неровное очертание близкого обрыва и над ним — высокая, сплошная стена бора.

— Иди в землянку, — сказал бомж сонному солдату. — Там дерюжка, укроешься.

Солдат молча поднялся, но не полез в нору, а свернулся рядом и скоро уснул. Никаких снов не видел и проснулся на расвете от холода. Ночью возле реки было холоднее, чем в лесной

хвойной чаще, где он ночевал прежде. То и дело вздрагивая в ознобе, парень подался к костерку, возле которого в предрасветных сумерках серела одинокая тень бомжа.

— Что не спитесь? А, холодно. Ну это с непривычки. Наверно, от мамки недавно? — хриловатым с утра голосом заговорил бомж. Солдат не ответил, — он не любил развязных разговоров, тем более со старшими.

— Туман, — произнес он, оглядываясь на реку, и протянул к костру озябшие руки.

— Туман, — подтвердил бомж. — А жрать все равно хочется. Бери уду и побросай. Утречком, может, что и возьмется.

Он пристроил к леске свой бережный крючок, и солдат пошел в тростниковую излучину.

Стало теплее, он бросал в тихую воду поплавок и ждал, ждал, что вот-вот клонет. Но пока не клевало. На тихой речной воде, расходясь, исчезали широкие круги, а он все ждал, когда поплавок вздрогнет — раз и другой, — давая тем знать, что начался клёв. Или, возможно, уже кто-то взялся — лещ, подлещик или хотя бы мелкая плотвичка. Но шло время, поплавок неподвижно лежал на воде, клёва не было. Тем временем небо над лесом прояснилось, начинался новый погожий день.

Возможно, следует поменять наживку. Белые черви из-под еловой коры, наверно, не самый лучший для рыбы корм, надо поискать обычных дождевых червей.

Положив удилище концом в воду, солдат прошел по берегу, высматривая подходящее место. Найдя влажную низинку, стал короткой палкой ковырять землю. Но червей не было. Вместо них ему скоро попало какое-то странное земляное существо, лишь отдаленно напоминавшее червя. Это был длинный, оранжевого цвета уж в палец толщиной, который кольцами извивался у его ног. Не радиация ли создала такого, испугался парень. Кому радиация — погибель, а кому — на благо. Если бы так человеку... Преодолевая брезгливость, наступил на ужа каблуком и палкой отбросил подальше в воду. Потом еще поковырялся в земле в поисках нормальных червей. Но нормальные тут, по-видимому, вывелись, может, истребленные этим мутантом, с тревогой размышлял солдат. Хотя все естественно, все по законам природы — сильный пожирает слабого. Как и среди людей.

Ни с чем парень возвратился к удочке, поплавок которой почему-то замер у самого берега. Почувяв неладное, он вытянул из воды удилище и не на шутку испугался — крючка не было. От поплавка свисал короткий конец лески, крючок оказался со-

рванным. Но кто же его сорвал? Чтобы сорвать, следовало дернуть, но он же не дергал. Он вообще не трогал удилища. Значит, кто-то откусил. Но кто мог откусить в реке? Долго, однако, не раздумывая, парень сбросил сапоги, подвернул брюки и полез в воду. Он старательно обшарил тростник на отмели, зеленые травяные водоросли в глубине, насколько мог до них дотянуться. Глубже, правда, ничего не было видно, мутноватая вода едва заметно струилась в одну сторону — все к тому же Чернобылю. Хорошо еще, что не от Чернобыля, хотя оттого стало не легче. Крючка нигде не было.

— Что, оторвал? — крикнул сзади бомж, подойдя по берегу.

— Да вот нету...

— Я же тебе говорил... Теперь голову твою оторву, — пригрозил бомж и тоже стал разуваться.

Солдат виновато молчал, он ждал выволочки, но на большее злости у бомжа не хватило. Минуту спустя они оба, по пояс в мутной воде, ощупывали дно ногами, шарили в камыше. Взбаламученная ими вода не давала ничего рассмотреть в глубине, муть постепенно сгоняло ленивым течением, — а с течением могла уплыть и леска с крючком. Бомж выругался, видно стараясь подавить чувство досады. В самом деле, было отчего досадовать. Наконец оба озябли, устали и выбрались из воды на берег.

— А может, и к лучшему, — вдруг улыбнулся бомж. — Меньше радиации сожрем.

Солдат не ответил — он не принимал таких шуток. Если не жрать радиации, что же тогда здесь жрать вообще?

Все время ощущая, как сосет под ложечкой, он отошел от костра и, не снимая подмоченный бушлат, вытянулся на траве. Туман с реки уже сплыл, стало теплее; по небу гуляли белые облачка, обещая погожий день. Но небо не обещало пищи, которую надлежало добывать самим. Только где и как?

Еще до того, как попасть на хутор, он бродил в окрестностях зоны и однажды на опушке леса вышел к автобусной остановке. Как раз подкатил автобус, из которого сошли несколько пассажиров и торопливо направились в сторону недалекой деревни. Лишь одна из них — по виду немолодая деревенская тетка что-то замешкалась, положила наземь свою котомку. Стоя за кустом в двадцати шагах от нее, голодный солдат наблюдал, как тетка достала из котомки белый городской батон, отломала от него кусок. Он смотрел и думал: неужто она начнет есть — у него на глазах? У парня от голода кружилась голова, и он боялся не совладать с собой. Но тетка не видела солдата и в самом

деле принялась уплетать батон. Теряя самообладание, он вышел из кустов и, стараясь как можно спокойнее, сказал тихо: не пугайтесь, тетечка, я...

В этом была его ошибка, как он потом понял — не следовало обращаться к ней так напряженно-трагически, надо было полегче, может, даже шутливо. Но он ни бодро, ни шутливо не мог. Его слова испугали женщину, она вскрикнула и, подхватив пожитки, припустила по стежке к деревне.

И в том и в ряде других случаев было разумнее вести себя легче, без надрыва. Да и во всей той истории тоже. Ну, случилось, виноват, накажите. Может, как-нибудь утряслось бы...

Может, и утряслось бы прежде, но не теперь. Теперь он слишком задержался в зоне. Хотя, где же еще он мог задержаться?

Он охотно остался бы на хуторе у деда. Дед был не из болтливых, о себе не распространялся и его ни о чем не расспрашивал. Когда в дождливый ненастный вечер солдат постучался к нему, дед сразу впустил, наверно, что-то поняв с первого взгляда, и не пришлось ни о чем рассказывать. Главное, не пришлось врать, чего он не переносил с детства. К сожалению, не всегда удавалось обходиться правдой, иногда вынужден был и соврать. Но всякий раз потом чувствовал себя неважно и думал: лучше не надо. Лучше по правде. Хотя по правде было труднее и даже не всегда безопасно.

Кажется, он снова заснул — добирал недоспанное ночью время, но вдруг испуганный проснулся от близких торопливых шагов. Откуда-то появился божж — босиком, без шапки, в высоко, выше колен, подвернутых брюках.

— Вставай, солдат! И дуй за дровами. Будем жаб жарить!

— Жаб?

— А ты думал! Вкуснятина, я уже ел, — и божж вывалил из шапки десяток разного размера лягушек. Некоторые сразу бросились наутек, и божж босой пяткой решительно прекращал их самовольное бегство.

— Куда? Куда скачешь, я те дам удирать! Знаешь, — обратился он к парню, — может, это и хорошо: все-таки у жаб радиации меньше. Жабы ведь местные, не из Чернобыля. А рыба, черт ее знает, откуда плывет. Не спросишь, так ведь?

Слабое это утешение, однако, не очень убедило солдата, который без большой охоты полез на обрыв — в лес за дровами.

Божж не врал — он действительно ел лягушек, правда, не тут, в зоне, а прошлым летом под Минском, когда они вдвоем

с товарищем самовольно оккупировали чью-то дачу. Правда, тогда у них была бутылка, с которой всё и всегда вкуснее. Трущ, недавний доцент и божж, подал пример этой изысканной закуси. Он же сообщил, что где-то под Полоцком местный рыбхоз заключил договор с французской фирмой на поставку таких вот лягушек, и весной их коробами возили в Париж на специально зафрахтованном для этого самолете. Французы неплохо платили валютой, на которую начальник рыбхоза построил коттедж у озера и купил «Пежо». Коттедж, правда, вскоре сгорел, а что стало с «Пежо», доцент не помнил. Может, правда, а может, и разговоры, полагал божж, но им выбирать не пристало. В самом деле есть очень хотелось. Как и всегда.

Сдерживая чувство брезгливости, божж ножиком выпотрошил десяток лягушек, разложил их на траве рядком. Некоторые еще дергали лапками, но большинство лежало спокойно. Солдат приволок охапку сушняка, они раскопегарили яркий костер и, когда раскалились угли, бросили на них плосковатые жабы тушки. Погодя от углей пошел, в общем, даже приятный запах — лягушки начали жариться.

— Хочешь жить — умей падлу жрать! — шурысь от дыма, изрек божж. — Девиз советских божжей.

— А не отравишься? — усомнился солдат.

— Радиация не даст, — заверил божж. — Она сама кого хошь отравит. — И засмеялся мелко, прерывисто.

Солдат понял шутку, от которой ему не стало веселее. Как и всегда, ощущал себя подавленным, мало склонным к беззаботному общению. Это, наверно, заметил божж и постарался его утешить.

— Ты это — не кисни! Молодой еще, веселее надо. Молодые неприятности — тьфу, пылинки в жизни. Через полгода и не вспомнишь. Другие накатятся, похлеще прежних.

Он засмеялся собственному остроумию, которое, однако, не мог оценить солдат. Остроумие, как и юмор, теперь его мало трогало, — гораздо больше занимали заботы — как жить?

— Тут такое дело, — серьезно заметил божж. — Еще неизвестно, кому повезет больше — нам в зоне или им там на чистой земле.

— Вряд ли нам, — тихо возразил солдат.

— А вот и не вряд, — приготовился спорить божж. — Вот посуди. Мы тут сидим на никчемной земле, рядом никаких баз, всё уже вывезли. А там, вокруг — база на базе. Ну, сообрази, по кому лупанут в первую очередь? По ним или по нам?

— По всем вместе, — сказал солдат.

— А вот и неправильно. Все-таки ты солдат, да еще дезертир, наверно, слабо в политике петришь. А я кадровый офицер, двадцать лет отгрохал, в том числе шесть — в ракетных войсках стратегического назначения. Понял?

Что было понимать — и дураку ясно. Здесь этих баз столько, что промаха быть не может. Даже теоретически. Да и Чернобыль — не пустырь, там тоже остались реакторы, значит — цель, и вся зона окажется под обстрелом. Но солдат не хотел ни спорить с этим человеком, ни даже обсуждать с ним вполне злободневную проблему, — ему хватало своих проблем.

Они стали есть поджаренных лягушек, выбирая из них тонкие косточки. Лягушки в общем были мелковатой породы, разумеется, оба не наелись, разве что раздразили свой хронический голод, и божм объявил:

— Здорово, да мало! Знаешь, давай ты — по дрова, а я опять в болото. Уж я их наловлю...

Так и сделали, — солдат полез на обрыв — в бор за дровами, а божм, заметно прихрамывая, пошел берегом речки к недалекому болоту.

Солдат ходил долго, забрел далеко. Лес был красив какой-то своеобразной трагической красотой. Сосны с тихим шумом едва шевелили верхушками, в совершенном безветрии стояли под ними березы, словно не понимая, где им пришлось расти. Местами на солнечных полянах высоко вымахала какая-то невиданная трава — вроде ржи с метелками вместо колосьев; никто ее тут не топтал, не косил. Почему-то вовсе не видать было птиц, даже ворон. Однажды высоко над соснами покружил в небе лесной канюк и торопливо улетел куда-то на запад. Что-то ему тут не нравилось. Хотя, известно что... Куда же влез он, рядовой ракетного дивизиона, что его тут ждало? — сокрушенно думал солдат.

Конечно, здесь он не один, теперь их двое. Но божму что, божм свое, наверно, отжил, водки попил. Да и женщин познал... А солдат не успел даже кого-нибудь полюбить, только намеревался. В школе с восьмого класса очень нравилась ему одна черненькая веселушка Симакова Тоня. Однажды написал ей записку, что любит, и к началу занятий положил в Тонину парту. Все перемены ни живой ни мертвый следил за выражением ее лица, на котором, однако, не было ничего, кроме обычной ее дурашливости. Потом подкараулил на дороге из туалета и, ничего не

говоря, уставился на нее идиотским взглядом. Она вскинула свои черные бровки, бросила «дурак» и побежала в класс. После уроков нашел в глубине ее парты свою непрочитанную записку и разорвал ее в клочья. Так и окончилась, не начавшись, его глупая любовь.

На исходе дня, когда они слегка утолили свой голод и празднично сидели на берегу, Бомж спросил:

— Слушай, а чего ты драпанул из армии?

— Было чего, — тихо ответил солдат.

— Что — командиры доняли?

— Доняли...

Он не хотел рассказывать о том, что с ним случилось, — не смел об этом даже думать. Бомж не стал расспрашивать. Все-таки он был человеком, не лишенным деликатности, и предпочел углубиться в свои воспоминания.

— Знаешь, а я вот хотел служить. Ну, не так, чтоб служить там кому, — любил работать. Я же по технической части офицер, технику обожал. Интересное дело — техника.

— Смотря какая, — сказал солдат, припомнив свой агрегат связи, с которым у них было столько мороки.

— Автомобильная...

— Ну автомобильная, может, и ничего. Если исправная.

— Исправное все хорошо, даже человек. Но чтобы исправить, надо талант иметь. Я, знаешь, имел.

Сейчас начнет похвастаться своим талантом, решил солдат. Он уже встречал таких людей, влюбленных в собственный талант, а по существу — в самих себя. Слушать их иногда было интересно, но верить им можно было с натяжкой.

— Знаешь, за двадцать лет я перебрал столько автотехники: «газы», «мазы», «кразы»...

— Ну и которые лучше? — глядя в реку, спрашивал солдат.

— Если откровенно — все говно.

— Это почему же?

— Потому что не умеют делать. Тем более что можно делать и плохо — сойдет. Такая наша промышленность. Разве вот, например, каким должен быть дизель?

— А каким?

— А как на Западе. Мы же на курсах изучали их технику. Так наша от ихней — как земля от неба. Даже передрать по-людски не умеют. Обязательно испаскудят. Как те «жигули». Передрали у итальянцев да испаскудили. Первая модель еще куда ни шло. А потом все хуже и хуже. Теперь хоть новый завод открывай. А

что с этим делать? Автомобиль требует точности, как часовой механизм. Его напильником не усовершенствуешь.

— Однако же ездят.

— На чем-то надо же ездить. «Москвич» еще хуже. «Запорожец», ну это чудо советской техники...

— А вот эти, что руду возят? В этаж высотой?

— «Мазы», «Белазы»!.. Основные наши ракетовозы. Намучился я с ними под завязку. На севере... Они хороши только в боксах. Колеса побелены, бамперы выровнены, все блестит — полный ажур. У кого ровнее, тот и передовой командир. Как заправка коек. Вас же, наверно, здорово жучили на заправке коек?

— Ага, всю дорогу, — повеселел солдат.

— И еще строевая. И политзанятия — эта обедня без попа.

С замполитом.

— Теперь уже с попом, — добавил солдат.

— Ну потеха! — ерзал на земле бомж. — Ну дожилась непобедимая армия! Хорошо, что я в ней не служу. Отслужил свое. Нет, я любил технику. Если где какая неисправность, начальство нервничает, крики, мат... А мне интересно: в чем дело? Какой-нибудь стук в двигателе, а вот пойми: где? Стуки, они хитрая штука, на слух ни черта не поймешь. Тут инстинкт нужен. Бывает, дзынкает в одном месте, а причина в другом. Или с той же электротехникой. Знаешь, мне и теперь иногда двигатели снятся. А тебе что снится, девки? — вдруг заинтересовался бомж.

— Мне? Ничего.

— Плохо. Значит, у тебя глухая психика.

— Оглохла...

— Может, оглохла, а может, такой родилась, — решил бомж, поворачиваясь на другой бок. — Черт возьми, что-то в груди стало болеть. Но все же скажи мне, почему ты вляпался в зону? Что, больше некуда было?

— Значит, некуда.

— А что родители? Или они не знают?

— Некому знать.

— Понятно. Значит, сирота. Угадал?

— Ну.

— А что на хвосте? Политика? Бытовуха?

Что у него на хвосте, солдат сам толком не знал, суда над ним не было, с прокурором не встречался. И он ответил просто:

— Одного гада пырнул.

— Это хуже... До смерти?

До смерти или нет, также не знал. Тогда казалось — да, теперь начал сомневаться. Вдруг окажется, что не до смерти, что Дробышев выжил, и его не присудили бы к вышке... Но что же тогда получается? — думал солдат. Получается, что он напрасно сбежал из полка и вскочил в зону. От этих безотрадных мыслей у парня голова шла кругом... Правда, бомж, спасибо ему, более не стал лезть в душу, расспрашивать о подробностях. Возможно, посочувствовал и на правах старшего пустился в нравоучения:

— Знаешь, в Евангелии сказано: не убий. Думаешь, почему так сказано, — что им, врага твоего жалко? Тебя жаль, того, кто убивает. Даже если и есть за что. Думаешь, ты его убиваешь? Э нет — себя убиваешь! Пуля, она ведь поражает двоих. Одного — прямо, а другого погодя, рикошетом. Вот в чем суть. Я уже наглядился. Одному в Минске жена изменила. Горячий был, молодой. Ну и уколошил ее заодно с ее полюбовником, кстати. И все так обставил, что следствие зашло в тупик. Мол, пошли и пропали, может, куда уехали. И что думаешь: ему легче стало? Дудки! Высох весь, исхудал, рак подключился. В коридоре под лестницей повесился. Без суда и следствия.

— Ну конечно, — согласился солдат. — У Достоевского так же — «Преступление и наказание»...

— Достоевский что! Достоевскому и не снилось, что у нас творится. Сын отца убивает. Отец дочку малолетнюю насилует. А ты — Достоевский...

— Так что же тогда — делай, что хочешь? Есть такие, — они все могут.

— Да, могут. На все способны. Но их способом против них нельзя. Ни за что нельзя.

— Каким же тогда способом можно?

— А против них нету способов, — глубокомысленно закончил бомж.

— Вы уверены?

— Абсолютно. Они сами себя прикончат. Рано или поздно. Как пауки в банке. Если в банку к паукам бросить, например, шмеля, они все набросятся на него и прикончат в один момент. А если их там не трогать, подождать, — сами себя сожрут. Потому что никого не жрать они не умеют. Точно! Наукой доказано, — видимо довольный своим ответом, бомж хитровато засмеялся.

Солдат молчал, ковырял прутиком в песке.

— Убийство — двойная беда. Даже если и не поймают, не засудят. Тебя же, наверно, ловили?

— Не знаю, — пожал плечами солдат. — Может, и сейчас ловят.

— Ну тогда тебе нельзя отсюда высовываться. Тут еще, может, и пересидишь.

— Чего же я тут дождусь?

— А знаешь, все может быть. Власть переменится или там амнистия. У нас же все меняется. Или путч новый. Или еще где реактор рванет, — божм опять засмеялся.

— А радиация? — поднял голову солдат.

— Вот я и говорю: если раньше радиация не скрутит. Она коварная сука, подбирается на кошачьих лапках, а хватает, как тигр.

— Откуда вы знаете?

— Знаю, — уклончиво ответил божм. — По себе чувствую.

Такой поворот разговора задел солдата, и он молча поднялся. Пошел берегом, рассеянно поглядывая на реку, будто река могла утешить. Было обидно за свою злосчастную долю — и почему ему досталась такая? Почему он попал к этому гаду Дробышеву, а не к какому-нибудь другому сержанту? И мало ему было беды в полку, так еще влез в эту зону. Наверно, она действительно страшная, напрасно некоторые в это не верят. Но тех, кто с ней столкнулся, уже не обманешь. А вот он обманулся. Хотя, куда ему было деваться после всего, что он натворил и что сотворили с ним? Может, стоило прихватить оружие? Но вот божм говорит про рикошеты. Пожалуй, хватит ему и одного рикошета, который, кажется, уже поразил его.

Многое в собственной судьбе солдата казалось ему нелепым, а то и вовсе скверным. Из людей, встреченных им на его пути, редко кто вызывал уважение. К божму он с особенным вниманием прислушивался с первого дня — все-таки нечасто ему приходилось встречать таких людей. Но скоро понял, что во всем разные они люди. Способ существования божма и некоторые его суждения иногда смущали солдата, привыкшего с детства внимать словам старших. В их словах и поступках парню всегда хотелось видеть прежде всего ясность и определенность — качества, которых, наверно, не доставало самому. Но не всегда он находил их и у старших. Начиная от мелких передраг и кончая вселенской катастрофой, какой явился Чернобыль.

Вот и божм говорит о радиации то так, то этак. То она для него не угроза, то что-то уже чувствует. Хотя в определенном

смысле он, пожалуй, и прав: даже наука не может разобраться в степени ядерной опасности. Одни ученые устанавливают одни нормы, а другие — иные. А вот им приходится все испытывать на себе. Они словно мыши из никому не нужной лаборатории, неплановые жертвы науки. Заодно и техники. И оборонки — тоже. Солдат нигде не читал, но ему приходилось слышать, что причина катастрофы — все-таки в оборонке. Для ракет нужен был обогащенный плутоний, вот оборонщики и гнали. Техника не выдержала. Техника отстала от требований оборонки, а оборонка не выдержала давления политики. Люди же, похоже, должны все выдержать. А кто не выдержит и загнется, так это его личное дело.

Последние дни солдат также начал чувствовать себя что-то не так. Какие-то скверные изменения стали происходить и в его организме. Кружилась голова, иногда он даже боялся упасть, особенно когда долго глядел на воду в реке. Потом стали побаливать шея и горло, все время хотелось откашляться и не получалось, — будто застряло что-то в гортани. Но больше всего доминировал голод. Если бы поесть досыта, наверняка ощущал бы себя лучше. Только как следует поесть было нечего, а о прочем не хотелось и думать...

Спасительный костерок, от которого они кормились и который обогревал их особенно по утрам да и ночью, оказался сущим наказанием для солдата. Он пожирал невероятное количество дров, а их все труднее приходилось добывать в лесу. Все было бы проще, имей они топор или какой-нибудь подходящий нож, кинжал, что ли? Но ничего подобного у них не было — дрова приходилось заготавливать голыми руками. Городской житель, солдат не думал, что в лесу это станет проблемой. Когда божж уходил на болото, парень не мог надолго отлучаться от берега, а отлучившись, всякий раз тревожился при мысли, что костерок потух.

В тот день он особенно далеко и не отходил. Выбрал в молодом ельнике иссохшую елочку, которая, прикинул, будет ему по силам, и стал ее гнуть, раскачивать, чтобы сломать на корню. Елочка была не толстая, тем не менее пришлось с ней повозиться, и парень вспотел, пока выворотил ее с корнями. Так и поволок через подлесок к речке, тревожась, не заглож ли костерок? Уходя, подложил немного, все могло догореть.

Выбравшись из леса к обрыву, первым делом бросил взгляд на берег и в изумлении выронил елку — возле костерка спиной к нему сидела женщина. Костерок вроде еще дымил, и женщи-

на в джинсовой куртке и брюках заботливо подкладывала в него то, что не успело еще догореть. Солдат испугался, что она может и вовсе затушить костер, и спрыгнул с обрыва.

— Вот подкладываю, чтоб не потух, — сказала женщина, голос был обыденный, почти домашний.

Не ответив, солдат осторожно поправил недогоревшие концы сучьев, дымок стал гуще, скоро должен был появиться огонь. Это его успокоило, хотя появление незнакомки встревожило, тем более что он тут оказался один, — бомж с утра пропадал на болоте.

— Что, рыбу ловишь? — вглядываясь в его озабоченное лицо, спросила женщина.

Она была гораздо старше солдата, но с живым, испытующим взглядом из-под темных, непрорисованных бровей. На губах не было заметно следов помады, и они казались несколько бледноватыми для этой вовсе не старой еще женщины. Свободная манера обращения и речь давали понять, что она не местная — скорее всего, из города. Но как очутилась здесь? Что ей здесь нужно?

— Один тут? — поинтересовалась она и умолкла в ожидании ответа.

— Не один, — и полез на обрыв за елкой. Все-таки надо подложить в костер.

Он стащил елку с обрыва, подтянул поближе к берегу и стал обламывать сучья. Некоторые из них бросал в костер, другие — потолще — складывал в отдалении про запас. Женщина, пристально наблюдая за ним, молча сидела возле костра. Потом резко спросила:

— Ты дурной, что ли?

Прежде чем ответить, он кинул на нее сердитый взгляд — она явно смущала солдата и, видно, не сразу поняла это. А поняв, подошла к нему ближе:

— Давай помогу.

Вдвоем они стали обламывать сучья, хотя, как он увидел, помощи от нее не много, скорее мешала, то и дело дергая елку. Ростом она оказалась выше щуплого солдата и, похоже, несколько не стеснялась его. Он же неизвестно почему робел от ее близости.

— А топора нет? — И он увидел, что спереди у нее недостает двух зубов.

— Нету.

— И пилы нет?

— Нет.

— Как же ты тут обходишься? Ручками?

— Ручками.

— А рыба как? Клюет?

— Клюет, — односложно отвечал он, с силой выламывая сухие суки снизу. Женщина обламывала более тонкие с верхушки.

— И много наловил?

Вспомнив об их улове и потере крючка, он криво усмехнулся. Кто она такая, чтобы все ей объяснять?

— Где же твои снасти? — не унималась женщина. — Сетка там или удочка.

— Для нашей рыбы снастей не надо, — сказал он, имея в виду лягушек.

— Вот как! Значит, ты не один тут?

— Не один, — и впервые открыто взглянул ей в лицо, задержав взгляд на вязаной шапочке: все-таки летом в зимних шапках не ходят, — подумал он, — даже в лесу. Это не укрылось от пристальных глаз женщины.

— Что, думаешь, шапка нехороша? Вполне хороша. И комары не кусают. Так с кем же ты тут ловишь?

— С кем надо, с тем и ловлю, — тихо сказал он и умолк. Праздное любопытство этой незнакомки стало надоедать солдату. «Хорошо еще, — думал он, — если только праздное. Скорей бы пришел с болота бомж, вдвоем мы бы сообразили, как обойтись с ней».

Женщина, в свою очередь, тоже поняла, что мало чего добьется от этого необщительного парня в солдатском бушлате, и сказала:

— А я иду, смотрю — костерок, никого не видно. Ну, думаю, прикурю, а то зажигалка кончилась. Топать еще далеко...

— Это куда — топать? — доброжелательно спросил солдат.

— Туда, — неопределенно махнула рукой женщина.

И тогда солдат заметил возле костра небольшую хозяйственную сумку, с которой женщины ходят на рынок. В сумку что-то было положено, однако вряд ли продукты — на вид сумка казалась легкой. В это время из кустов возле речки появился бомж, который, увидев их тут, приостановился, но затем не спеша стал подходить по берегу. Женщина, заметив его, кивнула:

— Напарник, да?

— Напарник, — сказал солдат. Его напряжение от неловкости общения с ней сразу убавилось. В присутствии бомжа он чувствовал себя увереннее.

На ходу изучая гостью, бомж подошел к костру. В шапке он нес наловленных в болоте лягушек и теперь явно раздумывал, как с ними быть. Обнаруживать их перед незнакомкой не очень хотелось, но и бросать жалко. Женщина, похоже, что-то поняла.

— Это рыба?

— Рыба, — вдруг сказал бомж. — Лещи. Показать?

— Покажи.

Женщина сделала несколько шагов навстречу, чтобы заглянуть в шапку, отвязанные уши которой он зажимал в кулаке. А взглянув, отшатнулась.

— Фу, гадость! Зачем они вам?

— Есть.

— Есть? Вы что?

— А ничего. Голод — не тетка.

— Понятно, — не сразу сказала женщина и отошла, кажется, теряя интерес и к лягушкам в шапке и к обоим мужчинам.

Бомж между тем с неожиданным оживлением засуетился возле костра.

— Вот мы их сейчас подкоптим, поджарим и слопаем за милую душу. Правда, солдат? Можем и угостить, если оголодала. Откуда идешь? — по-простецки обратился он к женщине.

— Оттуда, — сказала женщина и присела в сторонке от костра.

— Солдат, давай больше дров! — начальственно распоряжался бомж. — Нажигай углей. А я этих выпотрошу, нафарширую, приготовлю... Французы едят, а мы что — хуже?

Солдат без особой охоты занялся костром — стал подкладывать в него сухие еловые сучья, и скоро пламя шугануло столбом под самое небо. Вблизи от костра становилось жарко, они отсели подальше; бомж, привычно орудуя перочинным ножиком, выпотрошил десятка полтора мелких лягушек.

— Небось — в бегах? — вдруг спросил он женщину, сидевшую поодаль. Та насторожилась.

— В каких бегах?

— Ну от милиции убегаешь?

— Ни от кого я не убегаю. Пусть от меня убегают.

— А ты что — из угрозыска?

— Хотя бы.

— Так я тебе и поверил! — оглядев ее, сказал бомж.

Женщина в ответ засмеялась — строгое лицо ее по-доброму прояснилось.

— Ну и правильно. Теперь никому нельзя верить. Мне тоже.

— То-то...

На груде нагоревших углей бомж принялся жарить лягушек. Солдат, сидя рядом, привычно сглатывал слюну и помалу ворошил костер. Он ждал, что женщина уйдет, ее присутствие сковывало его, уже успевшего отвыкнуть от необязательного общения с незнакомыми. Для общения ему вполне хватало бомжа. С женщиной, наверно, следовало держаться иначе, особенно с такой вот — бесцеремонно-простецкой.

Спустя час или больше лягушки кое-как поджарились, и они принялись за еду. Женщина по-прежнему сидела чуть в стороне от костра, и солдат подумал: наверно, сейчас уйдет. Но она не уходила, и когда бомж протянул ей маленькую лягушку на большом листе лопуха, который они использовали вместо тарелок, нерешительно взяла его. Однако есть не спешила.

— А соли? Соли у вас нет?

— Чего нет, того нет, — развязно сообщил бомж. — И выпить не имеется. А может, у тебя есть?

— Чего нет, того нет, — в тон ему ответила женщина и тихонько вздохнула.

— Так что ешь. Небось давно не ела?

— Давновато, — простодушно призналась женщина. — Здесь где возьмешь?

— Здесь нигде не возьмешь. Кроме как у нас! — ерничал бомж. — У нас ресторанчик на берегу. Речной поплавок, правда, солдат?

Солдат неуютно поежился. Пусть бы и любезничал с ней, если интересно, оставил бы его в покое.

Очень скоро они покончили с лягушками, обсосали мелкие косточки, которые бомж собрал в кучку и затоптал в песке.

— Вот и пообедали. И поужинали тоже. Ну как — ничего?

Женщина неопределенно пожала плечами. Вместо ответа она что-то достала из своей сумки.

— Закурим?

— А мы некурящие, — отозвался бомж.

— Травку...

— Травку? А что — есть?

Женщина ловко свернула из бумажки большую сигарку, прикурила от уголька с костра. Бомж подсел к ней поближе.

— Тебя как зовут? — спросил он.

— А тебя?

— Меня? Меня — Жора.

— Ну если ты — Жора, то я — Жоржетта. Слыхал такое имя?

— Конечно. И не только такое... Но как ты тут оказалась? Тут же зона.

— И хрен с ней, с зоной, — резко, без улыбки сказала женщина. — Нам-то чего бояться?

— А смерти?

— Смерть я уже видела. Даже поцеловалась с ней. Во, погляди!

Она сдвинула со лба вязаную шапочку, и на выстриженном виске над ухом обнажилась белая заплатка лейкопластыря.

— А что это?

— От пули. Киллер, наверно, был спьяну, допустил промашку.

— Киллер?

— Ну. А ты думал — петух клюнул?

— И за что?

— За деньги. За что же еще.

— И много денег? — озабоченно расспрашивал бомж.

— В общем, мелочь какая-то, — бесстрастно отвечала женщина. — Основную сумму все-таки успели переправить за рубеж. Вот только сами замешкались, остатки не хотелось терять. Дружок мой получил в лоб, а мне по ошибке — в висок.

— Однако, — задумчиво произнес бомж. — Опасная ваша жизнь — с деньгами.

— Была — с деньгами. Теперь — ни копейки в кармане.

— Ну и хорошо. Наверно, теперь киллер отстанет?

— Не скажи. Если бы отстал, я бы тут не оказалась.

— Вот как!

Они замолчали, женщина протянула бомжу крупный окурок, который тот бережно принял в свои закоптевшие пальцы.

— Что — прежде курил?

— Приходилось...

— А пацан? Хотя ему еще рано, — женщина смерила солдата насмешливым взглядом.

Солдату и вовсе стало не по себе, противно. Этот разговор о деньгах, киллерах и курение «травки» неприятно подействовали на него, хотелось встать и уйти. Пусть бы они здесь курили, исповедовались друг перед дружкой, все-таки у него иная, отдельная от них судьба. Но что-то в судьбе этой женщины привлекало и отталкивало одновременно, он продолжал сидеть, слушал.

— Одной тебе плохо, — вздохнул бомж. — Напарника надо.

— Где же его найдешь, напарника?

— Возьми меня. Или вон парня. А что — в армии служил, дезертир...

Солдат молча поднялся и берегом речки пошел в лес.

Он долго и бесцельно бродил между сосен, узнавая уже искоженные им места, иногда примечая сухие березовые суки, которые можно употребить для костра. Валежника внизу тут мало, под соснами на мху зеленели широкие участки черничников. Но главная боровая благодать в бронзовой чаще сосен. Удивительно, но все они здесь будто на подбор одинаковые — толщиной, ростом, цветом стволов, плавно переходящим от серого внизу к яркой позолоте вершин. От этих вершин разливалась вокруг неизъяснимая лесная доброта, которой сосны одаривали своих меньших братьев в подлеске. Однако и здесь солдату было грустно, и он не понимал, отчего. Ведь должна бы такая благодать утешать человека, а вот не утешала. Лишь растревляла его и без того разворошенную душу, хорошо еще, что не лишала покоя. Покоя тут было настолько в избытке, что человек порой переставал замечать его.

Появление этой незваной женщины, кажется, в самом деле растревожило парня, разбудило полузабытое чувство неловкости. Похоже, он стал ощущать себя лишним или, может, боялся потерять бомжа? Но бомж особенно его и не привязывал к себе. Скорее всего, страшила перспектива одиночества, от которого он начал здесь отвыкать. И вот эта женщина...

Он никогда не знал, как вести себя с женщинами, особенно с теми, что постарше, такими вот разбитными, их женская насмешливость по отношению к нему, младшему, ставила его в тупик. Он терялся, смущался, злился, но иначе вести себя не мог.

На прогалине сел на траву, с жадностью вдыхая знакомый запах, памятный ему с детских деревенских лет, когда на каникулах жил у бабушки. В поле и в лесу бабушка всегда собирала травы, сушила их в темных сенях, он иногда спрашивал: зачем? От хворобы, поясняла бабушка. Зимой простудишься, заболешь, а я заварю горбатки — попьешь и выздоровеешь... Была бы жива бабушка, наверно, сейчас заварила бы какие-либо лекарства — от радиации. Он бы выпил и был здоров. Но бабушки нет, а проклятая радиация притаилась где-то поблизости, ждет. И сколько ждать будет?

Когда стало смеркаться, солдат вернулся на берег. Он думал, что женщина ушла, — чего ей тут делать с ними? Но оказалось — они сидят с бомжом у костра, о чем-то мирно беседуют. Чтобы не мешать им, солдат присел на обрыве в сторонке, вгля-

дываясь в затянутое вечерней дымкой заречье. Там, между луговых кустарников, уже поднимался туман, неровными клочьями плыл-расплывался вдоль над рекой, сливался с притуманенной лесной далью. Когда еще потемнело, мужчина и женщина поднялись и ушли куда-то вверх, под сосны. Выждав немного, солдат спустился с обрыва к костру, подложил топлива и сел на свое обычное место — лицом к реке, прислушиваясь к явным и кажущимся звукам из леса. Сперва слышался отдаленный говор, потом вроде вскрик, заставивший его насторожиться. Но потом раздался беззаботный смех женщины. Что бы все это значило? — озабоченно раздумывал солдат, теряясь в догадках. Но лишь в догадках. Самому в таком положении оказываться не приходилось, а из мужских разговоров можно было предположить всякое.

Возле костерка он и задремал — как обычно, положив голову на колени, и проснулся оттого, что кто-то оказался рядом. Это была женщина, и ее голос звучал в тишине с пугающей ласковостью.

— Бедненький, скорчился, как сиротка, — говорила женщина, опускаясь на землю рядом. Ее легкая рука легла на его плечо, лицо близко приблизилось к его лицу, и он ощутил незнакомое ее дыхание. — Наверно, озяб?

— Да нет, ничего, — тихо ответил он неожиданно для себя — доверчиво.

— Ты же такой молоденький... Хочешь, я тебя погрею?

Солдат вздрогнул от настойчивого прикосновения ее рук, попытался отодвинуться. Похоже, испугался и уже готов был возненавидеть себя за этот свой испуг. Но что-то протестующе колючее поднялось в нем изнутри, и он сказал:

— Не нагрелись... Там?

Женщина тихонько засмеялась.

— Нагреешься с вами. Один старый, другой малый.

— Ну и пусть, — сказал он. — Зачем же тогда вяжешься?

— Отощали, видать. На лягушках, — после паузы вздохнула женщина и четко произнесла с сожалением: — Что ж!

Потом, отстранившись, свернула сигарку с «травкой», прикурила от тлеющего прутика и встала.

— Светает. Пойду. На Украину в какую сторону? Туда? — махнула она рукой.

— Ну, — рассеянно отозвался он.

— Я тут заплутала маленько, давно не ходила. Другие дела были!

Он вдруг вспомнил поразивший его вчера рассказ.

— А киллер?

— Что? Ах, киллер! — и рассмеялась, легко, искренне. — А вы и поверили?.. Чепуха все. Это — по пьянке...

Не прощаясь, она быстро пошла вдоль речки к камышовой затоке, потом остановилась, и в утренней тишине свежо прозвучал ее удаляющийся голос:

— Наврала я вам. Так что — всерьез не принимайте.

Солдат сначала поднялся, вглядываясь в ее отдаляющуюся фигуру, затем опустился в растерянности. И когда спустя полчаса с обрыва к нему спрыгнул бомж, сказал только:

— Ушла.

— Пусть идет, — беззаботно ответил бомж. — На Украине наркота дешевле.

Солдат не стал ему ни о чем рассказывать, ни тем более спрашивать. Он не все понимал. Но и того, что понял, с него хватило.

На несколько дней их наибольшей заботой стали лягушки.

С раннего утра бомж отправлялся на недалекое болото; солдат тем временем подкладывал в костерок дров, чтоб дольше горело, и лез на обрыв. Поблизости в бору он уже подобрал все, что могло гореть, за сушиняком надо было идти подальше. Издалека тащить дрова к речке становилось труднее, несколько раз в пути солдат отдыхал, взмокнув в своем истрепанном бушлате. Бушлата он не снимал, как никогда не снимал своей телогрейки бомж. Все мое ношу с собой, сказал тот однажды, когда солдат заметил, что стало жарко и не мешало бы раздеться. Но бомж, пожалуй, был прав, если учесть его опыт проживания в зоне, который солдат лишь начал осваивать.

О политике они почти не разговаривали, будто политика их не касалась. Похоже, в зоне они вышли из-под влияния политики, как и власти в целом, и подчинялись единственно не менее строгим законам природы. Законам выживания. Лишь однажды утром, встав, чтобы сменить солдата возле костерка, бомж сказал будто в продолжение прежнего разговора или, может, чего-то увиденного во сне:

— Знаешь, солдат, вообще-то я за коммунизм. На черта мне этот капитализм.

— Наверно, потому, что капиталов нет?

— Нет, не потому. При коммунизме меня, наверно, давно бы в тюрьму посадили. А тут, пока кого не убьешь, не посадят.

— А вам что, в тюрьму хочется?

— Не то чтобы хотелось. Но в тюрьме, если разобраться, рай. Особенно зимой. Тепло, кормят, компания какая-то... Одно плохо — летом на волю не отпускают. А я волю люблю. Просто дивлюсь порой, как я стерпел двадцать лет армейской каторги. Удивительно! Правда, там была техника. Вот техники не хватает мне.

— Зато здесь свобода.

— Свобода, ага. Только знаешь, свобода с нагрузкой — холодом, голодом. Тоже не мед. Попробуй перезимовать на бесхозном чердаке. Или в канализации. Да от милиции не отцепиться. Да крикливые дворничихи. А то бдительные ветераны, этим все шпионы ЦРУ мерещатся. В мусорных ящиках при дворах теперь что найдешь? Люди сами все жрут, один целлофан выбрасывают, — зло говорил бомж. — На черта мне такой капитализм, лучше был социализм.

— Колбаса дешевая, — с издевкой заметил солдат.

— И колбаса, и многое другое. Возьми огороды. Можно было поехать за город, накопать картошки или там надергать морковки. Опять же сады. Колхозники перешли на цитрусовые, в яблоках отпала нужда — рви сколько хочешь. А теперь? Готовы тебя застрелить за одну морковку. Вон старого бомжа в Зеленом и стрельнули. За две луковицы отдал свою никчемную жизнь. Не отдал на войне за родину, так за две луковицы отдал. Нет, нашему брату при социализме лучше.

— Наверно, при социализме и бомжей не было. Не разрешалось.

— Не разрешалось, ага. Даже нищих вывели. Запретили, и все. Порядок был.

— Но некоторым и при капитализме неплохо, — сказал солдат. — Вон сколько коттеджей отгрохали. Опять же иномарки...

— Отгрохали, да. Жулье разное. Что они — заработали на те коттеджи? Или иномарки? Наворовали и пользуются, ничего не боятся. Потому что такая власть. Знаешь, я не стерпел как-то. В Минске. Вижу, во дворе двое поднимают капот новенького «БМВ», — такой, знаешь, блестит, как зеркало, последней модели. И начинают разбираться: где шрус, где турбонаддув, где карбюратор. А разбираются слабо, все по немецкой инструкции. Я подошел хоть мельком взглянуть, как там в движке. Всю жизнь бараклом занимался, а на такое чудо не пришлось и глянуть. Говорю, позвольте, мужики, поинтересоваться, я же авто-техник по специальности. Один поднимает стриженую голову,

хватает гаечный ключ, наверно 28 на 30, да как гаркнет: прочь отседова, бомж вонючий! Ну я им показал бомжа вонючего, я им выдал! Во дворе куча пенсионеров собралась и, знаешь, подержали меня...

— Поддержали?

— Точно. Один говорит: ночью им колеса проткнуть надо, чтоб знали. Но это напрасно. У такого красавца колеса протыкать рука не поднимется. Пусть ездит. Но его устройства я уже не увижу.

— Кто ж виноват? — задумчиво произнес солдат.

— Конечно, сам виноват, — согласился бомж и перевел разговор: — Ну как там наши жабы? Еще шевелятся?

К тому времени они создали некоторый запас, — пойманных в болоте лягушек посадили в вырытую на берегу ямку, напустили в нее воды, пусть лягушки чувствуют себя бодрее. А чтобы не выбрались и не разбежались, бомж соорудил им сверху решетку из тонких прутьев.

Все светлое время дня он пропадал на болоте. Вблизи лягушек скоро не стало, — то ли он их переловил, то ли, почуяв опасность, те перебрались в другой конец болота. Часто лазить в топь бомж остерегался, а главное — там стали попадаться странноватые лягушки, мутанты, что ли? Несколько раз он ловил экземпляры с двумя парами задних лапок и сперва даже порадовался: больше будет съестного. Но потом побросал всех в воду — неизвестно, что ожидать от этого съестного? Другой раз ему попались небольшие лягушата с неестественно скособоченной головой, одна половина которой превосходила по размеру вторую. Этих также пришлось выбраковать. За последнее время бомж приобрел определенные знания о лягушках, их повадках и нравах, самодовольно хвастался, что разбирается в них не хуже городского профессора. И в самом деле — столько времени провел в болоте наедине с лягушками. Порой его только удивляло, что те никогда не квакали и вообще не издавали никаких звуков, будто утратили свой лягушачий голос. Но различных чудес природы и без лягушек хватало, наверно, не все их мог объяснить и настоящий профессор.

Погода в общем благоприятствовала лесному житью. С утра по реке плыли негустые туманы, на траву выпадала роса. В полдень становилось жарко, и солдат перебирался с берега под сосны. На солнце он чувствовал себя неважно: кружилась голова, временами мутилось в глазах, и он переставал видеть вдали. Но это — от голода, от длительного недоедания, думал парень. О

худшем не хотел думать. Воспитывался оптимистом, особенно в школе, да и в армии тоже. Так полагалось. Человек должен верить только в хорошее и в еще лучшее.

Невесело размышляя о разном, солдат с обрыва наблюдал за костром, который едва заметно дымил, храня в себе ненужный пока огонь. Задумавшись, он не сразу заметил, как костерок вдруг взметнул пеплом, сильно задымил, даже заискрился под сильным порывом ветра. Взглянув на небо, парень испугался: из-за бора надвигалась сизая, с завернутыми краями туча; глухо пророкотал дальний гром.

На случай дождя у бомжа была сложена неширокая печурка в обрыве, где хранилось несколько сухих головешек. Обжигая руки, солдат принялся переносить туда мелкие головешки с огнем, совать их в печурку. Но не успел. С неба вдруг обрушился ливень, на прибрежном песке заплясали дождевые пузыри, река задымилась под множеством струй. Костер сразу осел и потух. Уже промокнув в своем бушлате, солдат бросился к печурке, чтобы спасти принесенные туда головешки, но опоздал — с обрыва на печурку обрушился дождевой поток, залил все. Парень в растерянности опустил руки, да так и остался стоять под дождем.

Вскоре с болота притащился бомж, также промокший до нитки, но с кучей лягушек. Тот сразу понял, что случилось, и впервые матерно выругался.

— Что теперь? Сырыми их жрать?..

Он бросил лягушек наземь, и те неторопливо поскакали под дождем в разные стороны. Бомж подошел к размытой печурке и стоял, сердито поглядывая на солдата, который чувствовал себя виноватым. Но что он мог сделать в такой ливень? Бомжу все стало ясно без слов. Вконец расстроенные, они взобрались на обрыв и встали под крайней суковатой сосной. Оба молчали, понуро наблюдая за бушующими водяными потоками. Нескоро еще ливень начал стихать, лениво морося мелким дождем. От обычно бодрого настроения бомжа почти ничего не осталось.

— Что-то мне сегодня, — начал он упавшим голосом, опускаясь на мокрую траву под сосной. — В груди сдавило, не продохнуть...

Солдат насторожился, дожидаясь, что бомж объяснит, что же произошло, но тот умолк. Недолго постояв рядом, солдат поглядел в морозящее небо и пошел на обрыв. Хорониться от дождя уже не имело смысла, и он спрыгнул на берег.

Положение их ухудшалось. Вроде появилась надежда, нашли способ не умереть с голоду, и на тебе — этот внезапный ливень... Как им теперь без огня? Да и бомж... Не заболел ли? А недавно похвалялся: закаленный организм, никакая радиация не берет. Нет, пожалуй, перед атомной чумой никто не устоит. Все дело в сроках.

Так что же, черт возьми, им делать?

Прежде во многом, что касается зоны, солдат полагался на бомжа, человека более здесь опытного и знающего. Но вот выяснилось, что и бомж не все может и не все знает. Кое-что надо постигать самому. Если не поздно.

Между тем надвигалась сырая промозглая ночь, следовало подумать, как и где ночевать. В норе-землянке бомжа все обвалилось, лезть туда было невозможно. Немного подождав, пока утихнет дождь, они начали устраиваться на обрыве. Недалеко в лесу солдат наломал мокрых еловых ветвей, колючий ворох которых принес к обрыву. Вдвоем с бомжом они ровно разложили их на мокрой земле под крайней сосной, и бомж с трудом отдышался.

— Как-нибудь, солдат, — обнадеживающе сказал он. — Главное, не падать духом...

Похоже, падать духом он не собирался, по-прежнему цеплялся за какую-то призрачную надежду. Впрочем, так, видимо, и лучше, подумал солдат. Чем стенать и киснуть, лучше делать вид, что худшее не наступило. Еще наступит...

Но как жить с такой перспективой?

Наверно, надо бы ему родиться с другим характером. Просто легче ко всему относиться. Как бомж, которому все нипочем. Если бы он сдержался и там, в казарме, сумел пережить стыд, как это сделал его земляк Петюхов, наверно, не случилось бы того, что загнало его в западню.

Относиться ко всему иначе или вообще никак не относиться? Все-таки он человек, а у человека должно быть такое, чем поступиться он не может. Нет у него на это ни прав, ни возможностей.

Вот он и не поступился. Ну а чего добился?

Добился того, что его физическое существование оказалось под угрозой. Погибнет он — исчезнет и сама способность реагировать на все радости и печали жизни, исчезнут все проблемы.

Словом, угодил в волчью яму. Сколько куда ни прыгай — не выберешься.

Еще не совсем стемнело, божж улегся на колючую еловую постель, подобрал мокрые ноги.

— А ты что? — сказал он. — Иди ложись. Вдвоем теплее будет.

Солдат еще долго и молча сидел рядом, думал. Когда совсем стало темно, пристроился на лапнике за спиной божжа. Стал вроде согреться и уснул...

Божж лежал тихо, стараясь лишний раз не ворочаться, не тревожить парня. Сна у него не было, чувствовал он себя скверно, впрочем, не первый уже день. Сначала думал, что простудился на болоте, хотя на простуду его состояние мало похоже. К тому же полагал, что невосприимчив к простуде — давно не кашлял и даже забыл, когда последний раз болел гриппом. Теперь же такое ощущение, будто слиплось и болит правое легкое. Порой болело так, что невозможно было вздохнуть, и он обходился мелкими частыми вдохами. Даже небольшое усилие давалось ему с трудом. С трудом он управлялся и на рыбалке с длинным удилищем, не легче было нагибаться за шустрыми лягушками на болоте. Хорошо, что поначалу их там было много.

После полуночи, кажется, уснул. Но, как и все последние ночи, спал мало и скоро проснулся, лежал, вслушиваясь в лесной шум. Таинственные звуки ночного леса его давно не тревожили, он ничего не боялся ни в лесу, ни в городе. И даже тут, в зоне, его ничто не могло испугать. За спиной тихо посапывал солдат, от него шло слабое, ровное тепло, оно успокаивало. Все же вдвоем лучше, чем одному, думал божж, даже с дезертиром, а может, и с убийцей. Все-таки он, пожилой, нуждался в том, чтобы рядом был молодой. Со стариком интереснее, но молодой обнадеживает, самого делает моложе. Даже такого закоренелого божжа, как он.

Впрочем, он тоже не всегда был божжом, когда-то имел собственное имя, фамилию и даже носил на плечах погоны. Служил офицером — заместителем командира по технической части, зампотехом — на языке военных. Последние пять лет его службы проходили в далеком приполярном гарнизоне, где он жил с женой, заведующей офицерской столовой, и пятилетним сыном Дениской.

Далеко не каждый офицер способен был выдержать здесь три, четыре, а то и пять лет изоляции от страны, пока дожидался замены. Снежная ночь без дня (или день без ночи, что одно и то же), леденящая стужа, гнетущее чувство заброшенности на краю света многих приводили в состояние хронического кон-

фликта с начальством, семьей, нередко — с самим собой, что в таких случаях кончалось выстрелом в висок. Военные невольно искали отдушину и зачастую находили ее в бутылке. Или чаще всего — в бензиновой бочке, в которой «Военторг» завозил на Север 95-градусный спирт. Этот бочковый напиток сильно отдавал бензином, но из-за ржавчины обрел вполне благородный цвет коньяка и в течение полярной ночи потреблялся весь без остатка. Когда же его не хватало, в местной лавке резко возрастал спрос на одеколон, лосьоны, различную бытовую химию.

Зампотех никогда даже во сне не видел свое скорое божьеское будущее, служил, как все, — до поздней ночи крутился на работе, пил не больше других, старался не очень конфликтовать с начальством. Не конфликтовать было невозможно, этого не поняли бы ни сослуживцы-товарищи, ни подчиненные, ни само начальство. Двенадцать и более часов, с давно помороженными руками, в боксах и парках возле настылой, заиндеветшей, вечно неисправной техники, на стуже и сквозняках, в постоянных стычках с начальством — своим и проверяющим — все это выматывало силы и нервы. Единственным спасением было расслабиться, выпить за дружеской беседой с другом, восстановить нервные силы, чтобы назавтра их снова растратить в тех же самых боксах и новых стычках.

Так продолжалось несколько лет, наверно, все-таки он дождался бы запоздалой замены, если бы однажды, в самый пик полярной ночи, в их гарнизон не прилетел новый ракетный командующий. Генерал только что был назначен на высокую должность и проявил железную решимость навести порядок в самом стратегическом роде войск. Устроив двухдневный разгон в подразделениях, сняв с работы двух командиров и трех их заместителей, генерал отправился на ближайший — за 250 километров аэродром стратегических бомбардировщиков. Как большой начальник он не мог ездить на каком-нибудь штатном армейском «УАЗе» и прихватил с собой в самолете специальный правительственный «ЗИМ», который его и подвел. А заодно оборвал и без того малоуспешную карьеру автомобильного зампотеха.

Впрочем, давно все это было, за много лет божь обо всем передумал и многое переосмыслил, не держал застаревшей обиды на строгого генерала, который, по слухам, доживал век на подмосковной даче. Божь понимал: сам виноват, надлежало быть осторожнее, усерднее, осмотрительнее. Но как уберечься от всего, если самый близкий тебе человек — жена только и

караулила, чтобы где-нибудь подловить его, подставить начальству, похоже, находя в этом свое мстительное женское удовлетворение. Конечно, у нее были основания, он не очень баловал себя трезвостью. В тот раз после грозного генеральского разбора в клубе части, когда командующий уже выехал за проходную и все с облегчением вздохнули, они с другом хорошенько поддали в аккумуляторной и он, притащившись домой, завалился спать. Накануне ночью спал всего два часа после суматошного предпрверочного аврала в автопарке и теперь заснул как убитый. А тут жена толкает в плечо — прибежал дежурный, передает приказ командира полка: срочно выехать на двадцать седьмой километр, где застрял командующий. Дежурные механики уже ездили, не могут понять, в чем дело, — двигатель не запускается. Что было делать сонному, да еще не трезвому зампотеху? Обложил матом жену и натянул полушубок. Машину он довольно скоро наладил (забарахлила цепь высокого напряжения), и она завелась. Но пока копался в двигателе, опытный глаз командующего, наверно, что-то заметил. Выяснил его фамилию и кивнул адъютанту: запиши. Зампотех подумал: для благодарности в приказе и даже скромно порадовался. Приказ о результатах высокой проверки пришел действительно скоро, но к нему был приложен другой — об увольнении из кадров группы офицеров, не справившихся с занимаемой должностью, среди которых значилась и его фамилия. И это — за два года до выслуги с пенсией, с неладом в семье, при острой нехватке жилплощади в гарнизоне, невозможности найти там какую-либо работу.

А тут и совсем разбушевалась жена, которая вообще с трудом терпела его, выпивоху в погонах. Где уж было ей смириться с ним без погонов. Полгода добивалась развода, а разведясь при содействии партбюро, тут же расписалась с прапорщиком, который был на два года моложе ее и членом того же партийного бюро. Недавний зампотех бросил на стол в партбюро свой партбилет и дико запил. Потом, когда денег не стало, поехал куда-то со случайным собутыльником, в каком-то северном городишке устроился инженером местного автотреста, где год спустя его понизили до бригадира механиков. Затем несколько месяцев работал рядовым водителем, пока бдительные ребята из ГАИ не отобрали права. Наверно, самое время было одуматься, сделать важные для жизни выводы. Но недавний зампотех ничего этого не сделал, а с горя еще больше запил. Тем более что жил без семьи, общаясь с множеством друзей-собутыльников, среди которых попадались неплохие, сердечные люди. Кто-то из этих не-

плохих и сердечных присватал его к тоже неплохой женщине, продавщице гастронома, и он по пьянке перешел к ней на квартиру. Как теперь он понимал, продавщица была терпеливой женщиной, искренне желавшей ему добра. Она никому на него не жаловалась, а только тихонько плакала, когда он не просыпал неделями. И ему стало ее по-настоящему жалко. Однажды она сказала, что, может, ему подлечиться, и он неожиданно для себя согласился. Три месяца позволял медикам истязать себя разной дрянью, не однажды переносил мучительную, искусственно вызванную рвоту. Но он действительно хотел вылечиться и начать правильную, трезвую жизнь. Медицинская комиссия, признав его здоровым, выдала соответствующую справку с печатями, которую он с некоторой даже гордостью предъявил продавщице. Та, обрадованная, приготовила обед с его любимым украинским борщом, постелила на стол новую скатерть. Однако не оказалось хлеба, и он с двадцатью пятью рублями в одной купюре побежал за ним в гастроном на соседней улице. Домой можно было возвращаться двумя путями — напрямик, через двор, мимо детского садика или за угол, по улице, мимо забегаловки с ласковым названием «Уралочка». Не подумав о последствиях, с буханкой под мышкой он пошел по улице и возле забегаловки наткнулся на давних друзей — одноглазого Юзя и Колю Волявку. Друзья удивились нежданной встрече, спросили, где был в то время, когда не виделись. Он объяснил: лечился. Ну и как? Да вот вылечился, справку имею. Друзья пришли в бурный восторг: надо обмыть справку! Не могу, дома жена ждет. Всех нас ждут дома жены, был ответ; впрочем, ты можешь не пить, мы за тебя выпьем. Как было отказать друзьям, и он зашел — «на минутку». Эта минутка, однако, непонятным образом растянулась, и он выбрался из «Уралочки» около полуночи — пьяным, без хлеба и без денег. Продавщица три дня проплакала, потом собрала его холостяцкое добро в старый чемодан и выставила на крыльцо. «Ты мне не муж, тем более не расписаны».

После были еще женщины, добрые и злые, некоторые искренне пытались обратить его на путь праведный. Но все без результата. Все напрасно. Бывший гвардии зампотех не мог победить в себе маленькую серую мышку, — мышка настойчиво и последовательно побеждала зампотеха. Он страдал, ругал себя за неудачи и срывы, но продолжал пить; остановиться уже не имел силы. Каждый день был на взводе — за свои, кое-где и кое-как заработанные, на халяву, в долг. Очутившись в зоне, в одиноче-

стве, без малейшей возможности захмелеть, он как-то унялся. Может, тому способствовала природа, а может, страх радиации, — кто знает. Или сам способ существования, из которого исключалась выпивка. Никто его тут не соблазнял и ничего не запрещал ему, он чувствовал себя свободным, зависящим лишь от собственной воли. Свобода, вкус к которой он изрядно развил за последние годы, словно наркотик, влекла его к еще большей свободе. Кажется, здесь она стала абсолютной. И он, похоже, ожил. Если бы только не сбылись пророчества — об угрозе облучения, воздействии радионуклидов и их последствиях. Но, иногда рассуждал он, разве в этой жизни опасна лишь зона? И какая ему разница, отчего загнуться, когда придет его час? Хотелось бы надеяться, однако, что его час еще не настал, а когда настанет, он не очень-то и печалится. Не такой уж выдалась его жизнь, чтобы очень сожалеть о ней.

Ранней весной наряд милиции выкурил их из пустой, заброшенной дачи, где он с еще одним забудыгой кантовались зимой. Вдобавок прокуратура повесила на них похищение имущества, которого они и не видели, потому как дачу обокрали до них. Именно тогда он и решил: в зону! Наверно, другого для него места на земле не осталось; опять же в зоне вряд ли его будут искать, и он проживет там в покое сколько даст Бог. Его напарник, бывший инструктор райкома, сказал, что в зоне или сразу откинешь копыта, или закалишься, как сталь. Напарник знал, он происходил из района, который оказался в зоне. Правда, поехать туда не захотел. Какие-то были на то причины. У него же никаких причин не было, и поехал он, как когда-то ехали осваивать целину или строить гидростанции. Терять ему было нечего. Денег он, конечно, не имел, чем питаться в зоне, инструктор не объяснил. Но в его пропотелой шапке с летней поры торчал ржавый рыбный крючок, который его и выручил. Уж как он берег тот крючок... А вообще возле реки летом жить было можно, никто его тут не тревожил, за два месяца он не встретил в лесу ни одного человека. Беглый солдат стал первым, кто с ним поздоровался, и он был рад парню. Все-таки человек не должен жить в одиночестве, даже волк один не живет. Только бы не подвело здоровье.

Все долгие годы его жизни бомжом он чувствовал себя неплохо, никогда не болел даже на Севере. Правда, там хорошо пил — и не какую-нибудь бормо-туху — чистейший девяностопятиградусный. А тут что выпьешь? Пожалуй, в этом причина

его неожиданной немочи, а вовсе не в радиации, решил он наконец и почти успокоился.

Утром, как только рассвело, на лапнике заворчался солдат. Сам он продолжал лежать, не имея ни сил, ни желания встать и даже разговором нарушить покой. Не раскрывая глаз, слышал, как солдат поднялся, недолго посидев, надел мокрый бушлат.

— Пойду доставать огонь, — сказал парень.

Бомж промолчал. Намерение солдата вопреки ожиданию не вызвало у него радости, — огонь, к удивлению, перестал занимать его. Со вчерашнего дня он чувствовал себя все хуже и хуже, каждый вдох отдавался глубокой болью в груди.

— И куда пойдешь? — напрягшись, спросил бомж.

— На хутор. За речкой.

— За зоной?

— За зоной.

Солдат обулся, встал, сделал свое дело поблизости. Но не уходил. И бомж, набрав в грудь побольше воздуха, сказал:

— Может, и не стоит возвращаться? Сюда...

— А куда же? — повернулся к нему солдат. — Куда же еще?

— Ну мало ли куда. Свет большой...

— Свет большой, а для нас места мало. Может, и нигде нет.

— Для нас нет, — согласился бомж, едва сдерживаясь, чтоб не заплакать. Слезы подступили у него слишком близко, даже зашекотало в носу.

Солдат тем временем спрыгнул с обрыва, и бомж окликнул его:

— Слушай! Ты это... Может, чекушечку? Если можно...

— Что?

— Ну это... Выпить... — слабым голосом пояснил бомж.

— Еще чего! — И солдат быстро пошагал к берегу.

Путь свой сюда солдат в общем помнил, он пролегал вдоль речки. Отсюда километров пять было до брода, а там полем до хутора. Заплутаться он не должен, тем более днем. Только бы не наскочить на людей или милицию. Главное — за речкой перейти гравийку-шоссе, по которой наверняка ездят патрули, беспокойно рассуждал солдат. Все-таки как бы боязно ни было, а приходилось рисковать, потому что без огня жить невозможно. А еще парень надеялся подкрепиться — поесть. Прошлый раз дед кормил его картошкой с простоквашей, был даже хлеб. Он долго потом сожалел, что съел всего один ломоть, на столе осталась краяха. Сваренная в печи картошка с пригарками вспо-

миналась ему не одну голодную ночь. Может, повезет и он поест вдоволь. От пуза, как говорили в казарме. К лягушкам он так и не преодолел брезгливости, ел их, разве чтобы не умереть с голоду. Ничто его так не угнетало, как голод. Прежде никогда не думал, что чувство голода может быть таким неотвязным, таким угнетающим. Даже тогда, когда он пытался убежать в деревню к бабушке и два дня просидел в заброшенном сарае без воды и пищи. Особенно есть тогда и не хотелось — было страшно, что найдут. Его и нашли. Девчонки из соседнего двора подсказали, и милиция взяла на рассвете сонного. Потом было отделение, какая-то девушка в милицейской форме чего-то от него добивалась. Очень стыдно было возвращаться к мачехе, и он еще день или больше не ел.

Шел по стежкам, кое-где сохранившимся над речкой, но заросшим ольшаником и крапивой, — в таких местах приходилось сворачивать в обход или спрямлять путь. Иногда попадались нетронутые лужайки с высокой, до колена, травой, которая звучно шорхала по голенишам его сапог. Людей нигде не было. Да, наверно, и не могло быть, — здесь начиналась та проклятая зона, которой все боялись. Он тоже боялся. Но то прежнее пугающее чувство, с которым он шел сюда, со временем притупилось. Похоже, стал привыкать к опасности. Порой был готов даже смириться с ней. Может, это и хорошо. А может, и нет.

Лишь бы повезло на хуторе, думал солдат, чтоб не пришлось встретить там кого из чужих, а уж дед должен ему помочь. Все-таки он здорово ему помог в прошлый раз, дал приют на неделю. Да и он уважил старика — ушел, когда нагрянула милиция. Так что дед оказался вроде бы причастным к его преступлению и, возможно, по закону подлежал ответственности. Интересно, угрожала ли бомжу такая ответственность? Пожалуй, да. Все-таки солдат поведал ему обо всем, и бомж обязан был донести. Во всяком разе, не укрывать заведомого преступника. Бомж, однако, был как бы выше закона и вряд ли помышлял о доносе. По этой части солдат был спокоен. Чувствовал, что бомж не предаст. Почему он так чувствовал, — кто знает. Наверно, чувства не подотчетны разуму.

Одно было определено — за это горькое время у солдата не нашлось более близких людей, чем хуторянин-дед и бездомный бродяга-бомж. Несомненно, теперь они уже связаны одной бедой и, если что, их настигнет одна расплата. Имя ей все то же — зона.

А может, плюнуть на все и мотать куда подальше, вдруг не в лад со своим настроением подумал солдат.

Только куда?

Так рассуждая, он шел краем бора, пересек невысокий лесистый пригорок. Стало тепло, наконец он согрелся после вчерашнего ливня и промозглой ночи, бушлат его почти уже высох. Лес, как всегда, умиротворял душу. Все здесь было мило, и солдат подумал, что, может, это в генах сказывается давняя любовь предков его к лесу. Или наоборот: леса — к его давним предкам. Вдруг рассеянный лесной сумрак разом оборвался: перед ним предстал недалекий пустой прогал, ярко освещенный незатененным солнечным светом. На огромном, в несколько гектаров лесном пространстве стояли голые сухие сосны с порыжевшими сучьями. Подлеска здесь никакого не было. Все очень смахивало на недавнее пожарище, хотя и без видимых следов огня. Значит, это оттуда, из Чернобыля, не сразу сообразил солдат. Наверно, повеяло от реактора или хорошенько сыпануло stronцием или еще какой химией, и лес не выдержал. Лес умер стоя. На краю прогала несколько молодых осинок робко зеленели чахлой листвой, других примет жизни не было.

В этот неживой лес заходить было страшно, и солдат повернул в обход. Понадобилось сделать немалый крюк, чтобы обойти обезображенную катастрофой зону, и, перейдя небольшое с ольшаником болотце, он наконец снова выбрался к речке.

Нескоро отыскал и брод — давний переезд через реку, к которому с обеих сторон вели заросшие репейником автомобильные колеи, доверху налитые стоячей черной водой. Солдат снял сапоги и, осклизаясь в грязи, босыми пятками перешел на другой берег. Где-то здесь оканчивалась атомная зона и могли встретиться люди. Однако до близкой гравийки никто ему не попался, он перебежал непыльную после дождя дорогу и пошел полем.

Заброшенное после чернобыльского взрыва поле густо заросло высокими, в пояс, сорняками, остатками прежних посевов и еще неизвестно чем. Участки низкорослой ржи чередовались с порослями овса, какого-то буйного разнотравья, репья, из которого местами торчали хилые стебли кукурузы; кое-где начинал ярко желтеть люпин. Все это не первый год роскошествовало здесь без ухода и надобности; злаки постепенно дичали и вырождались — люди давно потеряли интерес к этой земле.

Как только среди равнинной дали показалась шиферная крыша, хутор, солдат заволновался. В прошлый раз, на исходе

весны, немало побродив по лесам и перелескам, он зашел туда, потому что, вконец обессилив от голода, дальше идти не мог. Он уже знал, что усадьба деда только казалась хутором, а на самом деле была крайней в деревне хатой. Но — пока была деревня. Теперь от деревни почти ничего не осталось, кроме нескольких одичавших яблонь в бывших садках, — оставленные жителями дома разрушены, растасканы на дрова, сожжены. Он тогда обошел всю мертвую деревню и лишь на последнем дворе нашел человека. Это был еще бодрый, жилистый старик, который пытался тут хозяйничать: раздобыл лошадь, собрал кое-какой инвентарь, заимел корову и даже годовалую телку. Возле усадьбы распростерся немалый участок обработанной земли, там что-то росло. Похоже, дед чувствовал себя в силе, не боялся атома, и его пример внушил солдату надежду.

Краем картофельной нивы солдат торопливо шагал по направлению к хутору. Картофельные борозды были аккуратно окучены и сочно зеленели ботвой, уже зацветающей крохотными бело-синими цветками. Пожалуй, вырастет картошечка, похозяйски подумал парень.

Он еще не дошел до усадьбы, как что-то ему там не понравилось. Что-то было там не так: почему-то исчезли ворота, с поля виден был распахнутый двор, похоже, пустой. Ни лошади, ни коровы с телкой, которые раньше паслись поблизости, не видно. Не отзывался пронзительным лаем и Кудлатик. Сдерживая беспокойство, солдат осторожно вошел во двор. Старый Карп молча сидел на крыльце, нисколько не удивившись его приходу, не ответил на приветствие.

— Что у вас случилось? — спросил солдат, уже чувствуя, что случилось скверное.

Дед повел потухшими, невидящими глазами и молча развел руками. Говорить ему, судя по всему, было трудно.

— Но что? Что такое?

— Да вот! — промолвил наконец хозяин. — Разбурили, разграбили все! Весь мой труд...

Показалось, он даже заплакал — обросшее седой щетиной лицо горестно сморщилось, дед громко высморкался на траву.

— Кто?

— А кто ж их знает — кто. Приехали с фурой...

— С фурой?

— Ну этой — межгородние перевозки...

— Ночью?

— Зачем ночью? Днем. Перед вечером. Погрузили коня, корову с телушкой. Выгребли збажину, ячменя трохи было... Перевернули все вверх дном — валюту шукали.

— Валюту?

— Ну.

— Что за люди? Свои, приезжие? — не мог чего-то понять солдат.

— Четверо. Справных таких. В скуранках, с наганом. Кудлатика застрелили.

— Кудлатика?

— Вон за хлевом лежит. Закопать надо.

Постепенно старик успокаивался, рукавом заношенной рубахи вытер слезящиеся глаза, трудно поднялся с крыльца. Согбенный переживаниями, он вроде стал ниже ростом, чем казался прежде, исхудавшим и постаревшим.

— И что сказали? — добивался солдат. — Может, искали кого?

— Не спрашивали.

— Так, может, в милицию надо? Заявление написать?

— Не. Сказали: заявишь в милицию — спалим. Да и милиция... Можя, она и навела этих, они же все — в хаврусе, — тихо, будто сам с собой, рассуждал старик, стоя посреди опустевшего двора. Двери в хату и сарай были раскрыты, на траве валялись сброшенные с петель ворота. Видно, старик все еще был в шоке от того, что здесь произошло. Солдат не знал, как утешить хозяина. Между тем шло время, он не мог тут долго оставаться и тихонько сказал:

— Мне бы поесть чего...

Дед, похоже, несколько притих в своем горе, видно, понял чужую беду — подумал о госте.

— Даже не ведаю, что... В печи другой день не палил. Чакай, можя, хлеба крыху засталося...

Он пошел в сени и скоро вынес оттуда неровно обломанный кусок хлеба. Хороший, однако, кусок! Солдат сразу схватил его. Глотал, кажется, не жуя. Дед снова опустился на ступеньку крыльца.

— Обжился, называется. На восьмом десятке. Думав, хоть поздно, но дочакався своей поры. А то все неяк было: то коллективизация, то война, то подъем сельской гаспадарки. А тут Чернобыль. Казали, все вреднае — и молоко, и продукты. Оно, може, кому и вредное, а мне ничего. Займел гаспадарку. Один. Кишки рвал. Но никто не вредил. Мусить, боялись сюда поты-

каться. А я не боялся, работал. День и ночь. Это раньше задарма, а тут, что зрабив, твое. Что посеяв — собрав. Шкада, Чернобыль гэты, чтоб он пропав. Кто его выдумав на нашу голову?

— Ученые выдумали, — тихо вставил солдат.

— Чтоб яны сказилися, гэтыя ученыея. Хай бы лучше жнярку добрую придумали, чтоб не мучился с этой, — кивнул он на полуразобранную жнейку, стоявшую в углу двора.

— Что им жнеярка! Им надо ракеты.

— Ракеты им треба. Теперь вон дамавин не наберешься. Кажуть, в Минску уже в целлофане хоронять, правда это? А я себе зимой из сухой доски сбил, — нидрэнная домовина вышла. Так забрали! Сказали, самим понадобится. Чтоб им так умереть понадобилось...

Больно и горько было все это слушать солдату, но слов для утешения не находилось — не меньше болело свое. Он сжевал полкуска хлеба и не наелся, остаток засунул в карман.

— Дед, мне еще спичек надо. Может, имеешь?

— Нет, спичек не дам. У самого полкоробки осталось. Коли треба, могу «катюшу» дать.

— Какую «катюшу»?

Дед опять молча прошел в сени, принес небольшой коричневый мешочек, развязал и вынул «катюшу» — кусок кремня, обломок напильника и какой-то лоскут.

— Во, ударить, искра выскочит, затлеет...

— Понятно. И еще... У меня там напарник приболел. Может, чем поддержать? — виновато попросил солдат.

— Вот как! Приболел? — насторожился дед. — Атом?

— Кто знает. Но есть нечего.

Протяжно вздохнув, дед повернулся, будто с намерением куда-то пойти, но остановился.

— Что ж тебе дать? Все выгребли. Бульбочки с мешок осталось. Сказали: мы добрые, это тебе, чтоб не умер. Бери половину.

— Не донесу.

— Ну ведерко.

Они зашли в прохладную дедову пристройку, где хозяин, тяжело дыша, выбрал из какого-то ящика прошлогоднюю, с длинными белыми ростками картошку. Набралось небольшое ведерко, правда ржавое и погнутое. Похоже, не без сожаления он протянул его солдату:

— Во, болей нет. Коли б ты раней, все было. Так забрали. Не побоялись, что радиация.

— И правда — с радиацией? — обеспокоился солдат.

— Кто его ведае. Я ел — ничего, не умер, и внукам давал, как приезжали. Ну а эти сами есть не будут — на продаж повезуть, в Москву. Теперь же все в Москву везуть.

Солдат торопливо простился с дедом и с ведром в руке быстро пошел в поле. Несколько раз оглянулся, но деда не было видно. На краю пустынного поля осталась ограбленная усадьба с несколькими деревцами в садике; солдат чувствовал, что больше не придет туда — хорошо бы сейчас унести ноги. «Как партизан, как партизан», — отстраненно думал он о себе, вспомнив какой-то фильм, что смотрел в детстве. Там партизаны несли в лес овцу, не ведро картошки. Действительно, времена изменились по сравнению с войной. Партизаны хотя бы имели винтовки...

На ходу время от времени он совал руку в карман бушлата, отщипывал по кусочку хлеба. И всякий раз повторял вслух: остальное — бомжу. Но не мог удержаться. Голод его не убывал, кажется, еще и усиливался; хлеба хотелось еще и еще. Солдат выругал себя за несдержанность и утешился мыслью, что картошку принесет всю. Они разожгут костер и напекут ее вволю, хватит обоим, мягкой, горячей, с подпалинками по бокам...

Солнце тем временем взобралось в зенит и здорово припекало спину, голову тоже. Солдат снял шапку, сунул ее под дужку ведра, — так стало прохладнее и не было видно, что он несет. Он благополучно перешел затравенелое поле, снова вышел к обросшим лопухами колеям брода. Недолго передохнул в тени под кустом, разулся. Переходил брод не спеша, с наслаждением побултыхал босыми ногами в холодной воде. На другом берегу стал обуваться. И тогда непонятная сила заставила его взглянуть под недалеко подступившие к броду ели. Сперва он ничего там не заметил, но, взглянув во второй раз, сжался в испуге. В двадцати шагах между елей стоял худой, будто облезлый, с белыми проплешинами по бокам волк. Что это волк, а не собака, он понял наверняка, — характерная, настороженная поза зверя, неожиданно встретившего здесь человека, опущенный к земле хвост. Но в нем не было какого-либо признака агрессивности, — скорее немощь и бессилие. Не отрывая от волка глаз, солдат встал, подхватил ведро. Волк, так же не отрываясь, пристально следил за человеком, и в его поведении по-прежнему не замечалось ни вражды, ни испуга. Может, как и человек, он был голоден, а может, болен и ждал помощи? А вдруг бешеный? —

и солдат сперва медленно, а потом все быстрее пошел от реки. Волк остался под елками.

То и дело оглядываясь, солдат быстро шагал лесной опушкой. Между сосен сзади еще была заметна серевшая вдали тень, потом, заслоненная деревьями и подлеском, она временами исчезала. А затем и вовсе пропала из виду.

Солдату стало не по себе, перед глазами поплыл туман, и он расслабленно опустился наземь. Какое-то время не мог понять, что случилось, но чувствовал себя скверно — кружилась голова, подташнивало. Неожиданная лесная встреча отозвалась новой тревогой. Нет, пожалуй, надеяться не на что. Вот, даже и волк. Если такое случилось с волком, что же ожидает людей...

Бомж лежал на лапнике, кутаясь в свою не просохшую со вчерашнего дня телогрейку. Чувствовал он себя больным, начинало знобить. Силы исчезли, и он не мог понять, что с ним происходит.

Потом какое-то время пробыл в забытии — спал или, может, дремал — не понять. Проснулся в жару — не хватало воздуха, он задыхался, было душно, лицо и руки покрылись испариной. И очень хотелось пить. Но вода в реке за обрывом, — как до нее добраться? Бомж лежал, боясь стронуться с места, потерял уверенность, что сможет снова заползти сюда.

Спустя недолгое время стало еще хуже — все внутри запылало огнем. Во рту высохло, язык превратился в наждак — не шевельнуть, слабость овладела всем телом. Но еще больше доминала жажда, и он мучительно соображал, как все-таки доползти до реки. Сейчас, сейчас, напрячься, встать, — мысленно убеждал он себя и не мог встать.

Когда совсем стало плохо, понял четко и ясно, что без воды он погибнет. Невероятным усилием заставил себя подняться на колени, сползти с обрыва. Тут, на угретом солнцем песке, стало и вовсе невыносимо. Шатаясь, сделал несколько шагов вниз и упал коленями в горячий песок. Далее полз — на четвереньках, через песок и траву, наконец добрался до воды.

Он пытался пить лежа, не обращая внимания, что грудь и локти погрузились в воду. Но вода оказалась совсем не такой, какой он жаждал, — теплая и мутная, она не утолила жажды и не принесла облегчения. Пролежав немало времени на берегу, понял, что надо вернуться. Под солнцем на такой жаре долго не продержаться...

Путь от берега вверх оказался и вовсе мучительным, божж прополз шагов десять и обессиленно распластался на песке. Дышать сделалось трудно, он задыхался и не мог понять, отчего. От солнца или, может, от жара внутри, — казалось, внутри пылал раскаленный костер. Все же с огромным усилием он дополз до обрыва. Надо было еще взобраться на него — под сосны, в тень. Но как?

Немного полежав, он поднялся на четвереньки, затем на ноги, оперся грудью на край обрыва и не удержался. Ноги подломились, обрыв косо поехал в сторону, и он сполз наземь.

На следующую попытку он решил нескоро. Следовало понять, что с ним происходит. Пожалуй, не надо было ему ползти к реке, терять последние силы. Облегчения не добился, а положение свое ухудшил. Как и в жизни. Думаешь что-нибудь сделать как лучше, а получается наоборот — еще хуже. Заползти в свою нору? Но там со вчерашнего дня все обрушилось, намокло, укрытия не было. Неужели он не одолеет этот полутораметровый обрыв, — обозлился божж на свою внезапную немощь. Неужто он так ослаб?

Новая попытка также не принесла успеха, — человек наваливался грудью на обрыв, шкрябая башмаками по усохшей, с корнями земле, а взобраться наверх не мог. И опять обессиленно оседал наземь. Но он неукротимо стремился в лес, под сосны, где, казалось, ждало его спасение...

После очередной попытки потерял сознание...

Придя в себя, не сразу понял, где он. Рядом была земляная стена обрыва, под ней лежала неширокая полоса тени, — солнце заходило за бор, и божж ощутил прохладу. И тогда он вспомнил солдата: когда же вернется солдат? Хотя вряд ли вернется. Зачем ему возвращаться на погибель в эту проклятую зону? Пусть идет в белый свет, может, найдет где подходящее место. Напрасно он его здесь держал, успокаивал и утешал, — надо было сразу прогнать. Отругать последними словами и прогнать дурака — куда лезешь! Так нет, посочувствовал и — погубил. Потому что вряд ли и он долго протянет, покаянно размышлял божж. Теперь ему стало понятно, почему партийный инструктор сюда не поехал, только расхваливал зону. Никого она не закаляет — она всех губит. Но что без толку обижаться на инструктора, который, может, выполнял свой партийный долг — агитировал за то, к чему самого не притянешь веревкой. Эти люди всегда так делали.

Он стал свободным человеком — бомжом. Что он с того получил, как распорядился своей свободой — иное дело. Его отец ни о какой свободе не имел понятия, всю жизнь вкалывал во имя процветания родины в Богом забытой сельской школе. А как умер, похоронить было некому. Хорошо неделю спустя соседка обнаружила мертвого. Сына, конечно, найти не могли, у покойника не было адреса, потому что сын не писал — не о чем было. Наверно, так же считали и остальные два сына, жившие неизвестно где и об отцовской смерти, возможно, до сих пор не узнавшие.

Нехороший он был по отношению к отцу, не лучший и к сыну, тому лобастенькому Дениске, которого некогда оставил в ракетном гарнизоне. Но если к родителю особенных сантиментов он никогда не испытывал, то за сына всегда болела душа: какой он? Где? Жив ли? Все собирался написать, съездить, но куда и на что? Да и бывшая жена, мать Дениски, разве могла ему ответить, — та лишь домогалась от него алиментов. А Дениски, может, уже нет и в живых, может, погиб где-нибудь в Афганистане, Анголе, Вьетнаме, в какой-нибудь из горячих точек. Да если откровенно, он страшился узнать горькую правду о сыне и жил, избегая какой-нибудь вести о нем. Ему навсегда хватило той горькой боли прощания, которую он испытал в памятный день своего отъезда.

Уехать был вынужден, рассчитывал сделать это тихо, в удобный момент, когда жены нет дома. Разведенные, они долго жили в одной квартире, в одной комнате и между ними — сынок, пятилетний Дениска. В тот день с утра жена отправилась в столовку, он, не очень трезвый после вчерашнего, побросал в сумку свое барахлишко, надел шинель со споротыми погонами. Дениска сразу заметил отцовские сборы и бросил игрушечный автомобильчик, с которым возился на полу. «Ты куда, папка?» — «Я скоро», — соврал отец, чтобы не будоражить сына. «Ты в магазин за шоколадкой? — допытывался мальчик. — Возьми и меня». — «Я не в магазин, я в другое место». «Возьми и меня в другое место», — будто предчувствуя что-то, набивался сын и стал торопливо надевать курточку. Что было ему делать? Строго прикрикнуть не хватало решимости, но и взять его он не мог. «Оставайся дома», — не очень строго приказал отец, и Дениска заплакал. Детская душа, наверно, почувствовала скверное, обмануть ее было нельзя. А он тогда и не подумал, что больше им не увидятся. Выскочил за дверь и набросил на пробой клямку. Замыкать не стал, продел в пробой дужку замка. В

комнате обиженно плакал Дениска. Этот плач звучал в его памяти все последующие годы. Иногда затихал, в другое время, внезапно возникнув из прошлого, звучал пронзительно до отчаяния.

Однако где же солдат? Почему не идет солдат?

Бомж уже готов был отказаться от своих великодушных мыслей — пусть солдат не возвращается, — теперь ему стало необходимо, чтобы он вернулся. Зачем? — не имел представления, вряд ли солдат мог чем-либо ему помочь. Но, может, принесет хотя бы глоток... Бомжу так хотелось глотнуть, — чувствовал, сразу бы легче стало. Как легче было всегда, когда выпивал. Дуррак он, что понадеялся, будто отвыкнет в зоне. От выпивки не отвыкают нигде...

Возможно, выпить — было самое лучшее в его безрадостной жизни, а от лучшего разве отказываются? Так жаль, что самые разумные мысли приходят непоправимо поздно.

Но где же солдат?

Непонятно почему он снова попробовал взобраться на обрыв, обрушил с него пласт земли, и все неудачно. Для чего он туда карабкался — кто знает. Но такова была его неосознанная воля — куда-то карабкаться. Запоздавшая, зряшная воля. Как и все запоздавшее, она не могла быть удачной. И он свалился под обрыв. Наверно, спасения ему уже не было, и подсознательно он чувствовал это. Но какая-то добрая или злая сила влекла его туда, на обрыв, к их недавнему лежбищу. И тогда он понял, что это — финальный зов его жизни. Умереть надлежало на своем ложе, в родном углу, на своей земле...

Но где его родной угол? Никакого угла у него давно уже не было. А может, не было никогда. Родился в одном краю, жил в другом, умирать притащился в третий. Мать-сыра земля была его родиной и станет его могилой.

После очередной попытки взобраться и очередной неудачи он вдруг почувствовал, как огнем полыхнуло в груди. Чем-то соленым наполнился рот. Сплюнул в песок, чувствуя, как во рту опять набегают влага. Не сразу понял, что пошла кровь — кровь из горла. Это его испугало, но только в первый момент. Наверно, так оно и должно быть, все в порядке вещей. Предыдущее было лишь подготовкой именно к такому концу.

Он лежал на боку под обрывом и, не выплевывая кровавые сгустки, лишь повернув голову, ждал. Кровь плыла на песок, и

крови было много. Он ждал, когда она вся иссякнет. Наверное, с ней иссякнет и жизнь.

Но, может, раньше придет солдат?..

Солдат был необходим ему — а для чего, он толком не знал. Что бы он поведал солдату? Вообще, поведать он мог о многом, но сейчас не знал, о чем именно. О чем в первую очередь? Разве проститься. Не с ним, этим неудачником-парнем, которого скрутит та же самая радиация, что скрутила его. Наверно, для прощания с жизнью. Какая бы она ни была, хорошая или плохая, но то была жизнь. Лучше и хуже ее ничего не бывает на свете.

И все-таки он хотел дождаться солдата. Может, тот принесет... Хотя бы для прощания. А так...

Что значило это непонятное — а так, — он уже не додумал. Его туманное, в провалах сознание угасало. Постепенно, трудно, будто из последних сил цепляясь за явь. Наконец угасло совсем...

Солдат нес картошку, он очень спешил. Небольшое ведерко отрывало руки, и он все перехватывал его за проволочную дужку — то в правую, то в левую руку. Неизвестно, или оно действительно стало таким тяжелым, или он очень ослаб в этой дороге? Время от времени останавливался под соснами, ставил ведерко наземь и недолго отдыхал, оглядываясь по сторонам. Но волка пока не видно было, волк за ним не бежал. Да и вряд ли он способен бежать, этот плешивый доходяга, успокаивал себя солдат. Но и человек терял силы, хотя и был молод. Он трудно дышал, весь взмок от пота, но бушлата не снимал. Снимал только шапку, когда отдыхал. Потом то надевал ее на потную голову, то снова клал на картошку в ведерко. И так и этак было тяжело и неудобно. Зимняя шапка мешала ему, но и бросать ее не хотелось. Неделю назад, когда возле реки он скинул шапку, бож строго прикрикнул: «Надень!» — «Зачем?» — «Не знаешь, зачем?» — ответил бож вопросом на вопрос. Солдат не знал, зачем, но шапку надел и больше ее не снимал. Может, шапка защищала голову?

Солнце уже склонилось над лесом и светило сбоку. Между сосен гуляли и переливались дымчатые отсветы косых лучей, полосатые тени стлались по мшистой земле; потрескивали сухие ветки под сапогами. Кое-где начали зацветать ягодники клюквы и брусники. Но ягод еще не было. Дождется ли он нынче ягод? — со шмящей грустью думал солдат.

Болото он обошел стороной, где-то остался и сухой рыжий лес. Продравшись сквозь чащобу мелколесья, вышел наконец к берегу речки. Отсюда уже недалеко до их стойбища, и он приспешил свой шаткий шаг. Хотелось как можно скорее...

Стежкой в ольшаниковых зарослях он вышел наконец на их бережок и удивился — бомжа нигде не было. Ни возле речки, ни на обрыве. Немного погодя он увидел его под обрывом и подумал, что бомж уснул. Но что-то его встревожило — слишком неестественна была поза спящего, — солдат бросил ведро и побежал. Еще издали в глаза ему бросился сгусток крови на песке, потом заметил кровь на плече телогрейки. Понял, что кровь шла изо рта. Бомж был мертв.

На удивление себе, солдат не испугался. Ощутил даже безразличность, потом удивление — зачем? Будто бомж так поступил с неким дурным намерением. Но тут же следом прорвалось чувство одиночества, покинутости. Он снова один. Сам с собой. Теперь весь картофель — его, вдруг не в лад с прежним настроением вспомнил солдат. И не надо делить остаток хлеба, который он приберег. Осторожно достав обкрошенный кусок из кармана, он тут же стал его есть. Хоть одна несомненная выгода от этой неожиданной смерти. Наверно, как на войне. Ветераны рассказывали, что чем меньше в роте оставалось живых, тем больше им доставалось пищи. Мертвые кормили живых... А выпить бомжу он так и не принес. И даже не спросил у деда. Было тягостно и печально...

После солдат сидел рядом с телом покойного, отдыхал и думал. Наверно, сперва надо притащить дров — на берегу после ливня их осталось немного... Устало поднявшись, он потащился в лес. Что-то собрал там поблизости и принес. Принялся разжигать костер. Он не умел пользоваться «катюшей» и посбивал пальцы, пока задымил лоскуток ткани. Далее так же было не легче — от дымного лоскута зажечь клочок мха. Он все раздувал и раздувал его, пока не закружилась голова, словно у пьяного. Немного отдохнул и опять стал раздувать.

Может, спустя час или больше вчерашний костерок ожил — в вечернее небо над речкой потянулся сизый хвост дыма. Солдат торопливо подложил больше топлива. Будет гореть. Главное сделано — они добыли огонь. Будь жив бомж, это стало бы большой радостью. Теперь же радость сокращалась наполовину. Такова арифметика.

Пока разгорался костер, солдат подошел к покойнику. Что делать? Поесть картошки и мотать отсюда? А как же бомж? И

мотать куда? Этот вопрос — куда? — словно проклятие, неотступно витал над ним. В него упирались все другие вопросы, и ни один из них не находил ответа. Может, ответов на них вообще не было? Не существовало в природе? — рассуждал солдат. Иначе бы он здесь не оказался, да и бомж тоже. Разные люди, они стали жертвами одной судьбы. Проклятая зона их уравнила.

Солнце совсем скрылось за бором. Весь лесной берег речки и ее луговая сторона с кустами потонули в тени, в которой мирно вился синеватый дымок костра. Безоблачное небо над лесом еще купалось в прощальном свете погожего дня. Наверно, там звучали счастливые гимны, которые не достигали земли. На земле воцарилась скорбь.

Наконец солдат закопал в угли десяток картофелин, старательно засыпал их пеплом. Пусть пекутся. А сам подошел к неподвижно скрюченному телу бомжа. Ни лопаты, ни даже большого ножа у него не было. Он взобрался на обрыв, выломал из орешника недлинную палку. Могила лучше бы выкопать на обрыве, но там дерн и сосновые корни. Парень едва мог пошевелиться от усталости. И он стал копать в песке, под обрывом, рядом с телом покойника. Тут было легче, он ковырял палкой, горстями выбрасывал песок. Не скоро получилась ямка — неровная, мелкая, мало похожая на могилу. Нескладная могила, как и нескладная жизнь бомжа. Какова жизнь, таковы и похороны, иначе не бывает. Так заведено в мире, что на похороны приходят люди, много людей. А вот ему пришлось хоронить — одному.

Но будет ли кому похоронить его самого?

Он не хотел жить неправильно, — хотел справедливо, по совести. Получилось наоборот. Так что же, ему теперь пропадать в его девятнадцать лет? Нет, он хотел жить. Хоть — как-нибудь... Но, по-видимому, и как-нибудь не получится...

Задумавшись, он не заметил, как рядом появилась птичка, маленькая, вертлявая трясогузка с длинным хвостиком. Невесть откуда взявшись, она беззаботно прыгала по песку. Что-то там склонула, оглянувшись на одинокого человека возле костра и вроде коротко пискнула.

— Плисочка! — прошептал он с неожиданной нежностью, сразу вспомнив слово, каким в бабушкиной деревне называли этих птичек. Но плиска тотчас вспорхнула и стремительно скрылась над речкой. Зачем она здесь, по чью душу? — встретился солдат, растроганный неожиданным появлением пичужки.

Тем временем, наверно, испеклась картошка.

Солдат выгреб из костра крайнюю картофелину, слегка отер ее о штаны и осторожно откусил. Но проглотить почему-то не смог — спазм перехватил горло. Погодя он попытался еще раз, но и вторая попытка оказалась напрасной. Наверно, что-то случилось с его горлом или желудком, перестали принимать пищу. Ощутил сильные позывы тошноты и не на шутку испугался. Сколько затем ни пытался, проглотить ни крошки не смог. А вскоре утратил и способность жевать. Началась жестокая рвота, казалось, будто выворачивает желудок и все внутренности. Низко склонившись, он сидел возле костра, потеряв интерес к картошке. Ждал, когда окончатся его муки. Но муки, похоже, только усиливались.

Так прошло немало времени, начал догорать костер. В темени наступившей ночи поодаль тускло блестело водяное пятно излучины. Рядом, слабо освещенное остатками огня, неподвижно лежало тело бомжа. Надо было подложить сушняка в огонь, но стало не до того. Солдату был безразличен огонь, которого еще недавно так домогался.

Однако, чуть совладав с немощью, он встал, поднял отяжелевшее тело покойника и свалил его в яму. Засыпать уже не успел — опять подкатила тошнота. Он лег рядом с ямой и впервые не испугался — умереть, может, было бы и лучше. Медленно затухал костерок, по краям пепелища в темноте еще шевелились-мелькали мелкие искорки. Потом и они угасли.

Очнулся глубокой ночью — ему становилось хуже. Только успел подняться на остывшем песке, как опять содрогнулся от рвоты. Рвать давно уже было нечем, но мучительные позывы тошноты продолжали сотрясать тело. Временами он то приподнимался на песке, то снова падал, лежал. Когда судороги ненадолго прекращались, вроде забывался, чтобы вскоре пробудиться снова и снова надрываться во рвоте. Казалось, уже давно опустел желудок, а нестерпимая горечь не переставая рвалась из горла. Он думал, что лучше умереть, чем так мучиться.

Под утро немного уснул...

Проснулся, когда рассвело, сел. Рвота вроде унялась, стало полегче. Посидев, принялся вытирать испачканный рвотой подбородок, бушлат. И тогда на пальцах обнаружил кровь, — как и вчера у бомжа. Из его рта шла кровь. Значит, и его судьба решена...

Но что делать? Он не хотел умирать...

Солдат поднялся и, шатаясь, побрел прочь. Ему надо было добраться до брода.

Наверно, новая цель прибавила сил. Шатко и неуверенно он одолел немалый отрезок пути по лесу. Но и выдохся окончательно, упал среди рябинового молодняка, долго лежал. Сознание его невнятно мерцало в тумане реальности, временами он уже не помнил, кто он и где он. Но все-таки заставил себя встать и идти. Ему надо было добраться до брода. Оттуда было недалеко до гравийки-шоссе...

— Лю-ю-ди, лю-ю-ди! — напрягался он в крике, но с его высохших губ слетал только шепот. Никто нигде не откликнулся, да никого поблизости и не было. Не было даже волка. В какую-то минуту он вспомнил вчерашнего доходягу... Где ты, волча, брат по несчастью? Или уже дошел?.. Наверно, как и все прочие надежды, и эта развеялась дымом...

Начала донимать жажда. Но река и болото остались позади, в бору воды не было. Он понимал это и терпел. Он шел. От дерева к дереву, от сосны к сосне. Однако все отчетливее понимал — не дойдет.

Неужели не дойдет в самом деле? Ему же только девятнадцать лет... Отчаяние придало парню силы. Шатко протопав десяток шагов, падал навзничь, лежал. Как же так получилось, почему? — мучил неотвязный вопрос. Вопрос без ответа. Кто погубил его молодость, а с ней и всю жизнь? А может, все предопределено судьбой и никто здесь не повинен...

Поднимаясь, он бросал короткие взгляды по сторонам — в надежде кого-либо увидеть. Крикнуть. Но людей не было. Не было и волка. Он остался совершенно один в этом торжественно страшном лесу.

Стало почему-то темно. Может, наступила ночь? Значит, он так и не дошел до спасительного брода, не выбрался из ямы. Тень навалилась на лес, на солдата, и он уже не помнил, в какую сторону идти. И идти ли вообще? Сил у него не осталось даже на то, чтобы подняться...

КАТАСТРОФА

Рассказ

Казак — так звали на улице и во дворе этого лишь бы во что одетого человека, наверно, за его спортивные с ярко-красными лампасами штаны, которые он носил вот уже который год подряд. Он не общался и не протестовал, потому что свое настоящее имя, похоже, он и сам забыл. Жизнь его была такая, что из памяти стерлось не только собственное имя, но и, можно сказать, вся незавидная биография. А тут еще он заболел и несколько дней пролежал в горячке. Хорошо еще, что нашлось где лежать — в темном уголке подвала под отопительной трубой. Думал, отдаст концы, так было плохо. Сегодня под утро приснился уж очень плохой сон — какое-то болото, змеи или чудовища, от которых он не мог освободиться. Конечно же, такой сон не обещал днем ничего хорошего, и Казак с отвратительным настроением выполз на холодный зимний двор.

Двор этого огромного, вдоль всей улицы вытянувшегося здания, которое называли «Брестская крепость» за его красный цвет, был Казаку хорошо знаком. Здесь он обитал целый год. Во всяком случае, каждую зиму, потому что летом, бывало, отлучался в пригороды ближе к дачам и «витаминам». Зимой же там было просторно и спокойно, но холодно и голодно. Поэтому городские бомжи перебирались зимой ближе к чердакам и подвалам, а главное — поближе к металлическим ящикам, установленным во дворах. Эти ящики кормили и одевали, и возле них каждый день крутились бомжи не только «Брестской крепости».

Всего здесь было двенадцать ящиков — ржавых, часто горевших, измятых, кривых, стоявших в ряд вдоль всего этого бесконечного двора. Днем они чем-то наполнялись (лишь бы чем), что-то вкусное там попадалось совсем редко, особенно в это голодное время... Но все же... Если рано утром поковырять палкой в их бумажно-целлофановых недрах, то можно было выта-

щить черствый кусок батона, подгнившую картофелину или банку с остатками консервов. А в зеленом ящике у шестого подъезда иногда попадался и хвост селедки или даже остатки недоеденной колбасы. В этом подъезде жил богатый банкир, и у него все лето делали евроремонт: соединяли три квартиры в одну, и ремонтники, судя по всему, питались неплохо. Плохо только, что об этом ящике знал здесь не один Казак, который сейчас шел именно туда.

После болезни он чувствовал слабость, пошатывался; туфли без шнурков, обутые на босые ноги, скользили по обледеневшему асфальту. Во дворе было еще темновато, неяркий свет отражался только от окон верхних этажей дома. А в некоторых окнах нижних этажей были видны верхушки новогодних елок — голые или с красной звездой, некоторые хозяева спешили порадовать детвору. Когда-то и он ставил елку, когда у него были дети и была семья... В центре двора горел единственный фонарь на тонкой качающейся мачте; казалось, что вместе с ним качается и все вокруг. Но зимой — не то что летом, зимой и без света видно издалека. Еще не доковыляв до шестого подъезда, Казак увидел, что у ящика кто-то кружится. И даже фонариком светит. Но кто это мог быть?

Предчувствуя неудачу, он подошел ближе. Человек поднял голову и выключил свой чуть светившийся фонарик. Конечно же это была Жердина, их дворовая бомжиха, его соперница и конкурентка, которая никогда и нигде своего не упускала. Там, где уже побывала Жердина, ничего не найдешь, — это Казак хорошо знал.

— Чего ты? Так рано? — с неприкрытым недовольством проговорила она и, не дождавшись ответа, добавила: — А говорили, подох. Не было тебя видно.

— Да вот, не подох, — скупно сказал он. Разговаривать с ней желания не было.

— Болел?

— Болел...

Он заглянул в ящик, заполненный наполовину всякими отбросами. Жердина все еще копалась в нем палкой с гвоздем на конце, подсвечивая себе фонариком. Но, видимо, ничего подходящего там уже не было.

— Пусто, — сказала женщина и выключила фонарик. На земле у ее ног стояла черная сумка, в которую она, конечно же, уже что-то засунула. — В тех тоже ничего нет. Смотрела. На

вот, — вдруг она сунула ему в руку высохший кусок хлеба. — Размочишь, сожрешь...

И Жердина пошла дальше, с сумкой в одной руке и с палкой в другой. Она торопилась. Пока другие спят, надо успеть поискать не только в этом дворе. «Всю улицу обойдет», — без злости думал Казак, стоя с куском хлеба в руке. Теперь, наверно, надо было вернуться в подвал, где, он знал, в одном месте сочилась из трубы теплая вода, там же была и пустая консервная банка. И тут он увидел возле ящика бутылки, которые не заметила Жердина. Шесть штук, ровненько составленных за ящиком, все от водки «Кристалл». Они явились как подарок ему, больному и голодному. Это были живые деньги — на батон, на кусок ливерной, если повезет... А может, и на бутылочку, скажем, на чекушку. Вот повезло, — приободрился душой Казак. Засунув руку в мусор, нашел там какой-то липкий пустой пакет и сложил в него свое неожиданное приобретение.

На дворе становилось светлее, но до того, как откроется «Пункт приема стеклотары», еще надо было ждать. И он, чтобы не терять зря время, пошел к другим ящикам. Надежды что-то найти особой не было, но все-таки... В соседнем и в следующем за ним он ничего не нашел, зато в третьем под смятой грязной газетой лежала бутылка от кефира, и он с радостью достал ее. Бутылка была немытая, с немного отбитым стеклом на горлышке, но, может, удастся ее сдать. Приемщика из этой стеклотары он немного знал, хоть тот и не всегда шел ему навстречу. Может, если попросить... Вообще, у него было много знакомых приемщиков, продавщиц, уборщиц и грузчиков, но это не всегда шло на пользу. Некоторые так относились к нему, что лучше бы вообще не знать их. Впрочем, как и многих других жителей этого большого дома. Он сам мало кого помнил и знал, но его знали дворничихи — самое ненавистное племя. Они даже милицию напускали на него. А за что? Что он кому сделал плохого? Последнее лето он даже не заходил в подъезды, тайно ночевал в подвале, куда заползал в полночь и старался как можно раньше выйти оттуда. Не заходил и в магазины — не было с чем зайти. Он был бездомный, бесквартирный, — самый настоящий бомж. Только разве что человек, который хотел есть. А иногда — и выпить...

Бутылку от кефира надо было вымыть, и он пошел к ступенькам в подвал. Войти туда нужно было незаметно, потому что уже светало и его могли заметить дворничихи. Одна уже скребла лопатой возле третьего подъезда. Это была самая стара-

тельная, но и самая злая. Другие, возможно, еще спали, они придут к своим подъездам, когда труженики-жильцы отправятся на работу. Нагибаясь, чтобы его не заметили, Казак подошел к обитым жестью дверям, и тут к нему подбежала Тюня, дворовая сучечка, еще с прошлой весны дружившая с ним. Была она маленькая и серенькая, как мышка, с черненькими внимательными глазами, взглядом которых высказывала все: и просьбу, и благодарность, и восторг. Казак бережно отломил ей кусочек хлеба — на, ешь, а сам снял с пробоя незамкнутый ржавый замок и проник в темноту подвала. Он знал, куда идти, но чтобы не рисковать деликатною ношей, оставил пакет у дверей и с молочной бутылкой начал на ощупь пробираться в угол, где была та труба, из которой капала вода.

Конечно, в темноте трудно было отмыть эту бутылку, он долго тряс ее и тер пальцами вокруг горлышка. Теперь он думал только об одном: сколько он получит? Цены ведь все время растут, может, и бутылки стали дороже? Это было очень важно, потому что у него уже созрел гениальный замысел, который, похоже, было легко осуществить. Но додумать его до конца он пока еще не решался: все было заманчиво, но неопределенно. Вымыв бутылку, он так же ощупью протиснулся мимо теплого стояка в другой угол и там, согнувшись, выцарапал ногтем из щели в бетонной стене сложенную несколько раз бумажку. Это была его заначка, денежная купюра, которую он берег еще с осени. Если к ней добавить вырученное за бутылки... Тогда уже можно порассуждать серьезно.

Когда он вылез из подвала, Тюня сидела на ступеньках — ждала. Хлеб она, конечно же, съела и снова умоляющим взглядом смотрела на него. Но это уже было нахальством: он сам хотел есть, но пока не позволял себе. У него были куда более серьезные намерения.

Уже совсем стало светло и можно было идти к «Пункту приема стеклотары», занимать очередь. Без очереди там не пролезешь, люди злые, без похмелья с утра никого не пропустят к прилавку, не обращая внимания на то, знакомый ты или нет. На той неделе не пропустили и героя, хотя на стене давно висит объявление, что герои совсоюза и соцтруда обслуживаются без очереди. Тому тогда сказали: откуда видно, что ты герой? Мало ли что каждый может выдумать, а ты предъяви документы. Тот послушал и плюнул, после обеда, рассказывали, прислал жену бутылки сдавать. Но после обеда у приемщика уже закончились деньги. Вот такие теперь порядки...

Хорошо еще, что он, Казак, — не герой, не делец, не номенклатурщик, поэтому и обиды у него небольшие. Как и радости. И удачи. Чтобы вот только хватило на одну бутылочку...

Пока Казаку везло. Правда, пункт был еще закрыт, но очередь у дверей собралась небольшая — человек десять. Большинство из них стояли молча, слушая, как две бабы потихоньку рассказывали друг дружке о своих мужиках: и пьют, и бьют, и за детьми не смотрят, и еще много чего. Казак не любил эти разговоры, сам мог кое-что рассказать о таких вот бабах. Хотя бы о своей жене, которая выжила его из квартиры да еще под суд подвела... Он в это время с интересом слушал радио. Через закрытые двери был слышен голос, сообщающий о землетрясении где-то на Востоке, о гибели людей, о потерях в сотни миллионов долларов. Это была катастрофа, и люди в очереди притихли от этой новости, даже вроде бы подобрали.

Казаку посчастливилось и закурить, может, впервые за последние недели. Стоявший рядом молодой парень, еще пьяноватый, видимо, после вчерашнего, с большим чубом волос и громким голосом кого-то очень напоминал, а кого — Казак не мог припомнить, сколько ни всматривался в него. Парень заметил это.

— Дед, чего присматриваешься? Или поставить хочешь? Не откажусь...

— Да нет... Так...

— За так ничего не дают. Только побить могут, понял? На, закури...

И парень закурил сам и протянул ему вонючую «Приму», от которой Казак уже почти отвык за то время, что болел...

Но вот открылись железные двери. Приемщик — грузин или армянин — работал живо, из корзин у баб выкинул несколько темных бутылок от импортных напитков: таких не принимаем. И Казак порадовался, что у него все беленькие, отечественные. Но и ему пришла очередь расстроиться. Молочную приемщик решительно отодвинул в сторону: отбито рыльце. Казак огорчился: столько мыл, старался... Но шесть остальных прошли без упреков, он получил неплохие деньги и, зажав их в кулаке, вышел из приемного пункта.

— Тюня, ах ты!

Сучечка все время ждала его, пока он сдавал бутылки. Но он знал, что к людям она никогда не приближалась, люди нередко обижали ее, думали, что она больная. Известно, кому приятен любой больной — человек или собака? Но Тюня не больная,

просто облезлая немного, зато она умная и может посочувствовать. Казак любил ее. Было бы только чем кормить...

Сначала по двору, потом через улицу он направился к «Гастроному». И тут вдруг вспомнил того знакомого — Солодуха! На Солодуху, вот на кого похож парень, который дал ему закурить, и голосом, и всей фигурой... Конечно, это не Солодуха, тот навряд ли живой... Но тогда он был точно таким же, с большим чубом волос, не комсостав, конечно, был мобилизован, как и Казак. Тогда Казак не был никаким ни казаком, ни кавалеристом даже, только ездовым артбатарей. А когда их взяли в плен, стал просто военнопленный, гефтлинг, если по-немецки. И бывает же такое, никогда не подумал бы, что два разных человека могут быть так похожи... А тогда... Привезли им, голодным, неделю ничего не евшим, какую-то бурду в полевой кухне, построили всех в очередь, а наливать нет во что. Ни у кого ничего нет. Хочешь есть — хоть пригоршни подставляй. Некоторые так и сделали. Кроме этого подставляли каски, полы палаток, даже края гимнастерки; бурда та выливается, не успеешь донести — нет ничего. Тогда этот чубатый снимает с ноги ботинок, подставляет — наливай. Сразу вобрал в себя налитое — что там, один черпак, потом дал ему: держи, земляк, я подожду. И он попользовался тем ботинком, потому что у самого были сапоги. Тогда они и познакомились. И в самом деле оказались земляками. Солодуха был из Лепельщины. А проблему посуды решили просто: поменялись. Он отдал Солодухе свой сапог с одной ноги, а взял себе этот ботинок. Видимо, оба выглядели не очень, да кто там смотрел на это. Лишь бы выжить... Вообще Солодуха был хорошим другом, только что стало с ним? Такие долго не живут...

Занятый воспоминаниями и собственной заботой, Казак шел в «Гастроном». Сзади, не отставая, бежала послушная Тюня. Бутылочка, конечно, вещь соблазнительная, только употребить ее надо было достойно. И тут возникала проблема. Не будет же он пить один. Да и много ему не надо, уже не те возможности, как когда-то. Теперь можно взять ну граммов сто или сто пятьдесят, если с закуской. Раньше, бывало, мог больше. Как на этот вопрос отвечал его друг Головкин: а сколько дадут, столько и выпью. Но Головкина уже нет, а он еще коптит землю — зачем только? Да вот еще Тюня, она должна помнить Головкина, он тоже опекал ее. Однажды даже напоил ее — вот было смеху!.. А может, пригласить Жердину, у нее будет чем закусить и вообще... Если подумать, то женщина она неплохая, сочувственная

даже. Правда, пока трезвая. А когда выпьет, ругается, как портовый грузчик. Но не злая, быстро отходит. Наверно, так и надо сделать — вдвоем с Жердиной встретить Новый год. Какой? Говорят, вроде бы двухтысячный. Впрочем, Казаку все равно какой.

— Тюня, не ходи! — строго сказал он сучке, когда они подошли к магазину.

И она поняла, сразу же опустилась задком на утопанный перед ступеньками снег, уставившись на Казака преданным взглядом. Она уже знала: надо ждать.

В гастрономе было тепло и уютно, не то что в церкви, куда Казак иногда заходил погреться. Отсюда, казалось, он бы никогда и не уходил. Но где там — здесь его тоже знали, и толстая уборщица в синем халате сразу насторожилась, увидав его. Но далеко в магазин он не пошел, его интересовал только первый отдел. Сначала надо было узнать цену. За время, пока он сюда не заходил, цены, конечно же, поднялись, и сколько теперь стоит бутылка, было неизвестно. Раньше вот были четвертинки, и трудовому человеку было очень удобно. Но сейчас их нет, вывели. Бери поллитра. А если денег не хватает? Не иди же в ресторан покупать стопочку: кто его пустит туда в такой одежде?

Так то и случилось, чего он боялся: водка подорожала! Людей у прилавка было немного, все быстро отоваривались и выбегали на улицу. А он стал в сторонку и начал подсчет своей личности. Того, что он достал из записки, да вместе с бутылочными на поллитра не хватало. Не хватало совсем немного, но разве та выдра за решеткой даст? Он знал, что она за рубль удушит, особенно такого, как он, хотя у нее тех «зайчиков» вон сколько, целая коробка под прилавком. В кассе не умещаются.

А он так надеялся... Что же делать?

К прилавку за железной решеткой подходили и отбегали люди, в основном мужчины. Все торопливо брали бутылку или две и, засунув их в карманы или в сумки, выходили на улицу. Казак думал, что кто-нибудь, как когда-то, предложит ему «на троих». Но никто и не собирался делать это, многие даже не смотрели на него. В окно было видно, как к магазину подъехала черная иномарка, из которой вышел стройный молодой мужчина, без шапки, с белым шарфиком на шее. Он тоже торопливо купил две бутылки «Кристалла» и еще какую-то бутылку красноватого питья. Все это он аккуратно составил в плоский чемоданчик. И когда замкнул его, встретился взглядом с Казаком.

— А, это вы? Привет...

Казак молча смотрел в красивое молодое лицо с подстриженными усиками, старался узнать, кто это, но не узнавал.

— Помню, помню, — продолжал мужчина, — как дуб на даче сажали. Хорошо посадили, вымахал выше крыши. Легкая рука, значит. А что стоите? А, не хватает, ясно... Сколько?

Казак все молчал, а мужчина неожиданно достал кошелек, кожаный, с блестящей металлической застежкой.

— Сотни хватит? Нет? Бери две. Выпить же надо... Под Новый год...

— Спасибо вам...

— На здоровье. Дуб вымахал выше крыши, так что... На здоровье! — Мужчина улыбнулся, повернулся и зашел к своей иномарке.

Казак подошел к решетке амбразуры прилавка, сунул туда ровно на бутылку и гордо застыл. Давно он не ощущал такую уверенность. Уколов его недобрым взглядом, продавщица пересчитала «зайчики» и поставила перед ним бутылку. Через ее стекло сияла кристальная чистота водки, отражая все огни во круг.

Он бережно охватил бутылку, не зная, куда ее засунуть — карманы в его ватнике были маленькие... С бутылкой в руке он вышел на крыльцо и сделал шаг на ступеньку. Как раз в этот момент его встретил радостный взгляд Тюни, которая вскочила и бросилась ему навстречу. А он, поскользнувшись на ступеньке, больно ударился спиной о каменное ребро.

— Ох!

— Вот тебе и ох! — сказал кто-то сзади. — Меньше пить надо...

Превозмогая острую боль в спине, Казак сел ровнее, поднял с земли шапку. Рядом валялась разбитая бутылка, от которой уцелело только одно рыльце, запечатанное белым колпачком. Приятно пахнувший ручеек бежал по ступенькам на утоптаный снег. Тюня понюхала жидкость, брезгливо фыркнула и уставилась на хозяина: чего-то она не понимала. Да и он понимал не больше, слезы обиды потекли по его обросшему густой сединой лицу.

Это была катастрофа — огромная, на весь белый свет. А виноват только он сам. Поэтому было так обидно, как никогда в жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

Лазарь Лазарев. Пожар еще не погашен 5

От автора. Слово к читателю 11

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

На Черных Лядах. <i>Перевод Вл. Жиженко</i>	15
Желтый песочек. <i>Перевод автора</i>	34
Политрук Коломиец. <i>Перевод автора</i>	63
Полководец. <i>Перевод автора</i>	71
«Катюша». <i>Перевод автора</i>	76
Зенитчица. <i>Перевод автора</i>	80
Полюби меня, солдатик... <i>Перевод автора</i>	89
Очная ставка. <i>Перевод автора</i>	146
Довжик. <i>Перевод автора</i>	165
Пасхальное яичко. <i>Перевод автора</i>	188
Бедные люди. <i>Перевод Вл. Жиженко</i>	206
Народные мстители. <i>Перевод автора</i>	225
Труба. <i>Перевод автора</i>	245
Волчья яма. <i>Перевод автора</i>	270
Катастрофа. <i>Перевод В. Никифоровича</i>	326

Василь Быков

*Волчья
яма*

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор Т.А.Смолянская

Быков В.

Б95 Волчья яма: Повести и рассказы: Пер. с белорус.— М.:
Текст, журнал «Дружба народов», 2001. — 335 с.

ISBN 5-7516-0264-1

Книга известного белорусского писателя Василя Быкова, участника Великой Отечественной войны, лауреата Ленинской премии, Государственных премий СССР и Белоруссии, премии «Триумф», повествует о трагических годах войны и сложностях сегодняшней нашей жизни, о шкурничестве, предательстве, о непреходящих усилиях людей в поиске ответа на вечный вопрос — как жить по правде.

УДК 821.161.3

ББК 84(4Беи)

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000

Подписано в печать 07.06.01. Формат 60х90/16.

Усл. печ. л. 21. Уч.-изд. л. 21,16. Тираж 4000 экз. Изд. № 357.

Заказ 3567

Издательство «Текст»

125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел. (095) 150-04-72

Набор и верстка подготовлены журналом «Дружба народов»

121827 Москва Г-69, ул. Воровского, 52

Тел. (095) 291-62-27

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

Василь БЫКОВ родился в 1924 г.
в Белоруссии, в Витебской области.
Учился в Витебском
художественном училище.
Участник Великой Отечественной
войны — закончил войну
лейтенантом, командиром взвода
противотанковой артиллерии.
Награжден орденами и медалями.
После демобилизации работал
в гродненской областной газете,
тогда же начал писать прозу.
Печатался в «Дружбе народов»,
«Новом мире» и других журналах.
Произведения его завоевали
широкую популярность у читателей.
Были изданы собрания сочинений
на белорусском и русском языках.
Книги В.Быкова удостоены
Государственных премий СССР
и БССР, повесть «Знак беды»,
опубликованная в журнале
«Дружба народов»,
отмечена Ленинской премией.
В 1999 г. В. Быкову была
присуждена премия «Триумф».
Живет в Германии.

ISBN 5-7516-0264-1



9 785751 602642